

Биография Ногина — биография нашей партии, его внутренняя жизнь — сплошное действо в той социальной драме, которую представляет собой борьба рабочего класса. И каждый молодой член партии, комсомола, каждый пионер должен изучить эту биографию, внутренне понять те великие силы, которые вкладывали в скромных выходцев из рабочего класса стальную способность бороться за его идеи.

М. И. КАЛИНИН

ПРОЩАНИЕ С МОСКВОЙ

На исходе лета Варвара Ивановна везла из Москвы в Калязин больного мужа и двух мальчиков.

Павел Васильевич сидел молча, откинувшись на подушку и закрыв глаза. Физической боли он не ощущал, но сильно страдал душой: все не мог смириться, что в самую главную пору жизни, не дотянув до сорока годов, сделался он убогим — в один миг скосил его удар на правую сторону. Родня уже кликнула попа — соборовать и читать отходную, — так был плох тогда этот грузный и крупный мужчина с крутым лбом и окладистой каштановой бородой.

Но болезнь отпустила. Только правая нога стала как ватная и волочилась по полу и правый слезящийся глаз был раскрыт шире левого. Детям это внушало страх.

Конечно, о службе лучше забыть. «На время, на время!» — утешал себя Павел Васильевич. Однако прошло полгода, а ничего не изменилось.

Собрал он все свои сбережения, выпросил пособие у богатого фабриканта Викула Морозова, кому двадцать пять годов прослужил приказчиком, и скрепя сердце согласился признать жену своим опекуном.

Варваре Ивановне дали совет увезти мужа из Белокаменной в тихую глушь на Волге. Она купила

в Калязине дом — на три окна по фасаду — за восемнадцать сотен, словно навеки распрощалась со своей родной Москвой, и тронулась в путь.

Павел Васильевич упорно молчал и не открывал глаз. Но возок катился под уклон, вдоль большака бежали вековые березы и липы, беспокойные мальчишки поднимали крик: они видели черную стаю грачей, синюю купу цикория, белую ромашку с лимонным глазком, лиловую корзинку чертополоха на толстом колючем будыле. Павел Васильевич недовольно вздыхал, крякал и открывал левый глаз.

Он видел жену: спокойно поводила она головой на длинной красивой шее и придерживала рукой легкую черную шаль, из-под которой выбивалась рыжеватая прядка волос с золотистым отливом.

А мальчишки дурачились вовсю: они подпрыгивали на ухабах и тыкались носом в широкую запыленную спину ямщика.

— Тише, дети! — грозила пальцем Варвара Ивановна, и мальчишки на миг замолкали.

Но усидеть спокойно не могли: дорога была на диво красивая, она манила, звала, возбуждала. Цветами были затканы высокие склоны большака. И как пошли от Сокольников густые синие леса, так и тянулись они за Мытищи, Абрамцево и Хотьково, пока не показались под дугой золотые и синие — в звездах — купола старинной Сергиевой обители.

Варвара Ивановна смотрела по сторонам, но все думала о муже и о детях.

С мужем узелок завязался крепко, а коль умом пораскинуть, то счастья не вышло: крут был Павел Васильевич, не в меру расчетлив, шагу ступить не давал без оговора и во все мелкие дела по дому вникал хуже всякой бабы. А в доме она хозяйка и уступать да потакать совсем не приучена.

Просватали ее в семнадцать лет, когда жених был в ажуре: собою — видный, в конторе — на отличном счету, жалованье — хорошее и впереди — карьера, достаток, благополучие. Уж чего не добьешься по службе, когда дальний родственник мужа — Иван Кондратьевич Поляков — сумел войти в долю к Ви-

кулу и заправляет теперь фамильными мильонами текстильного королевства вторых Морозовых?

Но все рухнуло в новогоднюю ночь, после удара. А с больным Павлом Васильевичем и вовсе нет сладу: одни капризы да нежеланные, неизбежные ссоры.

И детей надо ставить на ноги. Пашеньке всего десять годков, зимы три придется учить его, пока не отдашь в услужение мальчиком. Витеньке только восьмой пошел: нынче осенью идти ему в первый класс. Добытки плохие, домашним шитьем белья трех мужиков не прокормишь. На Викула Морозова надежды — самая малость: положил сгоряча сорок целковых в месяц, а никакого срока пенсиону не указал. Отнимет в любой час, тогда хоть по миру иди!

Павлик увидал Сергиевы купола и зашептал Витеньке в ухо: приедем, мол, в обитель, к вечерне пойдем с папенькой, благолепное пение послушаем — он это любит и не пропустит. Монахи-то, знаешь, как сытно кормят? Скорей бы застолье, а то в брюхе совсем подвело! Сколь едем и все пирог сухой жуем да водой запиваем!

А Витя не хотел думать про монахов и про застолье: покорила его эта красивая дорога. Он высунул голову и через по́дуги любовался: то травинкой, которая смело выбралась на большак и едва не угодила под колесо, то цветком, затерявшимся в кустах, то блестевшим на солнце камешком. И чуть не вывалился из кузовка, когда впереди лошадей пронеслась рыжая белочка, задрав пушистый седой хвост.

Он был полон каких-то новых чувств от этой первой в его жизни дороги. И даже о Москве почти не скучал: в ней он мало чего помнил. На укатанном большаке было тихо, светло, спокойно, а Москва осталась в памяти как большая, шумная и грязная толкучка.

В троицын день был он с мамой у храма Христа Спасителя: мало-мало не задавили людишки — кинулись они встречать карету протоиерея Иоанна Кронштадтского. Был намедни на Сухаревке, когда продавали кое-что из старья перед отъездом, мама обронила двугривенный. Так какой-то босяк в рваном

армяке и облезлой шапке ухватил его из-под рук, заорал диким голосом:

— Не зевай, Хомка, на то ярманка! — и пропал, растворился в густой горластой толпе.

Правда, были в Москве и радости. Два раза на конке катался: промеж рельсов мчат кони, вагончик ходуном ходит, дыр-дыр! Кондуктор сидит на козлах с возницей и подает сигнал в рожок. Занятно! И на извозчиков можно глядеть хоть целый день, не намаешься.

И мальчишка один умилял до невозможности: несет лоток с пирожками по улице, корчит рожи и приговаривает:

— Навались, народ честной! Эх, сам бы ел, да хозяин не велел! «Не ешь, — говорит, — Федька, отравишься!» Смешно!

И вспомнился Вите еще один рожок: не у кондуктора, а на столбе В Сокольниках, где жил он в доме у Яковлевской церкви, по вечерам стали освещать улицу газовыми рожками. Раньше палили конопляное масло, потом — керосин. А теперь появился рожок. Готовясь ко сну, выглядывал Витя в окошко: дядька-коротышка в длиннополом рыжем халате брел по мостовой от рожка к рожку с длинной палкой, а на одном ее конце чадила пакля. Коротышка дотрагивался паклей до рожка, и по сумеречной улице разливался такой белый и ровный свет, что всем вокруг было видно, как возле островерхой полосатой будки сидит на высокой скамейке усатый сердитый городовой...

Такого же усатого будочника увидал Витя и в Сергиевом посаде: он поднял шлагбаум перед мордой у взмыленных лошадей, и мама вынула для него из сумки позеленевший медный алтын.

Потом потянулись маленькие домики за штакетником — с мальвами и золотыми шарами на фоне подслеповатых окон. А чем ближе к лавре, тем больше монахов — в узких черных подрясниках, перехваченных лакированным пояском.

Отец сказал, что надо бы ехать к лавре.

— Там и селяночку дадут, — оживился он, —

больно хочется горячего похлебать. И комнатку снимем в приезжей: помнится, чисто было у них, Варенька. Да и опять же храм рядом, мне помолиться надо.

— Не на богомолье едем, отец. И не при деньгах мы, а в лавре как пить дать вытянут из тебя пятерку. Заворачивай, Архип, на постоялый двор к Кочюрихину.

— Так, так, Варвара Иванна, — поддержал ямщик. — К монахам да без денег — совсем не та статья: они мошну тугую любят. Кочюрихин тоже дело понимает: он и похлебку выставит и самовар. А клопы, Пал Василич, они ноне где хошь, и у монахов их, как у псалтыри буковок, одним словом — тьма-тьмущая...

В сумерках отец с Пашей ушел к вечерне. Мать допивала чай на постоялом дворе, роняя в блюдце горькую слезу: дородная хозяйка залезла ей в душу и все причитала, что привел бог такой молодухе нести тяжкий крест — до века ходить за убогим мужем.

— Не смей так говорить о моем папе, злая Кочюриха! — Витя выскочил из-за стола, выбежал на крыльцо и сел на ступеньку.

Было ему и горько и скучно. И он уже решил забраться в возок к Архипу, дать волю слезам. Но загляделся на мужиков. Они сидели под старой липой тесным кружком — не то мастеровые, не то странники, и, поскидав лапти, зипуны, картузы и шапки, слушали лысого деда с длинной рыжей бородой. Тот наклонялся иногда в круг, шептал густым голосом и — вроде с опаской — поглядывал по сторонам. Витя не прислушивался. Но услыхал знакомую фамилию и навострил уши.

Речь шла про Морозова. Но не про Викула, а про Николая Александровича — молодого барина из-под Рыбинска, у которого отец был богатый помещик, а мать — крепостная крестьянка. А закатали того барина в крепость навечно.

— Слух был: в кандалах железных ноги его закованы, и никого к нему не допущают, — приглушенно говорил дед. — Царя-то весной убили, а я барина до этого видел, осенью заезжал он к себе в Борок,

я там печки перекладывал. Ну, и разговор мы держали. Такой мужчина обходительный, только черный, что твой цыган, и в очках. А говорить начнет, будто огнем пышет: и все супротив господ, супротив царя.

— Эх, елки-моталки! — так и подскочил на месте парень, который слушал прилежней других. — Такого человека ты видел, дядя Фома! Да я бы за него... эх! — махнул он рукой. — Это он и царя убил?

— Нет, не он. Я тоже попервости так думал, да у него не вышло. Успел он сговориться с дружками — под царя бонбу кинуть, ан разгадали его затею царевы служки. Другие за него постарались, да повесили их, четверых-то, царство им небесное!— Фома осенил себя крестом.

— Досыть, Фома! — строго сказал мужик в полинявшей красной рубахе. — Бередишь душу грешную, черт старый, гляди, достукаешься! И мальчонка вон уши развесил, сболтнет еще кому не след. А ну, кыш! — цыкнул он на Витю.

Витя встал, одернул рубашку и поплелся в горницу. Надо было ложиться спать: завтра собирались тронуться в путь на рассвете. Он свернулся калачиком на кочюрихинской перине, высунул нос из-под одеяла и тихонько спросил у Варвары Ивановны:

— Мам! А нешто можно царя убивать?

— Свят, свят, свят! — перекрестилась мать и оглянулась в испуге. — И откуда ты взял такое?

— Говорят люди. А мне страшно...

НАД ВОЛГОЙ

Первую осень всей семьей осматривались в Калязине и ладили свое гнездышко. А потом жизнь пошла как старый возок по глубокой, наезженной колее.

На Павла Васильевича переезд к Волге подействовал благотворно: он меньше хромал и от зари до зари хлопотал по хозяйству, с пилой, топором и лопатой. Только наклоняться не мог: приливала кровь к голове, из больного глаза бежала слеза. Приходилось звать на помощь детей. Им же казалось, что отец просто хитрит, а его такая несправедливость огорчала, бесила. Но в общем держался он молодцом.

За сорок рублей купили корову. На столе теперь было свое молоко, и за Милкой все ухаживали, как за самым добрым другом. Отец присмотрел где-то щенка, на первый взгляд породистого, и назвал его Гарсоном. А Гарсон скоро вымахал в простую дворнягу — рыжий, пегий, лохматый, хвост кренделем, — и соседские мальчишки окрестили его Бобкой. Гарсон-Бобка сторожил дом и сад, двор и огород; бегал с Витей и Пашей в лес по грибы. Когда же на насесте подал голос петух и закудахтали куры, по всей Свистухе пошла молва, что москвичи пустили в Калязине крепкий корень.

Любопытные соседи зачастили к новоселам, но хозяин их не жаловал. По характеру замкнутый, Павел Васильевич держался с чужими людьми вежливо, но в друзья не набивался. Обывателей, что пробавлялись мелкой арендой земли, садов и лугов или торговали на воскресном базаре снедью, утварью, сладостями, гребешками, всяким старьем, он сторонился, так как считал себя человеком большого мануфактурного дела, близким к ресконтро, к балансам и движению по конторским книгам крупных хозяйских ценностей. А подобных ему людей из конторского цеха в Калязине не нашлось.

Да и внешне он не желал подстраиваться под калязинских мещан, которые даже в праздники не шли дальше картуза с лакированным козырьком, суконной поддевки и яловичных сапог. А Павел Васильевич, пока не стал ветхим его московский гардероб, держал себя в импозантном виде. С тех давних пор, когда приняли его мальчишкой в фирму с хозяйской одеждой, сложилась у него привычка одеваться красиво, пристойно и чисто — непременно в суконные и шерстяные вещи при белой крахмальной рубахе. И он даже дома, когда не был занят во дворе, всегда одевался, как истый конторщик, берущий пример с хозяина, — в строгую черную тройку. А чтоб ходить расхристанным — в рубашке без пояса или — не дай бог — в посконных помятых штанах — этого и в помине не было.

Долго он присматривался к калязинцам, и, наконец, выбор его пал на двух достойных людей. Главным новым знакомым сделался протопоп Григорий Первухин — дородный и важный. Витю и Пашу он учил в школе закону божьему, правил службу в ближайшей церкви. И когда приметил ревнивого к вере нового прихожанина, стал оказывать ему знаки внимания: заходил иногда вечерком посидеть у самовара. И затевали они с Павлом Васильевичем нравственные беседы или толковали что-то из священного писания. Варвара Ивановна и Паша слушали протопоповы речи с большим интересом. А Витя скучал. Он старался улизнуть на кухню, где читал книжки

про моря и океаны, про северное сияние, про путешествия в Африку, про Суворова.

Другим знакомым Павла Васильевича стал местный телеграфист Шуклин: человек молодой, тщедушный, словно совсем не приспособленный к жизни, весь в мечтах о каком-то новом деле, которое должно принести ему радость.

Протопоп будто делал одолжение Павлу Васильевичу, что пил у него китайский чай с вишневым вареньем. А Шуклин искал в семье Ногиных сердечного тепла, внимания, ласки. Приходил он, и никто не думал о чопорном чаепитии и длинных нравственных беседах. Витя бросался ему навстречу и иногда получал новую книжку. Варвара Ивановна подавала молоко, жареную картошку. Паша читал вслух газету: ее всегда приносил с собою телеграфист. Павел Васильевич стряхивал мещанскую условность и оживленно рассказывал о Москве, о династии фабрикантов Морозовых.

Перед глазами Вити проходила живая история морозовских миллионов, которые были нажиты с натугой, окроплены потом и кровью русских мужиков, по чьей-то воле превратившихся из крестьян в ткачей.

Всему делу головой был Савва Васильевич Морозов — крепостной помещика Рюмина из села Зуево Богородского уезда. Еще во времена Екатерины Второй рыбачил он с отцом на Клязьме, а потом определился ткачом на шелковую фабрику Кононова за пять рублей в год при хозяйских харчах. А при Павле Первом начал дело при своем капитале в пятьдесят рублей и с небольшим приданым за женой. Был Савва Васильевич превеликий мастер по ажурным тканям. Почти за сто верст он носил их пешком в Москву и продавал в домах именитых господ. Приглянулся он какой-то барыне: то ли был он в особой чести у нее за эти ажуры, то ли в полюбовниках состоял, только нашел он дорогу к барским деньгам и через то откупился от Рюмина за семнадцать тысяч рублей. С этого и пошло: расселись пять сыновей вокруг папеньки Саввы по московским и тверским землям.

— От Елисея пошел Викул, — пересчитывал Павел Васильевич по пальцам. — У него своя мануфактура в Никольском и в Савине. От Захара — Иван и Арсений. Эти сидят в Глухове, под Богородском. От Абрама — еще один Абрам да от Ивана — Сергей. Эти сообща ведут мануфактуру в Твери. От Тимофея — Савва. У этих куда справное дело в Никольской мануфактуре, в Орехово-Зуеве — пятнадцать миллионов с гаком. Богатеи первой статьи, к царю на поклон ездят. И он им за милого дружка. Случилась у них намедни ужасная заваруха: работу кинули восемь тысяч ткачей, потребовали прибавки. Так царь-то, батюшка, войско им выслал. Стреляли солдаты, и людей похватали — сот шесть. Судили многих и, говорят, с тысячу разослали домой, по деревням, под полицейский надзор. Этакая, брат, силища у Морозовых!

Часто рассказывал и Шуклин. Он мечтал стать народным учителем, светочем знаний в мужицкой среде.

— Стыдно им жить, Пал Василич, в такой стране, где девять мужиков из десяти не знают ни одной буквы! И живут хуже церковной крысы. Эх, аттестат бы зрелости мне, развернулся бы я во всю силенку!

Говорил телеграфист складно, и Павел Васильевич шутил, что он заменяет ему газету, еще не выписанную по соображениям бережливости. Правда, Шуклин долго не открывал душу, все приглядывался к новым знакомым и сообщал разные пустяки: светская хроника, визиты коронованных особ, некрологи по усопшим князьям, генералам, архиереям, профессорам, купцам первой гильдии, столичные сплетни. Потом стал рассказывать, чем живут калязинцы и какие телеграммы получают здешние купцы и предводитель дворянства. И о делах за пределами государства российского.

Но самые интересные разговоры начинались ближе к ночи, когда детей укладывали спать. Витя боролся со сном, хоть это не всегда удавалось, и память запечатлела лишь обрывки страшных шуклин-

ских слов. Миротворец Александр Третий зажал Россию в кулак. Воевала против него «Народная воля», он отвечал казнями: так погиб на эшафоте студент Александр Ульянов с товарищами. В сибирской каторге потерял силы «секретный преступник № 5» Николай Чернышевский и закончил свои дни в Саратове. Замелькали в газетной хронике фамилии студентов-самоубийц, которые разуверились в жизни; помутился разумом Глеб Успенский — человек чистой совести и больших душевных страданий; бросился в пролет лестницы Всеволод Гаршин и умер на пятый день в страшных муках. «Ужасом без конца» сделалась жизнь России, но ни на один миг не угасали ее призывные маяки. Михаил Салтыков-Щедрин клеймил крепостников и их сынков в хронике «Пошехонская старина». Тяжкий духовный кризис пережил граф Лев Толстой. Илья Репин всколыхнул просвещенное русское общество новыми полотнами: «Отказ от исповеди» и «Не ждали».

Так и проходили эти вечера в доме у Ногиных. А однажды Шуклин пришел прощаться: вышло ему распоряжение отбыть в еще большую глушь, чем Калязин.

— Полагаю, хотят избавиться от меня, Пал Василич. При моей-то должности, когда все про все знаешь, на одном месте долго не усидишь. Обыватель как дикий зверь — страх как боится человека, да особливо, если тот все его грязные делишки видит. Что ж, поглядим, куда меня гонят.

Шуклин развернул полотнище карты на столе и долго искал село Грузино под Новгородом — бывшую вотчину всесильного временщика графа Аракчеева.

— Надо подумать, возможно, и не так плохо, как мне казалось. Местечко глухое, но под рукой Санкт-Петербург.

Однако на другой день стало ясно, что угоняют Шуклина не в Грузино, а в Грузины — глухоменное сельцо Тверской губернии, между Торжком и Старицей, в верховьях лесистой речки Тверицы.

— Не пойдет, Пал Василич! Уж коли в такую ссылку ехать, то не телеграфистом, а народным учителем, — это была последняя фраза, которую Витя услыхал от Шуклина.

Телеграфист подал в отставку, скинул форму почтового ведомства с блестящими пуговицами, сдал в Твери экзамен и уехал народным учителем на свою родину — в Самару.

Через семь лет мелькнуло перед глазами Виктора его имя в длинном и скорбном синодике каторжан. И — пропал человек!..

Паша пробыл в Калязине пять лет — кончил городское училище, приобвык писать красиво и быстро, как положено человеку за конторкой, и Варвара Ивановна отвезла его в Москву. Он теперь жил у Викула Морозова: отрабатывал за пенсион больному папеньке мальчишкой без жалованья, при хозяйских харчах. И исправно писал длинные письма: чисто, без помарок, как на службе. И старался втиснуть в них все, что представляло хоть малейший интерес для родителей и брата.

Первые робкие шаги на жизненном поприще он сделал успешно. Викул Морозов отметил его рвение и скоро положил ему денежное довольствие — харчевое и за переписку бумаг — десять рублей в месяц.

Получались письма в Калязине, и вновь там наплывала тоска по Белокаменной. Читали эти письма днем, перечитывали вечером, возвращались к ним в другие дни, хвалили Пашу, спорили и все толковали о том, как отвезут Витю в Москву, сдадут его на руки Викулу и, наконец, тронутся в путь сами.

А Паша писал, и писал, и бередил душу:

«Христос воскресе! Милые папаша, мамаша и брат Витя, поздравляю вас с праздником, целую вас крепко-крепко; желаю вам в радости и в добром здоровье провести праздник.

Мы кончили торговать в пятницу, в пять часов. Я, как приехал из конторы, сию же минуту пошел в церковь, думал, что священник будет исповедовать после вечерни, а он ушел отдыхать. Я решил встать в субботу пораньше. Так и сделал: поднялся в два

часа и отправился в церковь. Заутреня началась через час. Я отстоял ее, перед обедней исповедовался и за обедней причастился. У нас вместе с двоюродной сестрой хозяйки живет ее (т. е. двоюродной сестры хозяйки) мужа брата жена. Она тоже наша, церковная. Она сделала кулич и пасху, а я освятил, и мы вместе с ней разговелись. А то бы мне, пожалуй, не пришлось и разговеться.

Потом я поздравил хозяев, и они велели мне сидеть в прихожей. Никак нельзя было уйти: все конторщики разъехались по домам, а с почты и с посыльными все время приносили визитные карточки, и нужно было сейчас же отсылать ответ. Вот я и писал ответы господам и купцам. Скучно мне не было, я запасся книгами и читал от раннего утра до поздней ночи так, что не ходил обедать (мне вынесли с кухни кусок пирога с чаем), и в один день прочел три книги по четыреста с лишним страниц в каждой.

На второй день карточек не было, я отпросился у Федора Викуловича отдать визит начальнику Александру Ивановичу Сараеву. Но его с семьей не нашел: они переехали на другую квартиру. Говорят, у него теперь шесть комнат, а где — не сказали...

Завтра как раз полгода, как я живу у Морозовых. Вид у меня хороший: мне сшили к пасхе костюм и осеннее пальто. И про деньги не беспокойтесь: неужели же я все свои харчевые буду проедать? Я проедал только по рублю двадцать пять копеек, а когда и меньше, поэтому у меня осталось десять рублей. Я их вышлю, вы положите на мою книжку. Мама пусть знает, что я не испытывал никакого голода, когда проедал пять копеек в день вместо десяти, потому что перед уходом хорошо наедался в хозяйской кухне. Я принял себе за правило: если с этих лет не буду беречь деньги, то в больших годах — и подавно

Остаюсь любящий и уважающий вас ваш сын и брат *П. Ногин.* Апрель, 1890 год, Москва.

P. S. Папаша, вам, наверное, известно, что Бисмарк получил отставку и император сам управляет

делами. Вы это знаете, если получаете газету. Вот и все новости. Кончаю письмо, уморился!

Ваш *П. Ногин*»[1].

Павел Васильевич любил старшего сына, и особенно за трезвые суждения в житейских делах, за хорошую хватку, за умение послужить хозяевам. Он думал о своем первенце и видел в нем себя: как он, сын сапожника, кое-как овладел грамотой у дьячка, а Иван Кондратьевич Поляков подал ему руку и привел, перепуганного, немого от робости, мальчиком в богатую фирму.

Теперь в этой фирме Павел. И какой оголец — досконально обо всем пишет, словно сам сидишь в Москве и никакие дела по фирме тебя не минуют.

Главный приказчик Александр Иванович Сараев лютеет с каждым днем, совсем стал как пес цепной: если кто захворает из мальчиков или конторщиков, так он на того сердится и не хочет прибавлять жалованья.

К празднику Паша купил себе евангелие в черном переплете за полтинник, а псалтырь — в голубом, за четвертак. От хозяев получил шубу и ботинки. Все как и раньше заведено!

«А в Москву вам ехать не надо, что тут хорошего? Квартира и провизия дорогие, воздух гнилой. И станут ли в Москве давать пенсию? И на службу вас не примут. Некоторых даже увольняют — так много стало служащих. А хозяева знают, что вы больны. Да и в Москве вам бы каждый день пришлось расстраиваться, сердиться и терпеть всякие неприятности. Это при плохом-то здоровье! И дом не продавайте, его можно во всякое время продать, еще дороже дадут. Ну, продадите, деньги проживете, и ничего не останется, тогда куда деваться? А теперь свой дом, сад, корова, курицы, свои овощи, плоды. А тогда все придется покупать, за все деньги платить. И теперь я думаю, что как у меня будет небольшой капиталец, то я прямо уехал бы из Москвы куда-нибудь в про-

[1] Почти все письма, использованные автором, публикуются впервые. Они хранятся в семейном архиве В. П. Ногина.

винцию, где был бы лес, река и большой сад и дом. Зачем мамаше так хочется в Москву? Свой дом — это не московский угол, где придется жить. И воздух у вас чистый, свежий, здоровый. Помните, папаша, вы приезжали ко мне всего на две недели, и вам сделалось сейчас же гораздо хуже. Да ведь тут можно задохнуться от пыли, дыма и всякой дряни».

Так уж устроена была голова у Павла: почти ничего не осталось в ней от долгих бесед с Шуклиным. Все его мысли теперь занимали деньги, карьера, уют и внешний лоск. Он одевался, как приказчик, и умел угодить хозяину. А писал с ошибками и Вите казался не очень грамотным писцом с чудесным, каллиграфическим почерком. Летом он хаживал в сад «Эрмитаж», когда пели там цыгане. А в досужие зимние часы читал книги без всякого разбора и бренчал на мандолине.

Не оставил Шуклин заметного следа в душе и у Павла Васильевича. Наставником его сделался протопоп Григорий Первухин с унылыми бреднями о загробной жизни.

Стал Павел Васильевич истым рабом церкви — без бога не до порога! Он ходил святить новые иконы, носил хоругви по большим праздникам, помогал выносить мощи преподобного Макария в день этого святого, не пропускал ни одной службы и упросил Пашу купить ему требник, какой имеют священники, и канонник — книгу кормчую, где есть молитвы: очистительная, и покаянная, и на исход души.

Начинал он письма к сыну в Москву в высоком штиле: «Милое и драгоценное дитя мое, Павел Павлович, ангел мой, утеха моя и все, что есть на свете лучшего». И заканчивал так, будто читал молитву: «Да благословит тебя господь всеми благами земными и не лишит тебя царства небесного, буди благословен от господа моим родительским благословлением навсегда. Любящий тебя отец *Павел Ногин*».

А в этой рамке из ангела, бога и царства небесного велась речь о самых земных делах.

Как-то вышли у Павла неприятности по службе, Павел Васильевич огорчился и написал сыну боль-

шое письмо: «Мало ли что придется переносить в жизни, в особенности от сослуживцев! Постоянно у всех зависть, а через это разные интриги и неудовольствия. Это-то вот и есть самое трудное — жить в людях, это я уже все прошел, только вот господь не даровал средств, чтобы вас от этого избавить. Живи, голубчик, и все неприятности переноси с радостью, а не отплачивай грубостью на ихние издевательства. Вот и будешь человеком. Если желаешь быть начальником, то прежде всего нужно быть всем рабом. Так господь сказал, и так, мой ангел, живи, держи себя тише воды, ниже травы и не превозносись ни перед кем. Смиряйся, да превознесется, о высящиеся, да низвергнутся. И еще пишу тебе: будь хозяевам во всем угодителен, главное — исполняй приказания ихние в точности».

Иногда болезнь напоминала о себе. Павел Васильевич становился раздражительным. Но не желал признавать себя виновным — строптивым, мелочным, грубым — и жаловался на домашних, на тоску: «Я ощущаю сильнейшую тоску и не нахожу причины. Только вижу что-то неладное, со мной совершающееся, как и тогда в Москве, перед ударом».

Когда болезнь особенно давила и угнетала, Павел Васильевич хватал лист бумаги и писал, писал Павлу: жаловался, грозился, просил. Не сиделось ему в Калязине: «Похлопочи обо мне перед Викулом, пусть даст дело — хоть на ярмарке в Нижнем следить за приемкой товара или хоть сторожем при кладке нового дома в Москве. Ну, постарайся, голубчик, а то нормальность моих умственных способностей начинает портиться».

Павел не хлопотал: он знал, что отца не примут да еще лишат пенсиона. Варвара Ивановна едва удержала мужа от опасного шага: он насушил тайком сухарей, вырезал в саду посошок и уже тихохонько собрался пешком отмахивать версты до Москвы.

Но ипохондрия отступала на время, Павел Васильевич оживлялся, и в его письмах появлялись лирические картинки: как гремит и грохочет Волга-матушка в ледоход и заливает такую ширь в пойме, что

не окинешь и глазом; как бегут по реке и трубят пароходы двух компаний — «Самолета» и «Меркурия» — и почему «самолетские» ему нравятся больше; как зацветают вишни и яблони и как могучая река, все лето жившая в трудах людских, закрывается салом и вдруг затягивается зеленой и голубой гладью ровного льда.

Но даже в таких письмах неизменно приходилось писать о нужде и о пенсионных волнениях: вдруг придет двадцатое число, а Варвару Ивановну не вызовут на почту получать деньги, что тогда делать? И на Викторе все горит: бегает с дырами на локтях, в сапогах без подметок. Надо бы выслать ему подержанные штаны, пиджак, пальто, ботинки: к чему тратиться на новые вещи, коль мальчишке не стыдно погулять и в обносках?..

Варвара Ивановна не меньше Павла Васильевича тосковала в Калязине. Временами, когда мужу делалось хуже, рисовала она себе одну картину мрачней другой и в мокрую от слез подушку шептала, что никогда ей не вырваться из этой дыры.

Но Павел Васильевич поднимался с постели и начинал шутить:

— Не пойму я тебя, Варя! Дом ты хотела — вот твои хоромы; по коровушке грустила — мычит во дворе Милка. И цветочки, тобой любимые, посадили мы по весне. Даже два дубочка я для тебя расстарался. А в Москве — ну что тебе за радость, пока я больной? Цыганка ты, Варя, вот кто! Привыкла всю жизнь по углам да квартирам мызгать!

— Да полно тебе, Павел! — отмахивалась Варвара Ивановна и принималась хлопотать по хозяйству.

Но стоило ей успокоиться, снова начинал хандрить Павел Васильевич. Витя не знал, куда деваться от этих причитаний и слез.

Ладу в семье не было. Родители становились голубками, лишь когда направлялись в церковь. А дома жили, как два ястреба, которые не поделили добычу. И этой «добычей» вдруг стали дети.

Варвара Ивановна не разделяла ребят, пока они жили вместе, хоть и считала, что Витенька ей ближе:

он не такой открыто расчетливый и рассудительный, как старший, а просто хороший мальчик — ласковый, послушный, душой очень чистый, без всякого зла. И на еду не жадный, и в одежде совсем невзыскательный, и к деньгам не пристрастный. Да и читает много. И хоть задумчив от книг, но в себя не уходит: про все, что прочтет, рассказывает, тянет мать за собой. Бывает, заслушаешься, когда он раскроет «Очерки бурсы» Помяловского или выборку сделает про Чичикова из «Мертвых душ» Гоголя. А когда взгрустнется, побегает с ребятишками, в лапту сыграет или просто пройдется до голосовской лавчонки на берегу Волги, постоит там, а потом сделает уроки и сядет лопотать про себя по-французскому — страсть как хочется узнать ему чужой язык!

Да и почему не любить Витю? Мальчик уважительный, всем в радость. Ну, с отцом не всегда ладит: и божественные слова его переносит с трудом, и, видать, стыдно ему, что отец на весь мир глядит сквозь медную полушку. Выпалил ему намедни:

— Вы, папенька, вылитый старый Чичиков. Павлушке своему все уши прожжужали про карьеру да про копейку, как тот своему. Послушайте, что Гоголь про это пишет! «Смотри же, Павлуша, учись, не дури и не повесничай, а больше всего угождай учителям и наставникам. Коли будешь угождать начальнику, то, хоть и в науке не успеешь и таланту бог не дал, все пойдешь в ход и всех опередишь. С товарищами не водись, они тебя добру не научат; а если уж пошло на то, так водись с теми, которые побогаче, чтобы при случае могли быть тебе полезными. Не угощай и не потчевай никого, а веди себя лучше так, чтобы тебя угощали, а больше всего береги и копи копейку: эта вещь надежнее всего на свете. Товарищ или приятель тебя надует и в беде первый тебя выдаст, а копейка не выдаст, в какой бы беде ты ни был. Все сделаешь и все прошибешь на свете копейкой». Ну что, папенька, про вас и писано! А вы хоть бы книжку почитали, совсем заржавели, как катерининский пятак! — И ловко он про эту монету напомнил, что у отца на божнице хранится...

Так рассуждала про себя Варвара Ивановна, вовсе не держа в мыслях что-то против своего первенца. Но когда отец начал всячески подчеркивать свою привязанность к нему, она открыто благоволила Вите.

Павлу скоро передались эти нелады в семье, он на время охладел к Вите и усвоил по отношению к нему менторский тон. «Витя! — писал он. — Поздравляю с днем твоего рождения, желаю, чтобы ты учился хорошо, чтоб был первым учеником и был здоров, счастлив и не раздражал папашу... Раз заведи порядок, что, как придешь из училища, учи уроки, а потом играй. Сделай так, как я тебе говорю, считай это своей обязанностью, а потом тебе легко уже будет исполнять это. И еще: учись писать хорошенько. Это самое главное конторское знание. Если ты пишешь хорошо, то и дело тебе лучше дадут, тому же, кто скверно пишет, хорошего дела не дадут. Твой брат *П. Ногин*».

Но Витя пропускал мимо ушей эти нравоучения брата. Занимался он в училище в полную меру сил, много читал, давно обогнал Павла в общих знаниях и просто удивлялся, как тот может учить чему-то, когда сам пишет корову через «ять».

«Милый брат Паша! Ты пишешь, чтобы я тебе написал про твои ошибки в письме. Синтаксических порядочно, и я их выписывать не буду, а грамматических три: 1) «и с нынѣшним святого апостола и евангелиста Иоанна богослова», «нынѣшним» ты написал, а надо «нынешним», потому что в «нынче» после второго «н» буква «е» выпадает, а в таких случаях во всех производных словах «ять» не пишется; 2) «но вы говорили то-лько», ты написал в одной строчке «то», а на другую перенес «лько», этого делать нельзя, надо писать «толь-ко»; 3) «и стал выганять из под конторки»; «выгонять» происходит от слова «выгон», а не «выган» («гонка», а не «ганка»)... Остаюсь твой брат *Вик. Ногин*».

Но всякие семейные распри притихали, когда что-либо угрожало детям или когда надо было решать судьбу Виктора.

Из Москвы доползла страшная весть о холере. Варвара Ивановна в тот же день написала письмо бо́льшему: «Милый сыночек Панечка! Береги, мой ангел, свое здоровье, не пей холодного квасу и никакой зелени не кушай. А если захочешь пить, то пей чай покрепче. Купи себе иноземцевых капель в Никольской аптеке на десять копеек, и пусть они у тебя стоят на всякий случай. А пьют их капель по шести или немного больше и принимают в кипяченой воде. А пишу я это потому, что в газетах стращают этой нехорошей болезнию... Витя гулять никуда не ходит, учит французский язык. Папаша и он ходили недавно в дальний лес и принесли много грибов. Цветочки мои цветут лучше прошлогоднего. Целую тебя крепко-крепко. Твоя мать *Варвара Ногина».*

И Павел Васильевич дал свой совет — остерегаться в еде и чаще мыть руки. Но и не смог умолчать про то, что санитарные меры в Калязине бьют его по карману. «Теперь начинаю писать злобу для нашего: у нас тоже чистятся, санитарятся, моются, убираются. Санитары ходят по дворам и у нас были, только убыток наделали: заставили навоз вывезти не ко времени. Раньше бы за навоз дали по рублю шестьдесят копеек телега, а пришлось под страхом штрафа идти в деревню Чигарево и упросить мужика взять весь навоз за один рубль двадцать копеек».

Все время, пока не пошла на убыль холера, и Варвара Ивановна и Павел Васильевич — настойчиво, дружно — пугали и предостерегали Павла. Но все обошлось благополучно.

Наступила, наконец, знаменательная для семьи Ногиных суббота — 6 июня 1892 года. Павел Васильевич поспешил поделиться с Павлом семейной радостью: «При сем сообщаю тебе, что сего числа *Виктор окончил учиться».*

Детство прошло — семь лет в Москве, семь лет в Калязине. И появилась бумага, свидетельствующая об успехах Виктора Ногина за четыре года пребывания в Калязинском городском училище.

Отец в письме к Павлу добавлял: «Сегодня был акт, и Виктор получил аттестат... Вот теперь, мой

милый, *непременно нужно похлопотать о нем,* как бы пристроить к месту. Я тоже в твои года хлопотал, но не о брате родном, а племяннике: я Сережу тогда определил к Захару Морозову. А у тебя шансов более попросить своего хозяина. Если хорошо сам себя ведешь, то хозяева уважат твою просьбу. Что для них один мальчик лишний? Теперь я не стал бы беспокоить тебя об этом, только все твоя мать сумасшествует, все недовольна жизнью, все клянет, чтобы все провалилось да развалилось. Именно недовольна домом да Калязином. Желает в Москву: хоть в каморку жить, да в Москве. А здесь ничего не нравится ей, с квартиры на квартиру переезжать не приходится. А то она, как полевой цыган, бывало, мызгала с квартиры на квартиру...»

Ровно полгода терзал Павел Васильевич своего первенца: то просил жалобно, то грозился, что нагрянет в Москву и всех разнесет там в щепки, то картинно изображал, как подойти к Сараеву и добиться места для Викторки. «Не кисельничай, пора и разум свой развертывать, ведь семнадцатый год тебе! Оглянись назад и обдумай, чем ты его, Сараева, оскорбил, все взвесь. Он ведь очень зол: слово какое не потрафишь, вот и пошло. Он очень мстителен. Итак, постарайся ему угодить, и чтобы он не сердился. А то ты, должно быть, стал мечтать о себе, зазнался малость. Исправься, я тебе говорю! Не груби. Сколь тебе писано, что нужно всем угождать, хоть это и трудно!»

Писала Павлу и Варвара Ивановна — спокойно, рассудительно: погодим, мол, до осени, а там что бог даст. «А папаша и нас мутит и тебе плетет всякую чушь».

Писал в Москву и Виктор. Но не очень-то хотелось ему залезать в конторскую лямку до осени: любил он Волгу, леса, грибы. Да и была в Калязине та свобода, которая так дорога подростку в четырнадцать лет. И он пользовался ею всласть: уходил из дому ранним утром с куском хлеба в кармане, с французской книжкой в руках. Возвращался под вечер, напоенный сосновым лесным духом, ароматами ско-

шенного луга, прогретый до костей жарким солнцем, очарованный величавой рекой.

Но и осенью дело не сладилось по-хорошему. Пришлось оставить мысль о службе у Викула Морозова и толкнуться в Богородск — к Арсению Ивановичу Морозову.

Варвара Ивановна долго не решалась на этот шаг. Она просидела в Москве половину декабря, рождество и новый год, пока не заскулил Виктор: он провел праздники с глазу на глаз с больным отцом и готов был ехать хоть на край света.

«Милый брат Паша и дорогая мамаша! — писал он. — Пожалуйста, похлопочите обо мне, так как мне здесь скучно, потому что делать нечего, так что не знаю, как и день провесть...»

Не без горечи убедилась Варвара Ивановна, что Витеньке и впрямь не служить в Москве у Викула. И отправилась в Богородск, на поклон к Сергею Солдатихину, которого давненько пристраивал к делу Павел Васильевич. Долг платежом красен, и Сергей — племянник — уважил: в харчевом отделении главной конторы была нужда в мальчике. И место осталось за Виктором.

В середине января 1893 года, в лютый крещенский мороз, отец и мать усадили своего Витеньку в широкие ямщицкие сани, укрыли медвежьей полостью и благословили.

Ямщик гаркнул, дружно взяла с места тройка, под дугой у коренника залился колокольчик, комья снега из-под копыт полетели в лицо: новый морозовский «мальчик», не скрывая слез, с ветром помчался «в люди»...

БОГОРОДСКОЕ ПЕРЕПУТЬЕ

Богородск оказался чистеньким и уютным городком на красивом, возвышенном берегу Клязьмы. Улицы в нем были вымощены булыжником, на городской площади — новые каменные ряды с башенными часами. Ближе к реке — обширный парк, в каждом квартале — сады, сады, и ветви деревьев серебрятся инеем. И почти сразу за городом — кирпичные громады морозовских корпусов.

Виктор добрался до Солдатихиных, сдал Александре Дмитриевне и ее сестре Кате свои пожитки, а с дядей Сережей пошел на прием к хозяину.

Арсений Иванович сидел за огромным столом в мягком кресле и казался маленьким, но головастым. Действительно, голова у него была массивная, с залысинами, волосы в скобку и светлая седеющая борода — как узкая салфетка с острым концом. Глаза — серые, хваткие, даже злые, прикрытые пенсне, и посажены они тесно, почти впритык к носу, большому и бугристому, как залежалый соленый огурец.

— Новенький? — спросил он у Солдатихина, который, пригнувшись до пояса, тащил за руку статного паренька с волнистой каштановой шевелюрой. Хозяин не уловил в его осанке гордости или вызова: паренек, видать, не привык еще отбивать поклоны

и шагал по ковру во весь рост, как на гвардейском параде.

— Он самый, Арсений Иванович! Мой родич, хочет послужить вам, отец-благодетель!

— Это похвально. Достойны уважения те семьи, что служат Морозовым, — он сказал невнятно, словно наелся с утра овсяной каши и еще ее не прожевал. — Подойди, Виктор, на руку.

— Целуй! — шепнул Сергей.

Виктор вздрогнул, наклонил голову, шагнул. Хотел было ткнуться носом в тыльную сторону правой ладони хозяина, но отдумал: крепко сжал волосатую, сильную руку, тряхнул головой и ясными глазами поглядел на Арсения Ивановича:

— Благодарю вас, хозяин. Служить буду хорошо, а руку целовать не приучен.

— Вот ты какой?! — удивился Морозов. — Ну ладно, бог даст, обломаешься. — Он взял листок бумаги и написал: «Виктор Ногин. Мальчиком — в харчевое». — Закон мой знаешь: не пить, не курить, не воровать! Иди, пока поживешь у Сергея.

Через неделю Виктор писал в Москву: «Милый брат Паша! Я поступил сюда в главную контору в харчевое отделение, пишу харчи. Живу у Сережи. Встаю в 6 часов утра, пью чай в 8—9 часов. Обедаю с 12 до 2, пью вечерний чай с 4—5, ужин кончаю в 8 часов вечера. Адрес Сережи верен, он служит в красильном заведении, в отбелочном отделении. Извини, что плохо написал, — некогда. Твой брат *Вик. Ногин.*

Мой адрес: Богородск, Глухозо, фабрика Морозовых, в главную контору».

Закружился Виктор, как на карусели: глаза продерет утром — на дворе темным-темно — и сразу же к себе в харчевое. Распишет харчи для столовой, сбегает чаю попить; выпишет товар для лавочки, перекусит в полдень. И так снова до темени, потому что отработать надо ровно тринадцать часов. Мальчишки после ужина так размякнут, хоть за волосы растаскивай их по койкам. И Виктор на ногах едва держится. Но у Сергея выпросил он право читать на

ночь книгу, часок либо два: при самой-то маленькой лампе — в семь линий — много керосину не спалишь!

Сперва решил он разобраться, что это за Морозовы, к которым его метнули. Оказалась в фабричной библиотеке и книжка про них.

Шестьдесят лет назад было в Богородске небольшое отделение Зуевской фабрики Саввы Васильевича: красильно-ткацкое заведение да еще раздаточная контора, откуда пряжа отпускалась кустарям для ткачества на дому на своих станках. Захар Саввич — дед Арсения — полвека назад перенес дело из Богородска в Глухово. Село это называлось еще и Жеребчихой: жили там два помещика, Глухов и Жеребцов, и до того промеж себя сварились, что шум по всей округе шел. Тут-то и подвернулся Захар: чохом купил у обоих почти две сотни десятин земли, мигом разорвал давнее их несогласие, и разлетелись они на две стороны.

Помер Захар, помер сын его Иван, и огромное дело досталось Арсению: отбельный корпус, фабрики ткацкая и прядильная, машины ватерные и мюльные, сто тысяч веретен и поболе двух тысяч ткацких станков. Да еще канатная комната — из нее пеньковые канаты идут во все этажи от нового паровика в 1 200 индикаторных сил. И казармы, бараки, родильный приют, столовая, магазин, библиотека. Рабочих 10 тысяч человек, и дают они товару хозяину на четырнадцать миллионов в год!

И про тюрьму в Богородске не забыл Арсений Иванович. Тюрьма такая, как у американцев: вентиляция, водопровод, водяное отопление, обширные ткацкие мастерские, чтоб рабочие и за решеткой не теряли квалификацию. И церквушка в тюремном дворе — как маленький теремок в древнерусском стиле. И по праздникам поет в ней хор певчих от Арсения. Ну, просто князь Богородский, не меньше!

И даже в Богородском гербе про свое дело не умолчал. В верхней-то половине размещен герб московский, а в нижней — тот маленький челночок, которым нанизывается шелк в золотом поле.

Каждый день присматривался Виктор к хозяину,

хотел понять, что это за человек — с длинным торсом, короткими ногами, в сапогах, брюки с напуском, неизменный у него черный картуз, как у любого лабазника, и ременная, витая плетка в правой руке.

Вставал он в одно время с рабочими, пил чай, ел кашу, потом легко вскидывался в седло на мышастом, пепельном коне и вместе с ездовым начинал осмотр своих владений.

Ременный витень не зря висел на правой руке у хозяина: попадало кое-кому вдоль спины, а гулякам и пьяницам — непременно.

В калязинском доме надоели Виктору бесконечные разговоры о боге, угодниках и ангелах. Не пришлось избавиться от них и в Глухове. Арсений Иванович был фанатиком старообрядческой веры. Своя стояла у него молельня в саду, у белоствольной границы березовой рощи — одноэтажный деревянный домик, как летняя дачка. И молился он в этой дачке каждый день, сгоняя по праздникам к себе в компанию всех мальчиков из конторы и всех любезных ему «голубчиков». И наблюдал, чтоб все крестились перед молитвой, как по команде: то крестом мелким, то до пояса, то с преклонением колена. Когда же был перерыв в молитвах, все стояли по древнему ритуалу молча и чинно, сложив на груди руки крестом.

Но даже при такой истой вере нельзя было слепить из хозяина святого угодника Арсения: он оставался слишком земным и грешным, жадным, злым, расчетливым. А прославиться среди старообрядцев ему хотелось, и он десять лет издавал на свой кошт полный круг церковного знаменного пения в крюках. И страшно бахвалился этими шестью томами: вот, мол, какую старинную культурную ценность сохранил для потомства!

А в бараках у него ползали сопливые, рахитичные дети на цементном полу; на двухъярусных нарах спали семьями, отделившись от соседей грязной ситцевой занавеской; в лавке драли с ткачей втридорога и сбывали им залежалый товар; на одни штрафы хозяин мог строить по новому корпусу в год. И в боголепной вотчине Арсения каждое лето кидалась



Павел и Виктор Ногины. 1881 г.

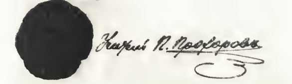


Домик Ногиных в Калязине.

За прилежаніе и успѣхи въ наукахъ дана эта книга отъ Калязинскаго Училищнаго Совѣта ученику Николаевскаго приход. училища Виктору Ногину. 1886 года Іюня 2 дня.

Дозволено цензурою, С.-Петербургъ, 19 Декабря 1885 г.

Членъ Училищ. Совѣта Д. Шишк...



Надпись на книге, подаренной Виктору Ногину в школе. 1886 г.

в пруд убитая горем ткачиха. И никому из хозяйских «голубчиков» не приходило в голову, что тринадцать часов в день — это каторга.

Виктор надрывался на этой каторге. Но книг не оставлял. И чем шире, глубже знакомился он с бытом рабочих, тем острее была жажда знаний: со дня на день становилась она господствующим его интересом.

Да и с братом наметилось сближение, теперь уже на почве служебных дел. Постепенно рассеялись все недоразумения, порожденные условиями жизни в Калязине. И когда Виктор тяжело переболел скарлатиной и три недели провалялся в больнице, первое же письмо после болезни он написал брату: «Милый брат Паша! Извини меня, что я тебе не писал долго, потому что я 8 февраля поступил в больницу, а выписался только вчерась; *я хворал скарлатиной;* домой об этом я не писал. Жил и живу у С. В., потому что еще не поступил в молодцовскую. Когда Арсений Иванович придет к нам в контору веселый, то я у него попрошусь, раз я у него просился, но он сказал:

— Ходи, братец, к Сергею Васильевичу.

Паша, нет ли у тебя старых сапог получше, мои чересчур плохи, а денег у меня нет, галоши еще раньше развалились так, что в них стыдно было, и Сережа купил мне резиновые. Александра Дмитриевна просит прислать твою карточку (фото). С. В. и А. Д. и Катя тебе кланяются. Целую тебя крепко-крепко. Твой брат *Вик. Ногин».*

У Сергея Солдатихина хоть было и тесно и не очень сытно, но еще хуже стало в молодцовской, куда Виктор перешел 15 марта. Через четыре месяца об этом было сказано Павлу: «Жить в молодцовской становится скверно, население все отчаянное самое, а харчи прескверные, иногда вылезаешь из-за стола не жравши».

Да и хозяин, хоть и продвигал по службе, и выправил в июне приказчичье свидетельство, и положил пятнадцать рублей в месяц, притеснял так, что некогда было дохнуть. В первый же день пасхи заставил

дежурить в главной конторе, в фомино воскресенье — в своих хоромах. Всю пасхальную неделю велел водить его в молельню и заставлял петь древние тексты старообрядцев: «Христос воскресе из мертвых, смертию на смерть наступив, изгробным жизнь даровав».

Все это отходило прочь, все это казалось Виктору нелепым и диким, как только он усталый валился на койку, читал до боли в глазах и засыпал с очередным томом под подушкой. Какие умные люди вели с ним ночную беседу: Лев Толстой, Владимир Короленко, Григорий Данилевский, Глеб Успенский! Особенно доходил до сердца Успенский. И когда однажды задумался Виктор над печальной судьбой туляков, что прошли по страницам тома «Нравы Растеряевой улицы», его даже в жар кинуло: как опускаются, идут на дно и гибнут люди! А вдруг и ему уготовано судьбой стать жалким холуем при этом самодуре Морозове? Путь старый, как натоптанная тропа: нынче подай, завтра принеси, иди под уклон и ниже кланяйся, пока не треснешь себя лбом по колену. Страшно! И никакой опоры не сыщешь: один как перст среди чужих людей. На Сергея какая надежда? Он давно преклонен до пояса, этим и держится. Трудно жить в людях! Вот уже и робеть стал: как бы не полететь с места, как бы не угодить под хлыст хозяина. Тяжела рука у Арсения, самодур, каких мало, и на расправу очень быстрый. Вот так и засосет: то сбегай, то услужи, а в праздники еще эта чертова молельня! Поглядишь на себя со стороны, ан Виктора-то и нет! А заместо него червяк ползает, к примеру, как эти парни из молодцовской. Они карьеру делают: и лбом и задом вышибают копейку. Достоинства в них нет, слишком жадно ловят всякий взгляд хозяина. «Чего изволите?» — такая уж кличка у них. И готовы они кинуться для Арсения хоть в полымя!

Весь год прошел в жалкой борьбе с нуждой: сапог нет, шуба сносилась, на штанах дырки, пиджак совсем вытерся на локтях. Не раз и не два приходилось напоминать брату: дай хоть что-нибудь из обносков, стыдно на люди выйти! Значит, не зря ста-

рался отец пристроить его у Викула: столичные фабриканты высоко держали честь фирмы, мальчишку не оставляли босым и голым. А Арсений про то и не помышлял: жаден чрезмерно, да и к чему в Глухове фасон держать? И еще беда: разболелись глаза. За конторкой свету мало, как в конуре, и по ночам читать, выходит, не ладно. Пришлось летом надевать синие очки.

Но все эти беды Виктор переносил стойко: не жаловался и не отчаивался. И даже радовался, когда выпадал случай немного развлечься. Летом купался в пруду и в Клязьме, зимой катался на коньках, правда, их приходилось выпрашивать у Сергея. По большим праздникам ходил на гуляния, которые устраивал на широкую ногу Арсений. Духовой оркестр пожарников гремел на площади. Молодые мастеровые лазили на мачту за призами или с завязанными глазами сталкивали друг друга с поперечного бревна на стойках. Иногда давали представления акробаты или валял дурака цыган с медведем.

В ильин день забрался один мастеровой на самую верхушку высокой мачты и снял с крючка новехонькую тульскую гармонь. И пошло вокруг ликование: парня поздравляли с удачей, про Арсения болтали — вот благодетель, вот для народа старатель!

Виктор толкнул дядю Сережу в бок и сказал:

— Хорош благодетель! И копейки своей не выложил, деньги взял на все эти игрушки из штрафного фонда. Не верите? Я сам видел записи в книгах.

Сергей изменился в лице:

— Да замолчи ты, греховодник! Услышит он твои речи, в острог засадит! И не думай про это. А подумал — молчи. Вот уж бог послал племянничка!

А «благодетель» широко тратил штрафные деньги. И однажды затащил в Глухово проезжих актеров. Виктору удалось посмотреть первую сцену из «Русалки» Пушкина и комедию «На пороге великих событий». Павлу было об этом сообщено: «Мне очень понравилась игра Степановой в дочери мельника, а Морская играла очень скверно. Остальные играли порядочно, на мой взгляд».

Так бы и теплилась жизнь — день за днем. Но Виктор не находил покоя: шла в нем какая-то сложная борьба с самим собою. Он уже понимал, что в мальчиках не останется и что конторская угодливость ему не по нутру. А на что решиться, не знал.

Он перешел в контору красильной фабрики, где работал мастером дядя Сережа, и часто заглядывал в цех; бывало, и просто из любопытства, но обычно по делу.

Ужасным казался ему труд красильщиков. Но люди держались. И было в них что-то такое, о чем не слыхали угодники из молодцовской, о чем не ведали ни за прилавком, ни за конторкой. Идет Арсений по цеху, мастера и подмастерья лепятся к нему, как мухи к меду, а иной красильщик стоит у своей барочки и даже головы не поворачивает, потому что человек при деле и есть у него своя гордость.

В прошлом году ткачи на работу не вышли, человек двести. Арсений хотел им оплату скинуть на шесть процентов, ан не пришлось. И острогом грозился и плеткой помахивал, а как об стену ударился и отскочил: заказ был большой для ярмарки в Нижнем, и не мог он тех ткачей поставить под расчет.

Этим летом кинулась в Черноголовский пруд ткачиха, почитай, весь цех выбежал ее спасать. Откачали. И подружки ее из нищего жалованья собрали по кругу сорок рублей и до работы забегали к ней помочь по хозяйству, пока она набиралась сил после такой передряги.

Такой же дух товарищества не покидал и красильщиков. И им была понятна выручка в беде. И как ни ломал их хозяин, как ни бесновался начальник красильни инженер Розенталь, а своей рабочей гордости они не роняли.

Виктор решился на большой новый шаг в жизни и по вечерам вел осаду дяди Сережи:

— Возьмете к себе в красильню? Рабочим?

— И не подумаю!

— Дождетесь: сам уйду!

— Не вводи в грех, Виктор! Папенька узнает, конец ему.

— Ну, дайте хоть секрет какой-нибудь. Я пока выучу, а там посмотрим.

— Секрет дам — без этого в нашем деле мастеровому цена — грош. А в красильню пока носа не суй!

Конечно, судьба папаши волновала Виктора. А Павел Васильевич никакого согласия на переход в красильню дать не мог. И во втором сыне он хотел видеть только конторщика и дотошно расспрашивал Павла, когда тот возвращался в Москву после краткой побывки в Глухове: «Как ты нашел Витю против прежнего, изменился он или нет, и сделал ли ты ему сапоги к празднику?..» «Напиши ему, чтобы он мелко не писал, а писал, как ты пишешь. А то собьет руку, никуда не будет годиться. Вижу, начал он писать, как я. Это скверно. Я себя этой мелкотой испортил: поддержать было некому». «Как ты Витю нашел в развитии умственных способностей и хороша ли манера у него: как он себя держит в обществе?»

Все эти письма пронизывала одна невеселая мысль: «Я уже почти что прошел поприще жизни и теперь стою на краю могилы. И одна у меня забота: как бы переложить всю мою душу в вас...»

Говорить отцу о своих планах не было смысла. Виктор отправился в Москву и всю долгую осеннюю ночь проговорил с братом. Тот колебался и отговаривал, даже грозился сообщить папеньке о таком ужасном вероломстве Виктора. Но под утро уступил и обещал осторожно подготовить маму, когда она приедет подыскивать для себя квартиру.

Варвара Ивановна погоревала, поплакала, но отговаривать Витю не стала. А отцу решила пока не сказывать:

— Продаст папенька дом, переедем сюда, а там видно будет.

Теперь Виктор не колебался. Под начало Сергея Солдатихина он перешел в цех. И у Арсения Морозова появился новый красильщик миткаля.

Трудно ли ему было? Очень! Те же тринадцать часов, но в духоте и в сырости, и заработок на три рубля меньше. Иногда совсем не хватало сил к концу смены, и уже не было потребности читать перед

сном книгу. Пошатываясь, покидал он красильню и засыпал на ходу, едва глотнув свежего воздуха. Болели кисти рук: краски разъедали ладони, на месте очередной язвочки появлялся грубый рубец. Но дух поднимали товарищи: они-то догадывались, почему этот молодец расстался с конторой, и подходили к нему, давали советы.

Часто Виктор думал о них: словно из камня эти люди, из гранита! Все отравлены лаком и кислотой, и пергаментную бледность отложила на их лицах болезнь, а живут! И родятся-то для того, чтобы всю жизнь красить, жевать черствый хлеб гнилыми зубами, покупать гробы для своих детишек и отходить в мир иной в тех же лохмотьях, в которых изнывают на фабрике.

А живут и будут жить, потому что без них сама жизнь — ничто! И надеются, что будут жить радостнее, светлее. Но почему терпят?

С того апрельского дня в прошлом году, когда двести ткачей не вышли на работу, в Глухове не было ни открытого протеста, ни волнения. Только в своем «клубе», которым служило отхожее место, красильщики давали простор негодованию, на все корки кляли Арсения и приближенных его «голубчиков».

«А почему об этом не пишут в книгах? — думал Виктор. — Побывал бы здесь Глеб Успенский, дал бы крепкую затрещину Морозову. Ведь на этой красильной каторге день за днем мы убиваем себя. Но бесследно не исчезаем: мы превращаемся в добрый ситец и в добрый миткаль. А Арсений все это обращает в груды золота. И «голубчики» не зевают: и вино у них, и мебель, и жирный живот, и мясистый кадык!»

Виктор уже не удивлялся тому, что видел вокруг, а возмущался. И когда на фабрике случился пожар, он написал о нем брату, не скрывая радости.

Однажды попала к нему книжка, которая обожгла руки, вскружила голову. Называлась она «Хитрая механика». Дал ее под честное слово один озорной

молодой красильщик и наказал молчать про то, что в ней писано:

— До поры до времени, понимаешь?

И так ответила эта книжка настроениям Виктора, что он почти выучил ее наизусть. И мог бы объяснить при случае — просто и точно, — как фабриканты и царь обирают рабочих и живут припеваючи на похищенные у народа деньги.

Виктор не смог молчать и иногда пересказывал красильщикам из этой книжки страничку-другую. И как бы обернулось для него такое опасное дело, гадать не приходится. Но в семью Ногиных снова нагрянула беда, и с Глуховской мануфактурой пришлось расстаться.

Отец и мать в январе 1896 года переехали из Калязина в Москву. Павел Васильевич держался недель семь, но второй удар свалил его с ног.

Виктор приехал по вызову. Варвара Ивановна стала его упрашивать:

— Останься в Москве, Витенька. Походим по конторам, глядишь, и место найдем. Да и папенька будет рад. Совсем он немой стал и глазами все тебя ищет.

Предлагали Виктору два-три места по конторской части в захудалых фирмах, он их не принял. Отказался служить и в конторе ресторана, куда хотел пристроить его Павел.

Павел Васильевич лежал пластом, когда в Москве начались торжества коронации. 6 мая царь и царица остановились в Петровском дворце, затем помпезно въехали в Кремль. По всем площадям проскакали герольды с литаврами и с полным хором трубачей и возвестили всем, всем, всем, что коронация состоится четырнадцатого.

В газетах и журналах сделалось пестро от царских портретов. Николай в Архангельском соборе, Николай в Грановитой палате, Николай... Николай...

14 мая в семь часов утра с Тайницкой башни дали двадцать один выстрел, зазвонили колокола на Успенском соборе в Кремле, захлебнулись перезвоном все

церквушки и монастыри первопрестольной русской столицы.

Вдовую императрицу Марию Федоровну усадили под балдахин и понесли к Успенскому собору шестнадцать генеральских особ третьего класса. А часом позже тридцать два генерала вынесли под балдахином от красного крыльца царя и царицу. И началась торжественная церемония при всех митрополитах православной русской церкви.

Вечером колокольня Ивана Великого расцветилась от земли до креста гирляндами электрических ламп. Засветились лампионы на гребне Кремля, и гренадеры-артиллеристы грохнули из пушек на Софийской набережной. Зазвенели стекла по всей округе. Москва потонула в море бенгальских огней.

А Ногины не праздновали, сидели дома. И 18 мая не пошли они на Ходынское поле, хотя со всех стен и щитов призывали горожан праздничные плакаты, суля веселье и угощение: сайки — от Филиппова, колбасу — от Григорьева, мешочек сластей — от Динга, платки — от Даниловской мануфактуры и юбилейные эмалированные кружки с царскими вензелями — от господина Клячка. Многие, многие соблазнились царскими подарками.

С ужасом прочитал Виктор скорбный отчет о злосчастной Ходынке: две тысячи гробов было продано в один день. Раненых и изувеченных никто не подсчитывал.

— Царю-то батюшке какое огорчение, — вздохнула Варвара Ивановна. — Только святым миром его помазали, и сразу — беда.

— Не о нем речь, маменька, людей жалко: мастеровых да мужиков. А с Николая как с гуся вода: весь в крови, но вчера на балу был у французского посланника. Хоть бы молчали про это: ведь кругом по Москве гробы, так нет, пишут и от восторга захлебываются: «Во французском посольстве, в доме графа Шереметьева на Воздвиженке, состоялся блестящий бал, небывалый по своей красоте, роскоши и оживлению...» Противно, дальше читать не стану!

Похоронили задавленных на Ходынском поле,

гром ударил из Питера: грандиозную забастовку развернули текстильщики с открытым протестом против взимания штрафов. В правительственном сообщении промелькнуло известие об особой роли в этой забастовке «Союза борьбы за освобождение рабочего класса» и о подпольной деятельности социал-демократов.

«Вот они, люди, которые мне нужны!» — сказал себе Виктор и запросил в Петербурге знакомых: нет ли там объявлений о новом наборе красильщиков.

Так прошло лето. В конце сентября скончался Павел Васильевич, и гроб с его телом снесли на Преображенское кладбище.

Виктор стал собираться в дорогу.

— Я, маменька, в Питер надумал. Верный человек сказывал мне: требуются красильные подмастерья за Невской заставой. Обживусь, приедете, коль захотите: я вам всегда рад.

Через два года Варвара Ивановна приехала в Питер, но навестила сына не дома, а в тюрьме...

ЗА ЖИВОЙ ВОДОЙ

Питерцы, что ехали на империале конки в тот день, конечно, приметили красивого и статного молодого провинциала, занявшего дешевое место от Николаевского вокзала.

Он не скрывал своего любопытства, беспрестанно ерзал на скамейке и украдкой приближал к глазам пенсне, когда желал что-то рассмотреть на людном и шумном проспекте. Старожилы поглядывали и на его одежду: рыжеватое осеннее пальто явно с чужого плеча, тяжелые сапоги с подковками и слишком новая фетровая шляпа. Она была надета впервой, еще не обмялась на голове и свободно опускалась на глаза, когда вагон подскакивал на стыках рельсов. И, наконец, эта большая вещевая корзина, которой снабдил его Павел: на ней металлический прут надежно поддерживал два висячих замка. Торопясь на конку в крикливой привокзальной сутолоке, Виктор поддел этой корзиной подол платья на какой-то молодой особе в очках. Она смерила его с головы до ног и рассмеялась прямо в лицо:

— Ну, нельзя же быть таким мешкотным, молодой человек!

И пока он думал, как извиниться перед ней, она легко отстранила его и юркнула в раскрытую дверь

конки. Теперь она сидела напротив и листала «Мир божий» — толстый журнал Ангела Богдановича.

Еще в Москве напугали Виктора питерскими мазуриками, которые умели будто бы выхватывать чужие вещи из-под рук. И Виктор — на всякий случай, конечно, — придерживал корзину правым коленом. В ней было все его богатство: и аттестат от Арсения Ивановича Морозова, и рецепты, как красить миткаль, и сменное бельишко, любовно подготовленное Варварой Ивановной, и первый в жизни новый костюм, и адрес фабрики Карла Паля, и сатирические «Сказки» Салтыкова-Щедрина, с которыми не расставался он в последние дни.

Но пассажиры не внушали опасений. Молодая особа уткнулась в журнал и просидела так до Большой Морской, пока не окликнул ее с улицы высокий худощавый студент. Трое мальчишек озоровали: они шумно свистали каждой пролетавшей голубиной стае и поднимали крик, когда видели в витрине золотой калач, кружку пива, большие часы с длинным маятником и наряженных восковых манекенщиц. Пожилой полотер вез ведро, прикрытое старым номером «Биржевых ведомостей», и кисть, упрятанную в новую мешковину, крутил и курил цигарку. Похоронных дел мастер в высоком черном цилиндре из шелка держал между коленей железный венок из зеленых пальмовых листьев, почему-то украшенных серебристыми шишками. Дородная женщина в пестром платке носком туфли придерживала небольшой ящик с помидорами и ловко кидала в рот семечки жадными руками базарной торговки.

Каждый был занят своим маленьким делом и подозрительным не казался. Только один субъект навевал какие-то странные мысли: слишком быстро бегали у него глазки и, как на шарнирах, поворачивалась голова. Все в нем выглядело ненатурально, словно он был сам по себе — с тонкими торчащими усиками, а его гардероб наличествовал отдельно, как на вешалке: и светлое пальто в крупную желтую клетку, и котелок в следах перхоти, и стоптанные ботинки, и тонкая трость с костяным набалдашником.

Тип этот поспешно вышел из вагона, когда сбежала вниз молодая особа к окликнувшему ее студенту, и— легко и привычно — пошел за молодой парочкой. Через год с небольшим и Виктор впервые заметил за своей спиной такую же фланирующую походку сыщика. И клетчатое светлое пальто, которое стали именовать гороховым, и бегающие глаза — от нечистой, продажной совести, и торчащие усики стали для него синонимом столичного сыска.

А сейчас он просто удивлялся тому, как этот тип прицепился к парочке, забыл и про корзину и про мазуриков, потому что полонила его суматошная дневная жизнь прекрасной Невской першпективы.

Минут десять назад на перекрестке возле Литейного и Владимирского конка задержалась перед витриной модного ресторатора Палкина. Какой-то щеголь во фраке распоряжался за большим чистым стеклом, и повар в белом колпаке выставил на витрину огромного осетра с пучком зелени во рту и живописно раскидал вокруг белые соусники и синенькие кувшинчики. И тотчас столпились зеваки перед окном, закрыв спинами все это гастрономическое великолепие.

Затем были чудесные бронзовые кони на горбатом мосту через Фонтанку; блестящие гвардейцы на карауле у ворот дворца вдовствующей императрицы, которую по весне тащили в Кремле под балдахином шестнадцать особ третьего класса на торжество коронации сына; бронзовая Екатерина Вторая и у ее ног, по фасаду постамента, полным-полно всяких генералов; словно потревоженный кем-то людской улей в узких галереях Гостиного двора; мрачные крылья Казанского собора и земной шар на куполе нового здания знаменитой швейной компании «Зингер». А першпективе все нет конца! Она уносится и уносится вдаль и замыкается желтым и белым зданием Адмиралтейства с изящной золотой иглой, которая полыхает на солнце!

Вдоль высоких домов, во всю длину першпективы, шумел и ярился людской поток. Бежали мальчишки, посыльные, разносчики товара; спешили гимназисты,

студенты, модистки, горничные. Быстро шли праздные женщины — тонкие и толстые, высокие и приземистые, старые и молодые, в платках и в шляпках, метя каменные плиты тротуара длинными платьями. Толпились молодые хлыщи небольшими кучками — в котелках и в шляпах — и раскланивались с прохожими, словно все были знакомы или находились в свойстве. Легкий дым сигар, белые перчатки, узкие пальто с бархатным воротником, зонты, зонты, зонты, трости. Но ярче всего бросались в глаза синее и голубое сукно военных, лампасы, околыши, аксельбанты, кивера, султаны и звенящие шпоры на франтоватых, натертых до блеска сапогах.

Обгоняя дребезжащую конку, мчались чудо-кони в лакированной сбруе, с серебряными бляхами на крупе. Блестящий черный лак фамильных карет, вензеля, кремовые шторы, приглушенный топот копыт на торцах мостовой. И кучера, как выходные актеры в сказочной пьесе. И ловкие извозчики, словно ввинчивающиеся со своими пролетками в несусветную сутолоку людных перекрестков. Да, это не Москва, это Европа, но с бесшабашным русским аллюром и помрачающей ум неразберихой!

Потом была безлюдная площадь с воинственным ангелом на высокой колонне, зеленый и белый Зимний дворец, холодная свинцовая Нева, а за ней островерхая серая громада Петропавловской крепости, деревянный мост и две ростральные колонны; на них, как на ораторских трибунах древнего римского форума, были налеплены носы захваченных в плен вражеских кораблей.

«Офицеры, генералы, доблести воинской славы на каждом углу, и эта праздная толпа на прошпекте — не много ли всего этого для одного города? — размышлял Виктор, когда конка дотащилась до Петербургской стороны. — Вот она, «хитрая механика» в действии. И что мне сулит эта Северная Пальмира?»

Он подхватил свою корзину, взвалил ее на плечо и отправился искать дом № 3 на Большой Подьяческой улице.

Андрей Дорогутин был дома, давний знакомый,

еще с детских лет, сверстник Павла и почти родственник — троюродный племянник Варвары Ивановны. Он, как и Павел, служил в конторе, но не в мануфактурной фирме, а у известного часовщика Павла Буре на Невском, почти обочь с Казанским собором. Но последние два дня не работал — ходил с повесткой в воинское присутствие и все ловчил, как бы увильнуть от призыва. Был он парень толстый и добродушный, не очень румяный, как все старожилы Петрова града на Неве, и в меру ленивый, как те счастливые конторщики, которых не очень утомляет должность и не гнетет нужда.

Андрей не занимался по вечерам, не ходил в театры, редко ездил на острова и раз в неделю прогуливался по Мытнинской набережной с дочкой просвирни, которую прочили ему в жены. А в остальные дни лежал с книгой на диване: он не делал жизнь, она уже прочно определилась службой и шла, как заведено. Любил он толстые романы Петра Дмитриевича Боборыкина, с густым кондовым бытом и натуральными подробностями о любви, и особенно нашумевший роман про Василия Теркина. А еще увлекался многотомными книгами романиста Александра Дюма-старшего, где действовали кровожадные короли и галантные мушкетеры, графы, герцоги, авантюристы и подвижники. С «Королевой Марго» в руках он и встретил Виктора:

— Калязинскому мещанину Виктору Павлову Ногину — почет и уважение!

— Здравствуй, Андрюша. Только зачем так пышно именуешь?

— У тебя и в паспорте так отмечено, мне Паша недавно в письме сказывал.

— Так и есть, — улыбнулся Виктор.

— А ведь я это к тому, что мой Дюма был у вас в Калязине лет сорок назад. Из Переславля проследовал, на пароход сел возле вашей Свистухи и отбыл в Кострому. Эх, и пишет, оторваться не могу! — Андрей щелкнул по переплету «Королевы Марго». — Ну, располагайся, сейчас кофием угощу.

— Чайку бы лучше, по-московски.

— У нас не принято. А тебя уже ждут за Невской заставой. Поешь — и отправляйся. Сам найдешь дорогу аль проводить?

— Не в лесу, доберемся. Да и привыкать мне надо. Хочу сам Питер узнать. И людей желаю найти, которые о мастеровых печалятся.

— Круто берешь, Виктор! Не больно-то их сыщешь. Слух был, что они теперь на Шпалерной да в Крестах!

— А што это?

— Тюрьма, брат, одна и другая. Помнишь, забастовку делали этим летом? Все там! Болтают люди, что в одной Петропавловской крепости камеры не заняты. Вот и попадешь туда, как в гробу будешь!

— Не стращай, Андрюша! Что ж, у вас и слова молвить нельзя? Скажешь чего-нибудь — и сейчас же в тюрьму? А как же быть-то? На фабриках, ой, как не сладко! Гляди, один год поработал в красильне, а руки до локтей в рубцах, — засучил рукав Виктор. — Должен же кто-то про то думать, чтоб жилось нам лучше. Тебе-то что: сыт, здоров, работа чистая, даже брюшко завел. И небось боишься всего: вдруг такая жизнь кончится? Только никто тебя не тронет, если ты не холуй и не наушник. А хозяевам достанется. Хочешь, я тебе «Хитрую механику» покажу: книжонку махонькую, на Сухаревке намедни из-под полы достал? Это тебе не «Королева Марго»: в один день глаза раскроет. И станет тебе ясно, кто с меня и с таких, как я, лыко дерет без всякой совести.

— Что ты, что ты, Витя! Зачем мне твоя «Механика»? Мне подходит пора жениться. Не призовут в часть, я и под венец.

— Ну, как знаешь. Салтыков-Щедрин, Михаил Евграфович, здорово про это писал: кому, говорит, конституция, а кому — севрюжина с хреном. Только, на мой взгляд, правда всегда берет верх. «La raison finit toujours par avoir raison», — сказал бы твой Дюма. Он в этих делах кое-что понимал... А корзинка пускай у тебя постоит, я приеду за ней под вечер...

Через год, когда «Питер бока вытер», Виктор обжился в столице, и получился из него настоящий мастеровой.

Похудел он и вытянулся, пропал его московский румянец. Руки не отмывались от краски, и всю половину суток не вылезал он из брезентовой рабочей куртки, пропахшей лаком и кислотой.

Про шумный Невский почти забыл. Жизнь ограничивалась теперь одним заставским квадратом: по-соседски две фабрики — Паля и Максвеля в селе Смоленском; Шлиссельбургский проспект, завод Семянникова и трактир «Бережки» на левом берегу Невы. Да зеленый кусочек земли возле Ҁеновьевского кладбища — за рекой. А когда проезжал по Невскому — по делам либо в гости к Андрею, — все его там раздражало: и неумеренный блеск вечерних витрин, и толкотня сытых бездельников возле кафе Филиппова, и шикарные экипажи, которые запружали подъезды к Александринскому театру, когда кончалось там представление.

Никому он не завидовал в этой праздной толпе. Он иногда лишь пытался представить, что будет с этой толпой, когда все его товарищи — красильщики, отбельщики, а с ними и соседи — металлисты — вдруг выйдут лавиной на этот проспект, крепко взявшись за руки, и запоют песню своей победы, как пели ее на Елисейских полях в дни Парижской коммуны. Но это была такая дерзкая мысль, что он поспешно прятал ее в далекий тайник души.

Этот год дался Виктору трудно: у Паля было не лучше, чем у Морозова, только рабочий день длился на один час меньше.

Месяцев пять был он красильщиком и ютился с большой рабочей семьей в деревянном боксе: там он занимал верхнюю полку на нарах, как в купе вагона.

— Можно ли так жить, Авдей? — заводил он беседу с пожилым соседом, когда пять ребятишек и Авдеева жена навалом располагались на двух койках и засыпали мертвецким сном.

— Дыть кормиться надо, — отвечал вятич. —

И дети вот. Куда их денешь? Жена заведется с тоски, побежишь в обед к Шабловскому просить комнату в семейном доме. А он и плюнет тебе в рожу. Нрава не покажешь, утрешься, будто это божья роса. Да... Ты попробуй супротив него: выкинет в тот же час, и подыхай с голоду. Прошлым-то годом спробовали, так сколь народу по деревням раскидали! Сидят, бедолаги, на хлебе с водой да раз в месяц к уряднику ходят: мы, мол, туточки, никуда не сбежали! И до пояса поклон отвесят: «Дай пашпорт, господин начальник, на фабрику надо, совсем подбились». А он им кулак приставит к носу и заорет: «Молчать, крамольники!» Вот и весь сказ.

Судьба свела Виктора с немцем Отто Гуговичем. Этот немец был мастером в красильне, и работать пришлось под его началом.

Долговязый и рыжий, Отто оказался сносным человеком: кулаков не сучил и не придирался к рабочим по пустякам. Перед начальством гнулся, словно был гуттаперчевый, а с красильщиками никогда не финтил: не наушничал, магарыч брал только пять раз в году, когда выпадали дни рожденья его самого, трех детей и жены, и под штрафы подводил редко, когда нельзя уже было скрыть бракованный кусок товара и отвести удар от виновника. Рабочие добродушно звали его Отя.

Разозлившись на кого-нибудь, Отя багровел и кричал тонким голосом:

— Свиня, свиня! Черт раздери!

— Отя у нас правильный, — говорили в цехе. — Кабы все немцы были ему под стать, нам бы и ругать их не пристало.

Виктор спросил его однажды: почему он такой тихий и словно бы робкий?

— Домика мне дал господин Паль, надо ему услужить, тихо так, спокойненько. А рабочий человек я любит, сам все испытал на своя шея. Бит помногу, очень пуган от хозяевов.

К Виктору он скоро расположился всей душой. Молодой красильщик нравился ему и спокойным характером, и ровным обращением с товарищами,

и разговорами о книгах, которые он ухитрялся проглатывать под богатырский храп Авдея и сонное бормотание его ребятишек. А совсем его покорил Виктор, когда вычитал во французском журнале несколько интересных рецептов нанесения краски на ткань.

— Просить стану господина Шабловского, будешь мой подмастерий. Когда вечер, помогайт тебе, хороший рецептную книжку составишь. С ней нигде пропадайт нельзя.

Жил Отто в ограниченном мире — красильня и семья. А в семье — три извечных немецких кита: Küche, Kinder, Kirche. Да мещанский уют с легкими пуховичками вместо одеял, с вышитыми полотенцами и салфетками, на которых готической вязью шли нравоучительные фразы: «С нами бог» или: «Мир да любовь».

Виктор без раздумий покидал свою каморку, когда выдавался случай посидеть у Отто. Он рассказывал мастеру обо всем прочитанном: из Щедрина и Успенского или «Отечественных записок». А потом чинно пили чай из синих чашек с золотым волнистым ободком и резвящимися сусальными амурами. И записывали рецепты: каждый мастер должен был строго держать в секрете свои приемы, чтобы никому не уступить места в извечной конкурентной борьбе.

К осени 1897 года положение Виктора на фабрике упрочилось. Он уже получал не пятнадцать, не двадцать, а сорок семь рублей, снял комнатку в доме № 51 по Шлиссельбургскому тракту, смог посылать маме по «красненькой» (по десятке) из получки и перестал жаловаться в письмах домой на такие условия, от которых «хоть волком вой».

А на душе покоя не было. Все попытки разговориться с товарищами по цеху — зачем так жить? Как быть дальше? — успеха не приносили. Люди отмалчивались либо говорили намеками, на этом все и кончалось.

Виктор решил: надо искать студентов, которые помогли бы ему сплотить красильщиков. Сергей Це-

дербаум, с которым Виктору пришлось общаться не один год в Питере и в ссылке, вспоминал, как молодой Ногин отправлялся со Шлиссельбургского тракта в город, как присматривался к соседям, путешествуя на верхушке конки по длинным петербургским улицам, как просиживал по воскресеньям в Летнем саду: все ждал желанной встречи с социалистом. Пробовал разговаривать со студентами о рабочем быте, но отклика не находил. А один студент даже так обозлился, что крикнул ему:

— Пошел прочь, легавый! — и кинулся наутек.

Но Виктор не сдавался. Только понял он, что искать нужных людей надо на своей заставе. Услыхал, что почти рядом с его домом начались занятия в вечерней воскресной школе, пошел туда. Курсистка — учительница — ему не понравилась: была она какая-то пресная, робкая, в разговор о политике почти не вступала.

Однако в этой школе он дознался, что в одном из боксов палевского барака занимается народ в рабочем кружке. Зашел туда. Встретили его приветливо. И хотя за стенкой плакала тульская двухрядка, колобродили пьяные и скулили дети, но слушать разговор было можно.

Студент приходил по субботам. В этот день рабочие мылись в фабричной бане, а после бани — часов в девять вечера — им разрешалось принимать знакомых и родственников. В остальные дни барак был недоступен для посторонних: Паль обнес его забором и держал сторожа в проходной будке. И к этому сторожу нередко приходил обогреваться городовой с соседнего поста.

Забрежнев — сын богатого купца — сумел с виду опроститься так, что проходил сторожку, не вызывая подозрений. Был он одет под десятника; из кармана поддевки торчал складной аршин, русая борода разделялась на две стороны, из-под нее выглядывала красная рубаха с косой планкой. Кружковцы посмеивались:

— Наш-то Володимир ни дать ни взять как оборотистый мужичок из рязанской земли!

Усаживались на нижних койках, на табуретах, а иногда и на ящиках. Дежурный располагался возле двери: над невысокой притолокой было отверстие, забранное деревянной решеткой, и туда мог заглянуть нежеланный человек. По сигналу дежурного хозяин бокса мигом выставлял бутылку водки и начинал греметь стаканами. Или заводил песню — смотря по обстоятельствам. А когда в маленький, тесный бокс набивалось человек десять-двенадцать и в жаркой духоте начинала мигать лампа, то сидели с раскрытой дверью в потемках, а бутылка маячила на столе.

Забрежнев о себе рассказывал скупо: учился на специальном курсе коммерческого училища Санкт-Петербургского купеческого общества, там подружился с преподавателем торгового права Трифоновым, который застрелился, оставив своему юному другу «Капитал» Маркса и «Манифест Коммунистической партии» на французском языке. Забрежнев «отравился» этими книгами. Он порвал с богатой семьей, перешел в университет, жил случайными уроками и вторую зиму руководил кружком.

Говорил он хорошо, и слова его были как динамит:

— В единении — сила; одного-то свалить просто, а мир людской никто не осилит: мир этот бессмертен, и только в нем можно обрести счастье. А счастье — не в царе, не в фабрикантах, и без них люди жили. Да и поп в нашей жизни не сахар. Он говорит словами библии: «Вначале бе слово, и слово бе богу». А начинать надо с дела. Слово не все решает, а дело куда верней, если направят его люди, у которых завтра не потемки, а светлый мир дерзновенной мечты!

Уловил Виктор из речей студента, что жива еще в Питере организация — «Союз борьбы», — для царя опасная, весьма скрытная, и жандармы ее не жалуют.

Но Забрежнев доступа в ее центр не имеет. Там круг тесный, и всем делом руководит сильная группа во главе с Ульяновым.

Сейчас Ульянов в ссылке. Почти последний вечер на свободе провел он в зале Дворянского собрания: 6 декабря 1895 года кавказцы-технологи давали там студенческий бал и собрали толику денег для столичного подполья. Забрежнев видел Ульянова, но не знал, что тот хотел ночью собрать в одной из комнат своих друзей по «Союзу борьбы». Однако часа в два Ульянов заметил за собой слежку, и вся группа покинула бал. А в ночь на 9 декабря охранка взяла и Ульянова и двадцать шесть его товарищей.

Забрали всех «стариков», остались лишь «молодые». И пока «старики» сидели в тюрьме на Шпалерной полтора года, «молодые» качнулись вправо. Ульянов говорил так: надо сплотить все силы в одну нелегальную организацию социал-демократов; каждый день повышать накал борьбы с царем и с капиталом; выпускать листовки и поднимать рабочих на забастовку. Но в каждой стычке с хозяином рабочий должен видеть политический смысл борьбы. А «молодые» стали тянуть к мелким подачкам со стороны хозяев. Ульянов вышел из тюрьмы в этом феврале и перед отправкой в Сибирь пробыл три дня в Питере. Созывал он кое-кого из «стариков», были и «молодые». И «молодым» дали бой, чтобы не тянули рабочих к одним лишь экономическим стычкам. Но это мало пошло им впрок, и на днях они стали выпускать газету «Рабочая мысль». Ульянов бы ее не одобрил.

Виктор сидел, слушал и открывал для себя новый мир. Но в студенте Забрежневе мессии не обнаружил.

— А вы что ж, из «молодых» или «стариков» никого не знаете? — спросил он Забрежнева, когда провожал его ночью до конки по заснеженной улице.

— Одного знаю, но он сейчас в отъезде: студенческая болезнь у него — чахотка!

— А у нас на заставе никого нет, кто их знает?

— Был один: Иван Бабушкин, слесарь с завода Семянникова. Да почти в одно время с Ульяновым отправили его в ссылку, в Екатеринослав. Осталась

от него брошюрка «Что такое социалист и государственный преступник?». И в ней ясно сказано, что социалисты — истинные друзья рабочего класса.

— Дадите? — загорелся Виктор.

— Нет у меня.

Забрежнев в своих воспоминаниях отметил этого пытливого кружковца: «След одного я нашел через двадцать лет. Тогда это был молодой, красивый, довольно развитой красильщик от Паля. Через один из моих кружков он прошел метеором, слишком выделяясь по своему уровню среди товарищей. Скоро я свел его со студентом Владимиром Шкляревичем, которого уже знал как подпольного работника, и затем потерял из виду. Его имя Виктор Павлович Ногин».

Шкляревич только охал и охал: так растрясли жандармы организацию, пока он лечился в Крыму.

Он потерял все нити старых связей. Он горевал, что нет уже в селе Смоленском таких чудесных девушек, как Надя Крупская, и Нарочка Якубова, и Зинаида Невзорова.

— Они ведь тут работали — на Шлиссельбургском тракте! И знали всех: Ульянова, и Мартова, и Кржижановского! Как прав поэт: «Иных уж нет, а те далече!» А ведь не все потеряно, Ногин. Теперь надежда у меня на Оленьку Звездочетову. Только боюсь, что не связана она с «Союзом борьбы». Подождите месяца два, я вам ее представлю: она будет после Нового года работать здесь в воскресной школе.

Виктор стал ждать этой встречи.

Жизнь шла день за днем, и все за Невской заставой. По зимнему Невскому проехался только раз: был зван шафером на свадебную церемонию у Андрея Дорогутина — того зачислили ратником запаса, и он привел в свой дом хохотушку — краснощекую и пышную дочку просвирни.

Все остальные вечера штудировал Виктор первый том «Капитала». Он купил его у букиниста неподалеку от лавры, куда ходил посмотреть на серебряную раку Александра Невского. Заветный том попался случайно — в груде книжного развала, среди молит-

венников и псалтырей, аляповато раскрашенных лубков, пестрых и броских бульварных романов и залежалых выпусков весьма благопристойного журнала «Живописное обозрение».

С бьющимся сердцем нес Виктор книгу домой, опасливо спрятав ее за пазухой: он не знал еще, что промахнулись царские цензоры, когда разрешили к изданию крамольное сочинение «законченного социалиста» господина Маркса, так как оно «не могло быть названо общедоступным и понятным для всякого». Николай Даниельсон и Герман Лопатин перевели, Николай Поляков напечатал, Виктор Ногин стал обладателем одного экземпляра из трех тысяч, которые увидали свет в Санкт-Петербурге в 1872 году — двадцать пять лет назад.

Виктор не имел никакого понятия о заключении цензоров, но он и сам убедился, что такая книга доступна не каждому. Текст усваивался медленно и с таким напряжением, словно молодой красильщик ворочал стопудовые жернова в своей комнате. Выводы автора не укладывались в голове даже при повторном чтении. Но перелистывалась страница за страницей, и с завидным упорством Виктор шел вперед. И в эти зимние вечера раскрылась одна из самых ярких черт будущего большевика: то, что было осмыслено в муках и принято сердцем, навечно закрепилось в его памяти. И через десять и через двадцать лет он прекрасно помнил поразивший его текст, видел страницу, где была напечатана фраза, и мог повторить ее с такой точностью, которая отличает вдумчивого и просвещенного читателя.

Многое изменилось в оценке уже привычных понятий, когда была прочитана набатная фраза Маркса из последней главы: «Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

Иногда казалось, что невозможно уследить за ходом развития Марксовой логики, и особенно в тех случаях, когда речь шла о знакомых словах.

Капитал — это не мошна, не процентные бумаги, не совокупность материальных благ. Это даже не

вещь, а общественные производственные отношения эксплуатации. Разумеется, это представлено в вещи, но придает этой вещи особый общественный характер.

Товар — это не просто кусок ситца или новый костюм. Это экономическая клеточка буржуазного общества. Но и рабочая сила — товар. И свой товар рабочий продает капиталисту.

А что делает на фабрике занятой рабочий? Ответ простой: он создает вещи. Но он создает и стоимость, которая выше стоимости его рабочей силы. А это превышение создает прибавочную стоимость, которую присваивает капиталист. Вот в этом и заключена природа капиталистической эксплуатации! И возрастание стоимости путем эксплуатации наемных рабочих превращает ее в капитал.

Капитал есть постоянный и переменный. И весь он — движение, как самовозрастающая стоимость. И движение его мыслится в кругообороте, у которого три стадии: денежная, производительная и товарная. Маркс раскрывает это в формуле: деньги — товар — деньги.

Капитал есть основной и оборотный. И он не может осуществлять движения без накоплений: часть похищенной капиталистом прибавочной стоимости ежедневно и ежечасно превращается в капитал. А накопления вновь и вновь воспроизводят капиталистические отношения в расширенном масштабе. И в этом разгадка, почему рядом с новым богатством растет нищета.

Процесс накопления неизбежно ведет к образованию армии безработных. Растет общественное богатство, активнее становится капитал, больше пролетариев стучится в ворота заводов и фабрик. Безработные давят на занятую часть рабочих и снижают их заработную плату даже ниже стоимости рабочей силы. Нищета рабочего класса обратно пропорциональна мукам его труда. Вот абсолютный всеобщий закон капиталистического накопления!

Но будет же конец этому несправедливому общественному устройству? Да, будет! «Частная собст-

венность, добытая трудом собственника, основанная, так сказать, на срастании отдельного независимого работника с его орудиями и средствами труда, вытесняется капиталистической частной собственностью, которая покоится на эксплуатации чужой, но формально свободной рабочей силы...

Теперь экспроприации подлежит уже не рабочий... а капиталист, эксплуатирующий многих рабочих.

Эта экспроприация совершается игрой имманентных законов самого капиталистического производства, путем централизации капиталов... Централизация средств производства и обобществление труда достигают такого пункта, когда они становятся несовместимыми с их капиталистической оболочкой. Она взрывается. Бьет час капиталистической частной собственности. Экспроприаторов экспроприируют».

— Революция неизбежна! — решил Виктор. — Кто-то принесет ее на своих плечах?..

Фирме, где служил Виктор, стукнуло шестьдесят лет.

Важный поп в золоченой ризе не спеша завершил молебен. Компаньоны, инженеры и приглашенные мастера битый час славили в зале дирекции Карла Паля. Рабочим выкатили из лавки две бочки с водкой. В пьяном угаре завязался возле кружала громкий мордобой, семерых оттащили в участок.

В этот день услыхал Виктор и о том немце, который положил начало всему делу на Шлиссельбургском тракте, в доме № 56.

Это был Яков Паль — отец юбиляра. В тот самый год, когда убили поэта Пушкина на Черной речке, появился за Невской заставой деловой пруссак со своей благоверной, с Марьей.

На берегу Невы, на краю болота, завели они маленькую красильню — на один куб. Сами окунали ткань в этот поместительный куб, сушили на вешалках, как рыбацкие сети, и отвозили товар в Гостиный двор на ручной тележке. И не вдруг накопили денег, чтобы купить лошадь. И когда пришла пора отойти

в мир иной, Яков все сомневался, удержит ли Карлуша его тихое, но верное дело. С тем и помер.

А Карлуша не сплоховал: привлек чьи-то деньги, выгодно женился и пошел в гору — развернул на болоте новые корпуса, только ничего не осушил вокруг, предоставив это дело самой природе. Рабочие задыхались у него в цехах и в казармах: воздух стоял кругом гнилой с весны до поздней осени, одежонка прела от сырости, у всех надсадная ломота в суставах. И прозвали рабочие Палево место «Сахалином».

Про Якова почти забыли. Осталась лишь его Марья, да и она, кажись, умом тронулась. Ей почти девяносто лет, а каждое утро две девушки ведут ее под руки в лавку. И она даже обедать не ходит, сидит там до позднего вечера: то на коленях держит мешок с медяками и серебром, то перевязывает тряпочкой кредитные бумажки. И все глядит, как отпускает товар приказчик. В Луге у нее ферма. Пока доставят оттуда молоко или сметану, они, бывает, скиснут. Так Марья непременно всучит эти продукты за полную цену. А торговаться либо спорить не смей.

Виктор как-то полез в разговор, а она ему:

— Приведи-ка, голубчик, дворника.

Привел он дюжего мужика в фартуке, с медной бляхой. Марья дала тому приказ:

— Этого грубияна выведи из лавки!

Пришлось уйти. Дворник по дороге шепнул:

— Дурья ты голова! С ней и не связывайся. Поклон отвесь и убирайся, коли товар не по душе. А то она тебя мигом под расчет подведет. Так, брат, у нас заведено!

Убедился Виктор, что мамаша у Паля фрукт отменный. Но не сдался. Вышло в это время разрешение открывать с согласия фабриканта общественные лавки. Он собрал у себя в комнатенке близких друзей и сказал:

— Вношу на лавку десять рублей. Собирайте деньги по цехам. Паль обязан выделить помещение. Посадим надежного человека, пусть торгует по совести. А то сидит на нашей шее Марья с тухлым мо-

локом да еще Аристовы, Третьяковы и Анкудимовы, которые шлют в лавку всякую заваль.

Денег набрали достаточно. Десять уважаемых стариков направились к хозяину. Авдей был в делегации и все приговаривал:

— Уважит нас кормилец! Правительство разрешило, и он не откажет. Чай, не мироед, видит небось, каким добром лавочники нас кормят.

Паль выслушал ходоков и на дыбы:

— Да что вы, ребята? Да на что вам лавка? Да вы меня разорить хотите? И маменька без дела умрет с тоски. Не могу разрешить! Вот так!

Почесали ходоки затылки и ушли ни с чем. Но Виктор решил доискаться, почему Паль против потребительской лавки.

Оказалось, что добрый «кормилец» сам кормится от рабочих со всех сторон. Мало ему фабрики, так он и из лавки сосет. И «механика» совсем нехитрая: дает он рабочим книжки для забора у лавочников; те суют всякую дрянь, а цены дерут неимоверные и в заборных книжках делают приписки, благо грамоте почти никто не обучен. Лавочники должны получать деньги у Паля, а тот удерживает пять процентов в свою пользу. С рабочего берут дороже, хозяину — прямой расчет. И еще одна хитрость: Паль удерживает все деньги, что проходят через лавку, а купцам выдает векселя ко взысканию. А фабриканту как ножом по горлу — вынуть из дела наличные деньги. Тут и про маменьку вспомнишь и слезу пустишь!

Ходоки не видали и не читали «Капитала», хозяина пожалели и от лавки отстранились.

— Хитро ты все объяснил, молодец, — сказали они Виктору. — Может, так и есть на самом деле. Только хозяина обижать не будем и в его сундуке деньги не потревожим. Терпели, бог даст, и наперед выдюжим.

— Не согласен! — горячился Виктор. — Пора бы и глаза открыть! Правительство разрешило, Паль на это разрешение плюнул. Он, видать, по-

сильней министров. И мироед и грабитель, как все лавочники!

А Паль тем временем пошел на крупную аферу. Он будто бы отказался единолично управлять фабрикой, создал акционерное «Общество Александро-Невской мануфактуры К. Я. Паль» и сбыл своим акционерам все хозяйство за тройную цену. И сразу стал крупной фигурой в Питере и получил звание «коммерции советника». Словом, получилось так, как в известном стихотворении:

Бедняк подтибрил однажды грош,
И все вскричали: — Какая мерзость! Какой грабеж!
Но вот мильон похитил смело один делец,
И все сказали: — Вот это дело! Вот молодец!..

Теперь ходоки сами пришли за советом к Виктору:

— Как думаешь? Может, время про лавку хлопотать? Разбогател, кормилец, и подобрел небось. Поднесем ему хлеб-соль, он и постарается.

— Хлеб-соль — дело ваше, я вам тут не пара. А ходоков посылайте.

Паль принял подарки. А про лавку опять запел, как бедный Лазарь:

— Я же сам о ней двадцать лет думал, да боюсь. Идея неплохая, да ваша цель в будущем меня пугает: сначала лавку вам подай, а потом — фабрику? Да и людей-то у вас подходящих для дела нет.

— Дыть на других фабриках лавки открыты. И люди там такие же. И мы людей не хуже, не дураки!

Паль замахал руками и раскричался:

— И дураки, дураки! Это совсем хорошо! Дураки нам полезны. А вот умные заведутся, это вредно!

Потом одумался, что хватил через край, и заюлил:

— Боюсь, боюсь! Подумаю! Только скопом не ходите, в такой ораве всегда дух нехороший. Пять человек, и хватит! Через недельку ступайте к Глозиусу — ткацкому управляющему, — я ему наказ дам.

Побывали у этого немца четыре раза. А он как попугай:

— Дело хорошее! Открывайте, господа делегаты! А помещения не дадим, и про кредит в конторе забудьте.

Так все и заглохло. Но Виктор был рад — все ходоки уверились теперь крепко: Паль — мироед, ему свой карман куда ближе. А что рабочему плохо, так это его не беспокоит.

Теперь в тесной комнатенке у Виктора люди собирались без приглашения: они приходили сюда, когда накипала обида. Виктор выслушивал их, писал прошения за неграмотных и постепенно оказался в курсе весьма неприглядных дел на фабрике.

Жаловались ткачи: в трех старых корпусах из болезней они не вылезают. Возле окон без верхней одежды и не стой: рамы гнилые, стекла побиты, дует с улицы, как из трубы. Скажут про это, ответ один: «Сейчас придут стекольщики». А их и по неделям нет.

В строгальной, в ворсовальной и в парильне — пыль столбом, а вентиляторов нет: душит кашель, аж из нутра выворачивает. А в печной — темень, как в старом овине: работать надо с огнем даже в дневные часы. В спиртовой и в запарке — клубы пара, ничего не видать. И нужники стали плохи: где бы покурить да посудачить, так и войти противно — сверху на голову льется что-то непотребное, потому что в потолке щели.

Как ни надрывайся, а пятнадцать рублей в месяц — предел. Обсчитывают налево, направо, словно с похмелья на ярмарке: в книжку записывают кусков меньше, чем сдал рабочий. Он твердо помнит: выдал сорок тысяч кусков товара за месяц, а платят за тридцать пять. Спросит: «Почему так? Где пять тыщ кусков?» — «Подсчитано не по выходу товара из каждой мастерской, а по выпуску в продажу». — «Вы торговать будете да приворовывать, а мы с голоду пухни?» — «Молчи, не твоего ума дело!»

Сверхурочные работы поставлены без совести. Стукнет мастеру в голову, он и крикнет: «А ну, братцы, нынче на шабаш!» А бывает это и перед самым звонком, и кто не держал на такое расчета, остается голодным. Начнет поднимать голос, мастер даст по шее: а это не лучше, чем угроза вылететь за ворота либо нарваться на штраф.

Обнаглели хозяйские холуи: на шабаш тянут даже беременных. Одна пошла в субботний вечер отпрашиваться, так с ней и говорить не стали. Она и родила в цехе — в воскресенье, перед рассветом.

Управляет фабрикой господин Шабловский: инженер и франт, в сюртуке и с бабочкой на крахмальной манишке, а по дерзости, нахальству и ругани — родной брат ломовому извозчику. Любит драться, как хмельной городовой с Шлиссельбургского тракта: кулаком по шее или коленом под зад. Одному ткачу так дал перед рождеством, что тот летел аршина два и чуть-чуть не угодил на привод машины.

Рабочие для него не люди: они не могут хворать, уставать, жаловаться. Придет к нему человек с просьбой, он усадит его в глубокое кожаное кресло:

— Говори, братец, да поживей!

Начнет рабочий плести про свое житье-бытье, заикнется с перепугу. А Шабловский захохочет ему в лицо:

— Тары-бары-растабары! Стоеросина ты, братец! Ступай вон! Придешь, когда говорить научишься!

И уйдет рабочий несолоно хлебавши.

А с работницами и того круче. Будто комедию играет, только от той комедии одни слезы.

Наберется ткачиха смелости, перешагнет через порог кабинета. А там барин сидит — спиной к двери — и орет:

— Зачем пришла?

Она скажет негромко, он взъерепенится:

— Перестань шептать! Ближе иди!

И начнет переспрашивать, словно глухой, и ладонь к уху приставит:

— А громче не можешь?

Ткачиха возьмет да и крикнет по-бабьи, во весь голос. Он вскочит и нажмет кнопку. Мигом явится секретарь.

— Ты кого это впустил, баранья голова? Визжит эта дама, как поросенок. И не умеет себя вести в обществе. Укажи ей дорогу, пускай зайдет через месяц.

И сподручные у Шабловского один к одному.

Через доносы и сплетни пробился к нему в помощники Пантелей Менов. Глянешь на его рожу — евнух и отъявленный негодяй. И впрямь не человек, а змий. На работу не примет, пока не скажешь с низким поклоном: «Возьмите, господин отметчик!» А уж кого невзлюбит, пропал человек! Девушка из запарки не поддалась обольщению, он подстроил ей такое, что вылетела, бедняга, на улицу. Сперва прищучил, когда она песню запела в цехе: штраф! Потом, гадина, часы перевел, будто она опоздала ко времени. Ну и марш!

И в запарке сидит хороший хорек — Павел Егорович. Правит, как удельный князь: и спать с ним иди, и привальную дай, когда на работу определилась, и деньги дай в долг. А насчет отдачи — так бог простит! Но раскусили его хлопцы, дважды темную делали и морду в нужнике мазали. Он теперь в углу живет на кухне в доме мастеров, прямо на фабрике, и один на улицу не выходит.

Наконец прошел слух, что на голодающих и больных товарищей сборы запрещены.

— Что ж это получается, Виктор? — спрашивали друзья. — На иконостас либо мастерам на выпивку — пожалуйста! А больного под забор кинуть? Все Шабловский крутит. И еще закавыка: не дашь на иконостас, так тот подлюга Пантюха Менов живо в карточке у тебя приписку сделает: «неблагонадежный».

— Проверю я этого Шабловского, пусть перед всем народом раскроется, — сказал Виктор.

Он понял, что товарищи на фабрике нашлись. Люди это верные и смелые, и с ними можно идти на серьезное дело.

А тут подвернулись и студенты, да такие, о которых мечтал он давно...

Начальник столичной охранки полковник Пирамидов почти полтора года не знал сильных волнений по службе: после ареста Владимира Ульянова и ссылки его в село Шушенское «Союз борьбы» был обескровлен.

«Молодые», оставшиеся на воле, иногда шевелились и заявляли о себе прокламациями. Но в общем тяготели они к «экономизму».

Получил полковник сведения, что на Путиловском заводе пытается проводить их взгляды студент-технолог Матвей Миссуна. Он обещал рабочим напечатать прокламацию, давал читать «Рабочую мысль» и не скрывал, что послан на завод какой-то Лидией Осиповной.

Но дело у него не пошло: путиловцы на крючок не попались и трижды дали ему бой. Нападал на студента токарь-лекальщик из механической мастерской Михаил Калинин. Человек начитанный и на язык весьма острый, он совал в нос Миссуне книжку Ильина «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?» и издевался над глупым социализмом для мечтателей, о котором болтал Струве.

— Надо этому острослову дать хороший филерский «хвост»: дознаюсь я, голубчик, с чьего голоса ты поешь! И что это за Лидия Осиповна, которая послала Миссуну, — отметил в своем реестре Пирамидов.

След Лидии Осиповны отыскался через месяц. Она зачастила на Шпалерную, в дом предварительного заключения. Там заводила связи и знакомства с родственниками арестованных, передавала им деньги и одежду и принимала заказы на платье и белье для будущих ссыльных.



Варвара Ивановна Ногина 1897 г.



Виктор Ногин. Богородск, 1894 г.

Пожилой долговязый филер, приставленный к ней, совсем сбился с ног. Маленькая молодая женщина, телосложением слабая, но внешне очень приятная — с большими карими глазами, в короткой беличьей шубке, — шныряла по городским адресам с таким энтузиазмом, что филеру не выпадало час посидеть в чайной или сыграть в шашки в пивном зале. Как челнок, сновала она с Моховой улицы на Слоновую, с Николаевской — на Шлиссельбургский тракт, с Палевского проспекта — на Невский.

— Как пчела, черт возьми! — бурчал филер.

Постепенно удалось выяснить, что встречалась она с Миссуной, Татариновым, Смирновым, Андроповым, с какой-то девушкой в очках и с группой рабочих за Невской заставой, имена которых еще не раскрыты.

Она оказалась Канцель — по мужу, Цедербаум — по отцу. Ее брат Юлий Мартов хорошо был известен охранке по «Союзу борьбы» и одновременно с Ульяновым отправлен в ссылку — в Туруханский край. Работала она казначеем в Красном Кресте, который собирал деньги для арестованных студентов и рабочих и нелегально печатал бюллетени, приводившие Пирамидова в ярость. Очень точно в них сообщалось: кто где сидит, кто куда сослан, где и кого замучили в ссылке.

С Канцель работал ее брат Сергей, он держал квартиру, где шла заготовка портняжного материала для заключенных.

Сестра и брат ходили с филерским «хвостом». Их можно было взять в любой час, но Пирамидов не торопился. Весь центр «Союза борьбы» он посадил в тюрьму, когда в руках были все нити организации. А сейчас он в организацию не верил: слишком хорошо был прочесан Питер два года назад!

Правда, летом 1896 года полковнику пришлось пережить невеселые дни: только возложили на государя императора царский венец в Успенском соборе, как в столице началась буча — тридцать тысяч рабочих взбунтовались на восемнадцати текстильных фабриках. Конечно, тут была замешана чья-то креп-

кая рука. Взяли Крупскую и десятки ее товарищей. Прокламаций захватили столько, что за два дня сжечь не успели. И все «Союз борьбы», отзвуки преступных деяний Ульянова и его группы.

Своему шефу, генерал-майору Клейгельсу, столичному градоначальнику, предложил полковник в те дни занятную идею — создать штат платных шпионов на всех предприятиях. Но фабриканты отказались: о полицейском «социализме» Сергея Зубатова еще не было речи. Поддержал полковника один лишь К. Я. Паль. Кстати, он тогда очень помог властям: указал всех выдающихся и подозрительных рабочих. Их отправили в ссылку либо разослали по родным селам под гласный надзор полиции.

Почин Пирамидова подхватил на свой лад директор департамента полиции Зволянский: он предложил придать фабричной инспекции полицейский характер. Ему хотелось на каждом предприятии держать урядника, подчиненного фабричному инспектору.

На сей раз заупрямился министр финансов Витте.

— Рано, Сергей Эрастович, не время! — сказал он Зволянскому. — Зачем так афишировать наши связи с частной инициативой фабрикантов? И потом что скажет об этом Европа?

Витте придумал иной ход: он отобрал у фабрикантов расписку, что до августа они сделают известные уступки рабочим.

Фабриканты обязывались установить точные расценки на все операции и выплачивать жалованье два раза в месяц. Они согласились производить чистку машин в рабочее время и оплачивать все дополнительные, непредусмотренные работы.

Витте предложил им удалить мастеров-взяточников, выдавать компенсацию за вынужденный прогул и строго определить часы, когда рабочий может попасть на прием к директору.

Отдельным пунктом была оговорена отмена «бани». Такая «баня» считалась узаконенной разновидностью штрафа. Не выходил, к примеру, ткач на объявленную работу в воскресенье, так его лишали

права работать в понедельник и ничего за этот день не платили.

Конечно, фабриканты очень скоро забыли о своей расписке. К. Я. Паль показал себя молодцом с первой минуты: он отказался поставить свою подпись под этой распиской. А с ним и Воронин с Резвого острова. Правда, воронинской фабрике подпустили красного петуха. Паль же простоял тогда одиннадцать дней, забастовку прикрыл раньше других и держится до сих пор. Голова! Одним словом, «коммерции советник»!

И в последнее время нет ему удержу! Подговорил столичных фабрикантов, они и подали петицию — рассмотреть вопрос о нормировании рабочего дня на торгово-промышленном съезде в Нижнем Новгороде. И правительство пошло навстречу: рабочий день сократило на полчаса. Зато отменило почти все традиционные праздники: Николу вешнего, и ильин день, и успенье, и воздвиженье. Палю оставило лишь один день — Смоленской богоматери, поскольку фабрика его расположена на тракте в селе Смоленском.

И все бы хорошо, да снова зашевелились в его районе рабочие. Филеры доносили: в трактире «Бережки» — на Шлиссельбургском тракте — Артемий Ломашев созвал на днях своих дружков и сказал:

— Надо собирать деньги нуждающимся студентам.

А ведь это уловка для простаков! Собрали одиннадцать с полтиной, и пошли эти деньги на подпольную литературу. Ее обещал достать помощник присяжного поверенного Михаил Смирнов, который квартирует на тракте в доме № 33. А уж коли замешались интеллигенты, добра не жди!

Через день снова собрались дружки за парой чаю. И сверх известной компании пришел с Торнтона Сергей Орлов. Промеж себя хвалились, что достали литературу в «громадном количестве» и решили ее распространить: у Торнтона — Орлов, у Максвеля и Паля — Шматов, на Александровском заводе — Ломашев и Петров.

Поочередно ходили брать литературу у Ломашева. Пирамидов велел перехватить. Взяли: «Листок работника» № 5 и 6 (16 экз.), «Работник» (150 экз.), «Мартовская революция 1848 года» (2 экз.) и 140 воззваний к рабочим Александровского завода, отпечатанных на мимеографе.

Ломашева продержали три дня в кутузке — для острастки. Да он не отстанет от дела: дали понять ему, что виновным не признан: кто-то, мол, случайно положил, когда он был на работе.

— С этого Ломашева глаз не сводить! — приказал полковник. — О всех его связях подробно доносить мне раз в месяц. Надо искать организацию, которая его вдохновляет.

И пока Ломашев был на свободе, Пирамидов подрубил корень под Ефимом Прокофьевым: этот ткач развернул действия за Невской заставой от имени «Союза борьбы».

Он приискал квартиру в Шлиссельбургском участке, на Мариинской, № 11, и поселил там свою подружку Юлию Щелчкову. У нее квартировали Иван Архипов, Тимофей Трифонов и Нил Бугорков.

К ним привел Прокофьев студента Сергея Андропова. О нем сообщал филер: «Шатен, выше среднего роста, около 23 лет, худощав, с небольшими усиками и крупным носом на продолговатом лице. Черное осеннее пальто, шапка барашковая».

Андропов стал заниматься группой Прокофьева. Но заметил слежку и предложил найти для сходок более укромное место. Прокофьев немедленно переселил своих дружков в Безымянный переулок, в дом № 18. Там они и выпустили прокламацию к рабочим Паля и Максвеля.

Полковник не успел перехватить эту крамольную листовку. Но узнал о ней от мастера, который отобрал ее у одного прядильщика в нужнике.

— У кого взял? — спросил мастер.

— Валялась под машиной. Гляжу — бумага, я ее и поднял. Для нужды, конечно, — схитрил прядильщик.

Когда же Пирамидов получил сообщение, что Юлия Щелчкова определилась кухаркой к Михаилу Смирнову, а сестра Сергея Андропова замужем за этим интеллигентом, Прокофьев, Архипов, Трифонов и Бугорков были ночью отправлены на Шпалерную.

Андропов подыскал для Смирнова новую квартиру, и теперь они жили на Николаевской улице, в доме № 70.

«Ну и сидите там, голубчики! — усмехнулся Пирамидов, прочитав новое донесение. — Не укроетесь, я вас выведу на чистую воду! Но вот что это за птица Ольга Аполлоновна, которая снабжает нелегальщиной рабочих Паля? И кто этот «брюнет золотистого цвета», который получает от нее преступную литературу? В этом надо разобраться!»

И хотя полковник был большим мастером сыска, разбираться ему пришлось долго, почти до Нового года...

«Золотистым брюнетом» был Виктор Ногин. Густая и вьющаяся шевелюра, высокий рост и даже костюм — в свободные часы он носил теперь стоячие воротнички — делали его заметным.

Но — всегда сдержанный, точный, молчаливый и аккуратный — он не сразу попал на глаза филерам. Да и арест Ефима Прокофьева и весьма досадное происшествие с Артемием Ломашевым насторожили его еще больше.

Он не дождался студента Шкляревича: был слух, что тот провалился на явке и сидит в Крестах, на Выборгской стороне. И с Ольгой Аполлоновной познакомил его Артемий, когда вернулся из кутузки.

Приятно удивила Виктора эта встреча. Ольга Звездочетова — в веснушках на овальном лице, в очках — оказалась той самой молодой языкастой девицей, которую он нечаянно задел корзиной, торопясь на конку в первый день приезда в Питер.

Они весело вспомнили об этом маленьком приключении, посмеялись, что мир так тесен, и скоро стали друзьями.

Ольга слышала однажды, как Виктор толковал Ломашеву и его товарищам книгу «Что такое «друзья народа» и как они воюют против социал-демократов?».

— Вот наш манифест! Ясно сказано в нем, куда и как идти рабочему классу. Первая наша задача: раскачать абсолютизм, навалиться на него всем миром и — в пропасть его, в пропасть! А задача вторая — крепко взяться за руки и прямой дорогой открытой политической борьбы двигаться вперед, к победоносной коммунистической революции! Дух захватывает от такой цели!

— Я вам верю, Ногин, очень верю! — сказала в тот вечер Ольга.

Часто их видели вместе, и со стороны казалась эта пара занятной: маленькая пухлая Ольга, вся огонь, энергия, порыв, и высоченный Виктор, воплощение мудрого спокойствия и как будто бесстрастия.

Друзья шутили:

— Доходишься ты, Виктор, с этой учительницей! Придется играть свадьбу на тракте!

И эта невинная шутка вгоняла его в краску. С женским полом, да еще когда к нему приближались девицы явно «с намерением», он робел, как гимназист, которого за провинность схватили за руку.

Так было и в Москве два года назад: брат Павел женихался с миловидной Соней, а ему присмотрели Антонину, девушку скромную, симпатичную, с томными голубыми глазами. Вместе с Павлом и Соней прогуливался и он с Антониной в Сокольниках. Но она скоро стала вздыхать, да намекать на «устройство жизни», и перечислять подруг, что нашли женихов. И мимоходом говорила о своем приданом, где значились и пуховые перины, и тульский самовар, и туалеты на все сезоны, и какая-то старинная обеденная посуда. Тогда он счел за благо не водить девицу за нос и отошел в сторону. И не собрался написать письмо, хотя она об этом очень просила.

И в Ольге он видел только друга. Он лишь один имел представление, что ее давненько ждет жених —

Василий Давыдов, который уже прошел через руки полковника Пирамидова и отбывал ссылку в Костроме по делу «Союза борьбы».

Однажды Виктор зашел за Ольгой в школу после занятий. Надвигалась весна: ноздреватый снег плющился настом, в лужицах, затянутых тонким ледком, смеялась полная и ясная луна.

Хотелось говорить ни о чем или просто молчать и слушать, как хрустят под ногами искрящиеся осколки льда. Но Ольга молчать не могла. И что-то стала вспоминать о себе: про детство в Кинешме и про отца, который читал ей сказки Шарля Перро, про Литейную гимназию и педагогические курсы: она окончила их пять лет назад и мечтала работать в одной школе с Крупской, но свободных мест тогда не было. А Виктор разговорился о Калязине, вспомнил о Шуклине, заронившем в его душу неугасимую искру.

— А меня перевернул Герцен, — сказала Ольга. — Помню, как он писал об одном мастере, который принес в дар Конвенту модель парижского квартала из воска. Чудесная была вещица! Но мастера посадили в тюрьму.

— За что? — удивился Виктор.

— Конвент был в решении категоричен и краток: гражданина такого-то, произведение которого нельзя не признать оконченно выполненным, посадить на шесть месяцев в тюрьму за то, что он занимался бесполезным делом, когда отечество было в опасности. Здорово! А разве сейчас наше отечество не в опасности? Вот почему я и хочу заниматься только полезным делом!

— Молодец вы, Оля! Ну, уж коли пошла речь о тюрьме и полезном деле, я изложу вам свой план. От слежки нам не спастись, так давайте хоть заметем следы. Первый вопрос — об обычных встречах. Мы можем собираться в двух пунктах: в школе и у меня. Вопрос второй — о кружке и листовках. Для этого нужна хорошая конспиративная квартира. Поселим там Артемия Ломашева с друзьями, как это делал Прокофьев для своей группы. Все будут

жить вместе, а мы будем приходить к ним «в гости». Но на квартиру у меня нет денег.

— Мысль хорошая. Деньги даст Андропов, я ему скажу. Медлить не будем, завтра в десять вечера вы встретитесь у ворот Лавры. С ним же договоритесь и о первых выступлениях у Паля.

Когда на другой день Виктор пришел к Лавре, Ольга прощалась с молодым высоким человеком в черном осеннем пальто и барашковой шапке и, едва взглянув на пришельца, заспешила к конке.

Высокий направился в сторону Старого Невского и завернул за угол на Полтавской. Виктор догнал его и зашагал рядом.

— Ольга говорила мне, что вы любите Щедрина,— глухо сказал высокий. — Он и мой наставник, и у него я нашел символ веры: «Нет опаснее человека, которому чуждо все человеческое, который равнодушен к родной стране, к судьбам ближнего, ко всему, кроме судеб пущенного им в оборот алтына».

Виктор улыбнулся:

— А мне как раз нужен алтын, и я хочу пустить его в оборот... Разумеется, против Паля и всех, кто дал ему деньги и власть.

— Чудесно! — Андропов передал Виктору сорок рублей в конверте. — О новом адресе сообщите Оленьке. Я буду ходить на занятия раз в неделю, по субботам. Но прошу следить, чтобы не было «хвостов»: так не хочется в тюрьму, когда мы на пороге больших событий! Что намечают товарищи?

— Подходит Никола вешний, хотим в этот день не работать! И потребуем, чтоб оплатили. Хороший придумали ход: день-то ведь царский, тезоименитский!

— Ход царем против царя и фабрикантов! Занятно!

— С людьми мы поговорим сами, но желательна и листовка.

— Подберите два-три факта, за листовкой дело не станет. Вы знаете Лидию Канцель?

— Видел.

— Она найдет мимеограф.

Виктор снял квартиру на Палевском проспекте, в доме № 21, на имя Александра Козлова. С Козловым поселили троих: Ивана Шалаева, Никифора Васильева и Петра Никитина. А Ломашева оставили в казарме у Паля, только переселили в бокс к Авдею, куда Виктор мог заходить по старой памяти, не вызывая ни у кого подозрений.

Эта пятерка была основным костяком кружка. А для песен, и, значит, для отвода глаз, стали приглашать любимую ученицу Звездочетовой — Марину Галкову: она играла на гитаре и задушевно пела русские песни.

Марина оказалась удобной и для связей: она лишь занималась в школе по вечерам, а на фабрике не работала и могла в любой час выполнять поручения в городе. Да и жила она с матерью-прядильщицей в бараке у Максвеля и могла вести работу на той соседней фабрике.

В кружок входили Сергей Орлов, с Торнтона, и Николай Калабин — подмастерье от Паля, самый старший по возрасту, человек семейный, весьма рассудительный и осторожный. На него и опирался Виктор, когда формировал кружок и нанимал конспиративную квартиру.

Калабин жил в отдельном домике через два строения от Козлова, хранил у себя литературу, полученную от Звездочетовой, и мог передавать ее кружковцам без всяких свидетелей: дворами и огородами, через заднее крыльцо.

Виктор очень хотел создать подпольный кружок из рабочих, и чтобы круг интеллигентов был самый малый: не очень он доверял тем образованным молодым людям, которые приходили к рабочим без должной конспирации и плохо следили за своим языком в публичных местах.

Но один Сергей Андропов не мог содержать кружок на свой счет. Пришлось прибегнуть к помощи Лидии Канцель и получить доступ к подпольной кассе Красного Креста. Но у Канцель не было мимеографа, и она завербовала бывшего «народоправца»

Владимира Татаринова — владельца и этой машины и восковой бумаги.

Лидия Канцель, ее брат Сергей Цедербаум и Владимир Татаринов не внушали Виктору подозрений. Но неугомонная Лидия Осиповна в поисках новых сил и денег иногда неосторожно искала связей со всякими подпольными группами, которые уцелели после ликвидаций. И вокруг нее вертелись люди, ведшие опасную игру в революцию: и Миссуна, и Черкес, и Шехтер, и сестры Гольдман.

Кстати, через Шехтера полковник Пирамидов неожиданно пробил стежку к «той птице» Ольге Аполлоновне, которая давно внушала ему беспокойство.

А дело было так: на Николаевском вокзале у отходящего поезда № 7 сбилась тесной кучкой молодежь. Питерские студенты провожали в Вятскую губернию последнюю девятку по делу «Союза борьбы».

Филеры доносили об этих проводах, что какой-то молодой человек еврейского типа суетился возле вагона с фотографическим аппаратом, выкликая имена лиц, коих хотел снять на карточку, и дважды назвал одну блондинку Ольгой Аполлоновной.

Фотографом был Константин Шехтер, болтал он без всякого злого умысла, но к Ольге пристроился «хвост». Она заметила его дня через три, немедленно переехала со Слоновой на Николаевскую — к Андропову и Смирновым.

Школа была закрыта на каникулы. Ногин и Калабин, чтобы сберечь Ольгу любой ценой, купили ей билет и отправили на летние вакации к жениху в Кострому. Все обошлось благополучно: она вышла замуж и вернулась осенью с фамилией мужа — Давыдовой.

В Николу вешнего остановились фабрики у Паля и Максвеля. Авдей — в красной ластиковой рубахе и немного хмельной — картинно объяснял на улице, почему он празднует в этот день:

— Да что ж мы, изверги? Батюшка-царь в этот день именинник, мы ему и уважение сделали. А раз

мы царя уважили и за него по стаканчику выпили, пущай нам Паль этот день оплатит!

А в листовке было сказано по-другому. Рабочих не обманешь: стали радеть о них господа министры, на полчаса день убавили, так и праздники оставь! Иначе не пройдет! И мастеров, которые безобразничают, надо выкинуть за ворота. Хоть Паль и не подписался под распиской у графа Витте, а и про него закон писан! Мастер Карл Рохлиц груб до безобразия, а дела не знает: держат его потому, что немец. Мастер Фишер толкает женщин в шею, когда у них во время чаепития останавливаются станки. Мастер Роман Ефимов ходит вокруг молоденьких ткачих, как кот вокруг сметаны, и все делает безнравственные намеки. А механик Василий Брейвейт вечно пьяный и всегда лается. Паровая машина у него каждый день выходит из строя, а за простой станков дирекция не платит. Гнать таких мерзавцев в шею, чтоб рабочих не мордовали!

Паль взбесился. Шабловский бегал по фабрике и все выспрашивал:

— Откуда листовка? Кто разболтал агитаторам про свои фабричные дела? Где закоперщики?

Но все было сделано так чисто, что не доискалась дирекция, не напали на след кружка филеры. Виктор торжествовал: ведь это он написал листовку и сам привез ее от Андропова в лубяной коробке из-под шляп. А Калабин роздал ее людям, на которых мог положиться.

Сергей Андропов пригласил Виктора в воскресный день покататься на лодке в Разливе. Они накидали в суденышко душистого свежего сена, развалились без рубашек и пустили посудину по воле ветра.

— Я хочу познакомить вас с положением дел в Питере, — у Андропова был приятный баритон. Но слишком подчеркнутый и широкий звук «о» явно выдавал в нем казака с Дона. Сергей еще слегка грассировал, как многие из тех дворян, что начинали говорить с детских лет по-французски. — После

того как был взят Ульянов, существует досадная и даже непонятная сумятица. «Союз борьбы» продолжает жить, но он страдает от «двоевластия», от наличия двух разрозненных центров: есть «рабочая часть», есть «интеллигентская». Кое-кто неправильно понял тезис Маркса «освобождение рабочих должно быть делом самих рабочих». Некоторые товарищи так блюдут классовую чистоту рабочих кружков и маленьких групп, что интеллигентам оставляют лишь вспомогательные функции. А те требуют дела и ведут его иной раз, не опираясь на рабочих. Главный недостаток теперешней организации — оторванность интеллигентской части от рабочих. Но интеллигенты лучше понимают далеко идущие цели, Стасова, к примеру, и другие, а «рабочая часть» довольствуется плоской политикой «экономизма».

Андропов был старше Виктора на пять лет, но держался без покровительственного тона, давая понять собеседнику, что он видит в нем равного себе друга.

— В прошлом году кое-кто заявил протест против структуры и тактики «Союза борьбы». Протест подписали и мы с Ольгой, но нас не послушали. Тогда мы попытались создать «Группу рабочих-революционеров», которая стала вскоре именоваться «Русской социал-демократической партией». Кстати, я удивился, почему вы не спросили, что под первой вашей листовкой поставила подпись эта партия и «Союз борьбы».

— Я не придал этому значения, — заметил Виктор.

— Так вот, с этой весны мы решили издавать свой орган «Рабочее знамя». Такое же именование получила и наша группа. Но на днях почти все ее участники попали в когти к Пирамидову. Я пока на свободе и обязан эту группу возродить. Могу ли видеть в вас сотрудника?

Виктор задумался:

— Для меня это новость. Правда, я не тяготею к «экономизму», но мне очень хотелось бы иметь крепкую рабочую группу, в которой интеллигентов

мало, и «со вспомогательными функциями», как это вы сказали.

— Я понимаю ваше желание опираться на людей, тесно спаянных в один рабочий коллектив. Но хорошо, что у палевцев есть некий Ногин, который имеет понятие о Марксе, Бельтове и Ильине. А как же в других местах, где нет Ногина, Бабушкина, Шелгунова? И не приходило ли вам в голову, что только через литературные силы, через умело и глубоко организованную пропаганду и, черт возьми, только через массовую политическую прессу можно сплотить рабочих в одну революционную партию всей страны?

— Ильин упоминал об этом.

— Да не будьте вы простаком, Ногин! Ильин — это Ульянов, и его «друзья народа» — манифест того «Союза борьбы», который он создал. Этот русский Маркс из Симбирска — человек недюжинный. Но он в ссылке. И вернется лишь тогда, когда закончится наш девятнадцатый век. А это почти два года, как ни считай. Кому же надо начинать в Питере? И сегодня же? Начнем мы! Только нам остро необходимы отличные литераторы.

— Я это понимаю. Люди, конечно, найдутся, только бы двинуть дело с мертвой точки. И у меня нет никаких серьезных возражений: я готов. Но вы сами говорите, что Ульянов начал с манифеста. А где он?

— О, мы наскочили на косу! — Андропов взялся за весла. — Вы умеете грести?

— Я ведь калязинский мещанин, с Волги. На воде вырос.

— Тогда уступаю вам весла, а то у меня грыжа побаливает. И пока вы разомнете мышцы, я вам кое-что почитаю: благо нет никого за три версты!

Статья называлась «Из-за чего мы боремся?». «В каждой забастовке, в каждой борьбе, хотя из-за получаса рабочего времени или из-за нескольких копеек заработной платы, мы сталкиваемся с царскими слугами, полицией и войсками, точно с каменной

стеной, которую никак не прошибешь. Правительство позволяет даже хозяевам делать уступки.

Пока нас будет душить самодержавие, до тех пор мы не улучшим нашей жизни. Нужно свергнуть самодержавие, как необходимо уничтожить вредный нарыв на теле. Свергнуть его можно только революционным путем.

Кто ничего не может проиграть и все может выиграть благодаря революции? Рабочий класс! Кто достаточно заинтересован и достаточно силен, чтобы произвести революцию? Рабочий класс!

В наших руках, русские рабочие, судьба царского самодержавия. В нашей повседневной борьбе с фабричными пьявками за большую плату и за меньший день будемте наглядно разъяснять менее сознательным товарищам, что, только перешагнувши через труп самодержавия, мы действительно поправим свою судьбу.

Этой повседневной борьбой — стачками — можно, конечно, добиться многих уступок, но после этих уступок все еще остается много, много насущных требований, которые никогда не будут выполнены при самодержавном строе. Стачки необходимы, но они не достаточны. В самодержавной России они имеют значение прежде всего боевой школы, в которой рабочие воспитываются в духе организованной солидарности и приобретают все больший опыт, необходимый для будущей более серьезной и решительной борьбы».

— Знаете что, Сергей Васильевич? — Виктор бросил весла и глядел на Андропова так, словно впервой увидал его душу. — Отлично, Сергей Васильевич! В ильин день фабрику остановим, а эту статью отпечатаем для наших рабочих. Представляю, с какой кислой рожей будут носиться по цехам и Паль и Шабловский. И филеры собьются с ног!..

О своих делах Виктор писал домой весьма осторожно: не хотел волновать маму и брата, да и нельзя было рассказать на бумаге обо всем, чем он жил в это лето. 23 июля 1898 года он отправил в Москву такое письмо:

«Милые мама и брат Паша! Сегодня переводом посылаю вам 35 рублей, которые прошу распределить так: 20 руб. Вы, мама, возьмите себе, на 5 р. 20 к. пусть Паша подпишется для меня с августа месяца на «Русские ведомости», а остальные, пожалуйста, положите в сберегательную книжку.

20-го числа мы не работали, хотя по правилам полагается, и не работала вся фабрика...

Шабловский ругаться перестал, но все-таки наши отношения нельзя назвать мирными. Благодаря ильину дню выяснилось, что наши интересы разошлись еще дальше. Был при этом случай, который я желал бы вам передать, но, думаю, лучше будет, если подожду свидания с вами и передам лично.

Читаю теперь журналы «Мир божий», «Образование» и прошлогоднее «Новое слово». Паша, если можешь, постарайся добыть, теперь оно закрыто.

Мама! Читаете ли Вы Тургенева? Если читаете, то нравится ли? Если не читаете, то напишите — почему? Сеньобоса, Паша, обязательно прочти.

За город еще никуда не ездил, и эти праздники был или дома, или в городе, и должен сознаться, что провел время интересно. Подробнее могу рассказать лично, а здесь займет много места.

Стараюсь наблюдать за жизнью, и попадаются такие «факты», что волосы дыбом становятся!

Паша, выходит в свет сочинение Белинского, за рубль, постарайся приобрести, я тоже думаю купить.

Не хотел писать про случай с Шабловским, но напишу. Недели две или три тому назад я объявил ему следующее:

— Каждый год в этом месяце у нас в красильне бывает молебен и после молебна пьянство. Нынешний раз я отговорил рабочих от этого и предложил им деньги с молебна, прибавив, кто сколько может, пожертвовать в пользу голодающих. Они согласились. Позвольте мне сделать сбор в конторе сегодня.

Он ответил, что сбора в фабрике разрешить не может. И предложил это сделать вне фабрики. Тогда я собрал в церковной ограде.

Перед 20-м он, помня 9 мая, позаботился узнать

наше мнение: будем ли работать в ильин день или нет? Это ведь много значит, что нас спрашивают, раньше об этом не заботились.

После переговоров мои рабочие от работы отказались. Я это передал Шабловскому, и он принял сообщение спокойно, но на самом деле страшно разозлился. И после того, как я ему сказал, что рабочие пожертвовали приготовленные на пьянство деньги голодающим, он дал им шесть рублей из конторы на водку.

Как вам это нравится? Вслед за нами не работала вся фабрика, причем, конечно, рабочие напились, и все мои труды пропали даром.

Когда я стал выговаривать за это Шабловскому, он сказал:

— Больше никогда этого не буду делать.

Целую вас крепко и с удовольствием поцеловал бы в действительности. Любящий вас сын и брат *В. Ногин»*.

Виктор в этом письме ограничился лишь намеками, а завесу так и не открыл. А ведь в ильин день снова вышла листовка, на фабрике и в охранке начался переполох. И Виктор не просто «переговорил» со своими красильщиками, но и убедил их в том, что надо идти на эту стачку в праздник. И когда Шабловский стал расспрашивать его о настроении в цехе, он ответил не без юмора:

— В ильин день работать не будут. И в Николу зимнего не выйдут.

— Это почему же? — насторожился Шабловский.

— Царь-то у нас Николай Второй, и николиных дня два: зимой и весной. Вот за царя Николая, за Второго, и будем праздновать оба дня — так говорят красильщики. Каламбур, конечно, но в нем есть смысл.

Шабловскому весьма не понравился независимый вид Ногина и разговор с издевкой, и он стал наводить о нем справки. Вызвал к себе Василия Кузьмина, прозванного Кузюткиным, которого сторонились все передовые рабочие, и спросил, не замечал ли тот чего за подмастерьем из красильни.

— Как же, как же! — заторопился Кузюткин. — Этот рыжий сунул намедни Авдею какую-то грамоту!

И Шабловский вдруг понял, о каком «брюнете золотистого цвета» не раз запрашивал дирекцию полковник Пирамидов. К Виктору приставили «хвост».

Еще год назад близорукий Ногин не сразу бы обнаружил филера на своем следу: он стеснялся носить пенсне и надевал его украдкой. А теперь — через окуляры — он быстро приглядел коротышку в котелке и с тросточкой, который прохаживался и по Николаевской, где жил Андропов, и по Невскому, неподалеку от дома № 111, где держал квартиру Сергей Цедербаум. И даже рассмотрел лицо этого субъекта, побитое оспой, острый нос и ореховые юркие глаза навыкате.

— Плюнул мне в душу один легавый, — сказал Виктор Калабину и Шалаеву, когда они зашли к нему вечерком. — Поверите, два раза видел во сне те ореховые глаза: большущие, как у быка, верткие, как мыши. Проснусь — и весь в поту.

— Шпик, по себе знаю. По первости даже очень противно таскать этот «хвост». А дело серьезное, и надо что-то придумать, — Калабин еще не принял решения.

— Да чего тут думать! Пойдем втроем и того шпика придушим! — Шалаев выкинул вперед сильные мозолистые руки, рыжие и фиолетовые от краски. И Виктор и Калабин понимали, что Иван сказал не для красного словца: два года назад, в дни стачки, он так валтузил городового, что у того вместо морды расплылся от уха до уха кровавый блин. Но и сам пострадал изрядно: в перепалке ему расплющили нос и так свернули шею, что треснутый позвонок сросся косо, и теперь красильщик кривил шеей, будто всегда прислушивался одним левым ухом.

— Придушить — это полдела. За Виктором приставлен шпик, Виктору и дадут каторгу за эту гадину, — сказал Калабин. — Ведь как хитро получается: за товарищем «хвост» тянется, и нам надо тот

«хвост» оберегать, чтоб беды не накликать. Так что пока Виктор здесь, ты, Иван, про того шпика и не задумывайся! А решение наше будет простое: ты уезжай на время, как Ольга сделала. Мы тут без тебя листовку раскидаем, отведем глаза. Вернешься, просидишь до осени дома. А там видно будет!

К Виктору давно ластился молодой фабричный химик, родом из Австрии. Он брал читать журналы у Ногина и заводил беседы о Льве Толстом, о молодом Горьком, расправлявшем крылья, о Штраусе и венской оперетте. Был он благонадежен, как пресная церковная просфора, и Виктор не обмолвился с ним ни одним словом о политике. При той ситуации, что сложилась, такой спутник был весьма удобен.

И когда он снова завел речь:

— Двинем-ка, Виктор Павлович, в страну гор, сосен и чухонского масла. Я хочу своей невесте послать карточку водопада Иматры, — Виктор дал согласие.

Через неделю они упаковали саквояжи, обменяли рубли на финские марки и покатили на Выборг. И сам водоскат, как писал Виктор домой, и река Вуокса, несущаяся в ущелье, и озеро Сайма, откуда берет начало река, и дерущиеся среди камней волны, над которыми висит шапка из миллиона белых сверкающих игл, и гранит, и скалы, и великолепные сосны, как бы ухитрившиеся вырасти на голых камнях, и бодрящие брызги, и висящий ажурный мостик над беснующимся потоком дали Виктору душевный покой.

Он вернулся в Питер освеженным, без надоедливой думы об ореховых глазах. Да они больше и не появлялись: Иван Шалаев приметил легавого коротышку, когда тот зачастил на тракт в поисках Виктора. Они столкнулись в трактире «Бережки» за бутылкой пива. Иван что-то спросил дерзко, тот ответил не по-людски. Слово за слово, и красильщик в сердцах так треснул его пивной бутылкой по котелку, что Виктор на время остался без «хвоста».

Трактирщик не посмел выдать Ивана: он дорожил привычными клиентами с окрестных фабрик, да и дело было такое темное, что лучше в него не влезать. Калабин отругал Шалаева отборными словами. На этом все и завершилось.

И листовку Калабин раскидал удачно, пока Виктор любовался финской природой. И кружок был цел: занимались в нем по субботам то Сергей Андропов, то Сергей Цедербаум. И люди стали лучше разбираться в политике.

А в начале зимы кружок прошел такое «боевое крещение» на фабриках у Паля и Максвеля, что о его делах услыхала вся передовая Россия...

С осени все дела у Виктора намертво завязались в один тугой узел. А просвета не было. И только в дальней дали мог он угадывать алую узкую полоску новой зари.

Он рассчитывал получить место мастера: тихого немца Отю повысили в должности. И хотел пристроить вместо себя Ивана Шалаева: тот поднаторел за восемь лет работы на фабрике и сумел перенять ряд полезных и нужных рецептов крашения.

Но Шабловский полез на дыбы. Он теперь всюду распихивал благонадежных михелей — и с земли германской и с земли австрийской. Пришлые «немцы» валили как из лукошка и садились на лучшие должности. Паль благоволил им: русского языка они не знали или болтали через пень-колоду, и никакие заботы питерских рабочих не укладывались в их голове.

Шабловский задумал получить доступ и к рецептурной книжке Виктора, где были записаны французские и немецкие новинки. Но Виктор уклонился: он уже понимал, что такие штуки проделывают с мастерами, когда готовятся их выбросить на улицу.

15 августа, в день успения пресвятой богородицы, красильщики снова подбили всю фабрику праздновать. И Шабловский — не без основания — думал, что в этом деле замешан Ногин, хотя прямых улик

собрать и не удалось. Отношения у подмастерья и директора обострились до крайности.

Даже домой Виктор начал писать без скрытого раздражения. 18 августа 1898 года он решил откровенно ответить Варваре Ивановне на те мысли, которые ему не понравились в ее последнем письме.

«В письме от 16-го числа Вы советуете неисполнимые вещи. Это, наверное, оттого, что самим Вам никогда не приходилось жить на фабрике и видеть во всем величии «хозяев».

Вы говорите — «старайся за хозяев», а Вас спрошу: кто такой я? И с кем у меня интересы личные ближе: с хозяином или с рабочими? Я тоже человек, работающий на фабрике по одинаковым с рабочими правилам, и, следовательно, интересы мои тоже одинаковые с рабочими. Кроме того, у одного хозяина я всю жизнь не могу прожить. И что же, при каждом новом поступлении мне будет нужно снова унижаться перед фабрикантом? Только тогда я им буду «оценен», но зато рабочие будут меня ненавидеть. А если я буду справедлив с рабочими, а — поэтому — на их стороне, то мне никогда не придется унижаться ни перед кем. И, привыкнув отстаивать свои права, я заставлю считаться со своим мнением.

Вы пишете, что «фабричные только тогда хороши, когда им что-нибудь делаешь», и что «они ничего не понимают».

А фабриканты, что же, такие уж благодетели, что хоть ничего не делай, а они будут благодарны?! И они будто понимают, что рабочие последние силы теряют и получают лишь гроши? Да хоть умри на работе — они не поймут! И «оценят» лишь за то, что будешь молчать, когда они две шкуры будут драть! Недаром они и говорят, что дураки им полезны, а умные — вредны... Народ наш забит совсем, стал бессловесный. И хорош буду я, видя все это, и не помогая товарищам, и позволю сесть себе на шею каким-нибудь негодяям-тунеядцам, проживающим деньги, добытые руками рабочих? Нет, так я не хочу и не могу, а, сколько хватит сил, постараюсь отстаивать свои права!»

Варвара Ивановна переполошилась, когда Виктор попросил ее сообщить, сколько денег у него в сберегательной книжке. Сам он никогда не глядел на окружающий мир через полушку, как это делал его покойный отец, и, конечно, не знал, какая сумма скопилась у него за время работы и у Морозова и у Паля.

14 сентября он писал маме: «По новым правилам сегодня полагается работать, но рабочие опять не пошли. Вы спрашиваете, мама, зачем мне знать, сколько у меня денег? Я вам писал, что у меня есть планы. Один из этих планов — поехать за границу... Сейчас я решил действовать в старом же духе и фронта не переменять...»

Этим «фронтом» была новая стачка в день воздвиженья, занятия с кружком до первых петухов и чтение второго тома «Капитала», который приобрел ему брат Павел в московском магазине «Труд».

Павел переменился за эти годы так, что стал получать от Виктора весьма лестные характеристики. Он дважды побывал в Питере и хотя не вдруг понял, чем озабочен Виктор, но проникся уважением к его интересам. В письмах Павла начали появляться рассуждения о делах, которые волновали тогда мир: о приезде Фритьофа Нансена в Москву, о скандальном деле Дрейфуса и об оголтелом нажиме США на Кубу. Он занимался теперь в школе приказчиков, стремился повидать Станиславского в пьесах молодого и прогрессивного Литературно-художественного кружка, шумно заявившего о себе на московских подмостках, не пропускал публичных лекций видных профессоров по искусству, политической экономии, природоведению и анатомии. Были у него основания гордиться питерским братом, сумевшим подчинить свою жизнь опасной и благородной борьбе фабричных за право жить по-людски. Он понимал, что все это может довести и до тюрьмы. Но молодое поколение не знает страха и не боится упреков обывателя. Это обывателю суждено видеть не дальше своего носа и отдать богу душу в привычной заспанной постели, на мягкой пуховой перине, под

заунывное и гнусавое бормотание попа с кадилом и дьячка с затрепанным псалтырем!

— Ты, Виктор, того... — прощался Павел в последнюю встречу. — Береги себя, голову под удар не ставь. А уж коли тюрьма на роду написана, во мне-то не сомневайся: я тебя не оставлю.

— Вон ты какой? Да ты мне нравишься, Пал Палыч! Выдавить такое признание из морозовского приказчика — это уже победа! Только не хорони меня, друг, дай руку! — Пожалуй, именно в этот день Виктору и полюбился старший брат, которого он долго считал почти чужим...

После воздвиженской стачки, также начатой красильщиками, директор Шабловский пристроил к Виктору нового филера. Назойливый тип, одетый под мастерового, каждую минуту лез на глаза: провожал своего подопечного до ворот фабрики на рассвете, толкался среди фабричных у проходной будки, когда кончалась смена, и неусыпно наблюдал за домом № 51 по Шлиссельбургскому тракту, пока в комнате у Виктора не погасал свет.

В середине сентября Николай Калабин встретился с Ногиным в обеденный перерыв. Они побродили вдоль корпусов фабрики, сели на тюк товара в дальнем углу обширного двора.

— Тебе надо уходить отсюда, — глухо сказал Калабин, — не такой ты человек, чтоб пропасть ни за грош. А насчет работы не сомневайся. Я уже говорил с Ольгой Аполлоновной. Она и Андропов похлопочут о тебе. Думается, есть у них хорошая зацепка на заводе Семянникова. И будешь ты рядом с нами.

Уход Виктора с фабрики Паля приобрел скандальный характер. Об этом он сообщал в Москву 18 сентября 1898 года:

«Милые мама и брат Паша! Мое терпение лопнуло, и я вчера ушел в 3 часа дня из фабрики.

Это было так. Шабловский сказал мне, чтоб я послал одного человека работать в ночь. Но, во-первых, по условиям техническим это невозможно, а во-вторых, человек уже проработал день, и он не может работать ночью. Поэтому я велел красильщику

остаться дома на другой день и выйти на работу в следующую ночь, тем более что Шабловский точно не обозначил, когда нужно посылать.

Когда я увидел Шабловского, он спросил:

— Кого вы послали?

Я ответил, что еще не посылал, а пошлю завтра, и добавил:

— Думаю, что человек, отработав день, не может работать ночь.

— Ах, вы все «думаете»? Пора бы и перестать!

Я ответил, что это касается только лично меня и думать он мне не запретит.

— Нет! Если хотите служить, то не думайте, а исполняйте, что приказывают! Иначе убирайтесь на ...! — И, толкнув меня, стал ругаться по-площадному и велел, чтобы я сейчас же послал того человека работать в ночь.

Хорошо уже не помню, что я тут сказал ему. Помню лишь, что сказал немного погодя:

— Я уйду домой, — оделся и ушел на квартиру.

Сегодня я объяснялся с хозяевами. Они сказали, что Шабловский нанял меня, он же со мной и будет объясняться.

Тогда я пошел к Шабловскому и заявил ему расчет. Он сказал, чтобы я пришел после обеда, так как ему «некогда» (11 час. 15 мин.).

При разговоре с Шабловским я ему высказал все. А он мне предлагал выдать жалование за две недели, если я дам ему списать мою рецептную книжку. Я отказался и в 5 час. получил расчет (5 час. 30 мин. вечера).

Так как мне обещали выдать аттестат через час после расчета, то в 6 час. я пошел в контору. Конторщик сказал мне, что Шабловский не велел писать удостоверение. Тогда я отправился сам к нему и спросил:

— Почему не дают?

Он ответил, что даст тогда, когда я отдам рецептную книжку. Я сказал, что книжка — моя собственность и аттестат — тоже, и он не имеет права при-

сваивать чужую собственность, и что я буду жаловаться фабричному инспектору. Он ответил:

— Пожалуйста!

Тогда я сказал ему, что такой низости не ожидал от него.

— Слушайте, слушайте! Вы в морду получите! — позеленел от злости Шабловский.

— Да, от такого господина, как вы, всего можно ждать! — ответил я (7 час. вечера).

19-е. Сегодня утром был у К. Я. Паля и рассказал ему, почему мне не дают удостоверение. Он ответил: «Это, наверное, недоразумение», — и обещал распорядиться, чтобы выдали. Если в понедельник не выдадут, то пойду к инспектору».

22 сентября Виктор написал Варваре Ивановне, что он не приедет по ее приглашению в Москву, и из Питера никуда не двинется, так как ему твердо уже обещают место на заводе Семянникова.

«Вчера я был у фабричного инспектора, и он сказал, что фабрика *обязана* заплатить мне за две недели вперед и выдать аттестат. И велел прийти в пятницу. А так как я не хочу, чтобы негодяи торжествовали и притесняли народ безнаказанно, то я подам на Шабловского к мировому.

Какое мне дело до того, что Шабловский вспыльчивый! Я тоже имею полное право быть вспыльчивым. А когда к тому же чувствую себя правым, то молчать не намерен, особенно перед подлецом.

Я надеюсь, что с голоду не пропаду, и, сознавая, что я поступил, как следует, я спокоен. Правда, первое время я был расстроен и волновался, но потом ко мне приходило много рабочих, и они меня успокоили».

Подходил конец сентября, а столкновение с Шабловским еще продолжалось.

Под напором фабричного инспектора этот лощеный хам удостоверение выдал. Но аттестат задержал и платить за две недели отказался. Он даже придумал версию, что не было у Ногина никаких своих рецептов:

— Это я продиктовал ему! За что же платить деньги?

— Я не знаю всех ваших дел с Ногиным, — многозначительно заметил инспектор. — Но сейчас в вашем заявлении логики нет. Зачем вы так добиваетесь книжки Ногина, если можете любой его рецепт продиктовать другому лицу?

Три недели длилась проволочка: Шабловский не уступал. Виктор подал на директора в суд, инспектор согласился быть свидетелем на его стороне.

Во второй половине октября 1898 года Виктора определили приемщиком на завод Семянникова. Но он не порвал связи с Калабиным и со своим кружком и приводил в порядок все свои записи о положении рабочих на фабрике Паля. И домой написал об этом: «Хлопот много — все собираюсь отплатить Палю и его честной компании». И верил, что мировой судья непременно поддержит все его требования: и аттестат он получит и деньги — это уже дело престижа! И этому типу Шабловскому придется посидеть в тюрьме! «Но борьба не особенно легкая, Паль старается теперь навредить мне и тем, кто со мной знаком, всеми средствами».

Домой он стал писать реже и все какими-то намеками, которые приводили в трепет суеверную и впечатлительную Варвару Ивановну.

Особенно насторожили ее фразы в сумбурном письме от 3 декабря 1898 года:

«Живу. Время идет быстро. Если со мной ничего не случится, то приеду на рождество: здесь кончают 23-го, в 12 часов...»

Время действительно летело, как курьерский поезд «Москва — Санкт-Петербург».

Все свободные часы, а их было достаточно, отдавал Виктор кружку и работал как в чаду: его отмечали как самого горячего, дерзкого и смелого в стачечном комитете.

Кружок так окреп, что стал опорным пунктом за Невской заставой: он выпускал прокламации и для текстильных фабрик района и для Обуховского завода, с которым поддерживал связи Николай Калабин.

— Вырос, да еще как вырос наш Виктор! — отмечали товарищи, понимающие толк в людях.

В день введения — 21 ноября — замолчали гудки у Паля и у Максвеля. Заметались сыщики. Кого-то уже схватили в казарме под крики жены и детей; кого-то уже волокли в «Кресты»; кому-то уже носили передачу на Шпалерную. А забастовка не утихала. Правда, дрогнула кучка трусов из ситцевой фабрики Паля, но ее встретили дружным улюлюканьем возле проходной будки и к работе не допустили.

Паль вызвал пролетку, сел в нее, нахохлившись, как старый ворон в непогоду, и помчался к полицмейстеру:

— Без ножа режут, голоштанники! Подрыв основ! Прошу помощи!

Полицмейстер — в широких штанах, как синее море, — кряхтя, поднялся на ящик возле проходной и начал выкрикивать:

— Ребята! Пора кончать! Не потерплю безобразия, мать вашу так! А ну, марш по местам!

Но никто не послушался.

Строем встал у фабричных ворот большой наряд в синих шинелях. Рабочие загалдели:

— Давай, давай! Гони сюда свою шваль! Видать, ты заодно с нашим Палем!

Полицмейстер понял, что хватил через край, и спрятал своих служак за конюшней. Рабочие не унимались:

— Скоты! Стойте, стойте на скотском месте! И хозяина прихватите себе в компанию. А на фабрику не суйтесь!

Паль наивно полагал, что основанием для этой стачки был очередной праздник. Но в листовке было сказано, что хозяин задавил штрафами и пьяный механик Васька Брейвейт все еще сидит у машины. Каждый день из-за него простои, а платить за это никто не хочет!

Правда, до драки с полицией дело не дошло: перепуганный Паль дал слово навести порядок. Стачечный комитет решил ждать ровно один месяц.

В декабре Ногин и Андропов завершили расстановку сил. Калабин, Ломашев, Шалаев и другие составляли костяк кружка, тесно связанный с комитетом по стачке. Сергей Андропов и Михаил Смирнов держали квартиру, где был политический центр. Ольга Звездочетова и Лидия Канцель поддерживали тесную связь с внешним миром. Муж Лидии — Григорий Канцель — и Сергей Цедербаум печатали прокламации и доставляли их Ногину, Калабину и Козлову. Ольга и Юлия Гольдман работали на пишущей машинке «Ремингтон». Владимир Татаринов ведал мимеографом. Матвей Миссуна иногда заменял в кружке Андропова, Ногина и Цедербаума. Константин Шехтер хранил архив.

Весь долгий вечер 5 декабря 1898 года в доме № 70 по Николаевской улице заседали Андропов, Смирнов, Звездочетова, Лидия Канцель, Сергей Цедербаум и Матвей Миссуна. Ногин и Калабин отсутствовали, потому что сидели «на приколе» у филеров.

В полночь жаркие дебаты кончились. Как и предлагал Андропов, группа оформилась и стала называться «Рабочее знамя». Был набросан проект письма столичной интеллигенции, чтобы объяснить, чем занималась группа до сего времени и что скоро будет выходить в столице новая газета. Все участники совещания, поименовав Ногина и Калабина, объявляли себя членами Российской социал-демократической партии, первый съезд которой нелегально состоялся в Минске девять месяцев назад.

Прошло еще две недели. Паль не сдержал слова. В цехах замелькали пламенные листовки «Рабочего знамени», и вся фабрика остановилась 14 декабря.

Рабочие сгрудились во дворе и послали делегацию к управляющему Глозиусу: уволенных после забастовки 21 ноября вернуть! Паль должен выполнить обещание!

Среди забастовщиков замешался забулдыга Кузюткин. Шлифовальный мастер не взял его к себе в цех, и Кузюткин стал выкрикивать, отводя возбужденных рабочих от главного дела:

— Тоже мне штрафы! Жили с ними и теперь проживем! А вот мастера шлифовального выгнать, так до этого недодули!

Два ткача схватили Кузюткина за руки и потащили к управляющему.

— Ты народ не мути, от дела не отвлекай и за наши спины не хоронись. Твоя морока, вот и иди скажи Глозиусу!

Забастовщики стали напирать на Кузюткина. Он вдруг выхватил финский нож и ударил одного в бок, другого — в грудь. Окровавленные рабочие кинулись в кабинет к Глозиусу:

— Братцы, убивают! Кузюткин это, предатель!

— Бей шпиона!

— Смерть ему! — разъярились рабочие.

Но нагрянула полиция, и Кузюткина спасли от расправы. Забастовщики хлынули за ворота фабрики, навстречу полиции, и решение их оформилось мгновенно: на фабрику никому не ходить, все требования отстаивать до конца.

Кто-то забежал в ткацкую и порезал ремни трансмиссии, кто-то высадил камнем стекла в ситцевой фабрике. Так прошел этот день.

15 декабря Виктор собрал рабочих на углу Смоленского переулка: Паль никого не впустил во двор, пришлось митинговать на улице.

— Нечего в казарме отсиживаться! — сказал Виктор. — Давайте хозяина требовать. Пусть к народу выйдет! Послушаем, что он скажет!

Но хозяин не вышел. Вместо него загарцевали по тракту конные жандармы и с ходу потеснили рабочих. От них вырвался вперед околоточный из второй Шлиссельбургской части и завопил:

— А, скоты, бунтовать?! Да я вас на каторге сгною! — и стал хлестать нагайкой.

Рабочие отступили, но с улицы не ушли.

Через час висел на фабричных воротах гневный приказ столичного градоначальника генерала Клейгельса: «Всем быть на работе! Кто не выйдет, тех под расчет! А зачинщиков — в деревню, в каталажку, на каторгу!»

Не успели забастовщики провести митинг, жандармы стали похватывать тех, кто был на виду. А Палевы сподручные кинулись в казарму и начали выбрасывать жен и детей забастовщиков и их небогатое барахло.

Виктор с Калабиным и Галковой побежали поднимать максвелевцев.

— Полиция и жандармы ломают хребет палевцам! На помощь, товарищи! — крикнул Виктор.

Марина Галкова бежала по цехам и голосила:

— Убивают соседей, братцы! Да нешто можно терпеть такое?

А Калабин уже вел отряд максвелевских женщин из казармы.

Полицмейстер озверел: еще не справился он с бунтовщиками у Паля, а уже подняли голову максвелевские ткачи. И он решил взять максвелевскую казарму приступом.

Конные закрыли выход из казармы, спешились и с разгона сорвали входную дверь. Напирая друг на друга, звеня шпорами, громыхая саблями, синей суконной массой кинулись они к единственной лестнице казармы.

Проклятьями встретили их ткачи. И приняли первый бой на площадке. Полицейские и жандармы выхватывали из живой стенки ткача за ткачом, с подзатыльниками и бранью тащили на мостовую и расставляли шеренгой. Палевцы, напирая массой, разбивали эту шеренгу, норовя укрыть арестованных.

А в казарме уже вступали в бой все новые и новые силы максвелевцев, теперь уже с верхних этажей. И каждый пускал в дело все, что попадало под руку. На головы и спины полицейской рати летели поленья дров, старые кастрюли и сковороды, бутылки, банки и даже ветхие опорки.

Полицмейстер приказал выломать входную дверь. Мигом сорвали ее с петель, и два дюжих околоточных, накрывшись ею, как щитом, пыхтя, полезли по ступеням.

Кричали в голос женщины, сурово ругались муж-

чины, плакали дети. Громыхали поленья по щиту, зловеще звенели шашки, отдувались побитые стражи закона. С улицы летели камни, с треском и звоном разлеталось оконное стекло.

Виктор успел крикнуть из толпы:

— Эй, наверху! Кипятком этих гадов!

Жандармы бросились к нему, но палевцы втиснули его в тесную, жаркую толпу. И закричали:

— Из титана давай!

— Шпарь красномордых!

Глухо загремели ведра: в них поднесли кипяток к перилам. И в пролет лестницы, обжигая напиравшую стаю синешинельников, тяжело, мягко ударили по крыше двери первые потоки кипящей воды. Теперь завизжали ошпаренные полицейские.

Полицмейстер, окутанный клубами пара, размахивал обнаженной шашкой и вопил снизу:

— Хватать всех подряд! Гнать ко мне взашей!

Полицейские и жандармы дали исход своему озлоблению: они хватали мужчин и женщин, волокли вниз за руки, за ноги, за волосы. Полицмейстер встречал задержанных зуботычиной. А когда согнали всех, кто попал в лапы, избитые и ошпаренные стражи принялись нещадно хлестать их нагайками.

Вечером 16 декабря 1898 года десятки людей попали в полицейские участки. Тридцать человек оказались в тюрьме на Шпалерной.

Одним из тридцати был Виктор Ногин.

В полночь он вернулся домой после встречи с Андроповым и был озлоблен и потрясен тем, что видел за Невской заставой в этот короткий зимний день.

Он не спал еще, когда в дверь постучали — грубо, властно; откинул щеколду — на пороге, до боли в глазах, блеснули светлые пуговицы.

И пожилой страж, держа в руке бумагу с печатью, сказал надтреснутым баском:

— Вы арестованы, Ногин! Прошу следовать за мной...

ШПАЛЕРНАЯ, ДОМ № 25

Декабрь, 1898 год

В двадцать лет, да еще впервой в одиночной камере, — дело не пустяк! Звонко застучало в висках, когда старый надзиратель легонько втолкнул его в тесную серую коробку, сказал негромко, без всякого зла: «Иди, иди! Квартира завидная. Насидишься, милок, от нас-то не скоро уйдешь!» — и гулко хлопнул железной дверью. В предрассветной тишине скрипнула задвижка и ржаво треснул замок.

Все!

Но сейчас же мелькнула мысль: не один он тут, тюрьма забита друзьями. Только как найти к ним доступ?

В зимний сумеречный полдень вывели его на прогулку. Двор был обширный, где-то кашляли и чихали люди, под их ногами хрустел снег, но он никого не видел. Он ходил в отгороженном треугольнике, который напоминал вырез в гигантском пироге. Острым углом этот кусок «пирога» упирался в башню, где вдоль перил прохаживался старший надзиратель, как пожарный на каланче. Позади — тюремная стена. А по бокам — высокий, ладный забор и доски на нем впритык, будто в товарном вагоне.

Кто-то ходит по своему «пирогу» рядом, и, видать, тому зябко: он и кряхтит и потирает руки. А их велено держать за спиной.

На допрос не вызывали. Можно было постепенно обживать свою камеру № 243, заявить о желании получать газеты и журналы и отправить домой первое письмо из неволи.

О такой именно камере сочинил сонет Глеб Максимилианович Кржижановский, вспоминая то время, когда он сидел на Шпалерной неподалеку от Ульянова:

Три шага вширь и пять в длину —
Очерчен так всей камеры мирок.
Окошко вздернуто предельно в вышину.
В двери, над форткой запертой, глазок.
    Листок железа — стол стенной,
    Стул откидной, такая же кровать...
    В белесом потолке порой ночной
    Малютка-лампочка начнет мерцать.
Здесь вашей воли нет; ее сломить
Наметил враг. Он на расправу крут.
Вас будут одиночеством томить.
Не все, не все его перенесут...
    Но вот письмо, твой бодр привет.
    Условным шифром шлю ответ.

Писем пока не было. Но в брючном кармане для часов сохранился маленький сувенир с воли. Для посторонних глаз — просто безделушка: лист березы из тонкой жести. А в трудный час одиночества он будил мысль и перекидывал мост к Андропову, от него — к Ветровой, от Ветровой — к дверному «глазку», куда заглядывал изредка надзиратель.

«Глазки» вошли в моду недавно, когда волной двинулись в тюрьму рабочие. А после ужасной смерти Ветровой без этого «глазка» не могли и обходиться: хотели следить за арестованным ежечасно, осторожно, неслышно.

Мария Федосьевна Ветрова сожгла себя керосином из лампы в мрачном Петропавловском каземате. Тюремщики переполошились: срочно заменили лампу стеариновой свечкой, затем электричеством

и по всей стране стали долбить «глазки» в дверном железе.

Виктор не был знаком с Ветровой. Он услыхал о ней от Андропова вечером 2 марта 1897 года, когда тот явился с демонстрации и принес этот памятный подарок.

Пять тысяч питерских студентов собрались в полдень у Казанского собора и стали просить настоятеля отслужить панихиду «по безвременно погибшем борце».

Под напором пяти делегатов настоятель отступил в алтарь и стал кричать, что он не будет заводить службу по девице, наложившей на себя руки. Делегаты тоже повысили голос, и перебранка перешла в открытую брань. Настоятель спохватился, что алтарь не самое лучшее место для крепких слов, выбрался на клирос и крикнул всем толпившимся в соборе:

— Не делайте храм божий местом сходбищ, не кощунствуйте, разойдитесь, ибо панихиды не будет. Вы собрались не для панихиды, а для демонстрации!

Студенты подняли над головой три металлических венка, запели «Вечную память» и двинулись по Невскому в сторону Зимнего дворца. Но прискакал градоначальник Клейгельс, с ним — конные жандармы и казаки. Демонстрацию завернули в Казанскую улицу, а возле Фонарного переулка стали загонять на широкий двор казанской полицейской части.

В страшной давке девятьсот три человека были задержаны и переписаны. Остальные сделали удачный прорыв в полицейском кордоне и разбежались по Екатерининскому каналу. Три венка были разобраны по листку на память, и Андропов подарил свой Ногину, когда увидел в нем друга...

«Вот и все, что осталось от Ветровой: доброе имя борца и этот траурный знак, — Виктор держал на ладони зеленый листок из тонкой жести. — Даже могила ее не указана. А как с нами? Ну, господа хорошие, мы на себя руки не наложим! У Арсения Морозова в хорошей тюрьме сидели, у Карла Паля —

не чище, и тут выдержим! И как же мне хочется знать, где Сергей, где Ольга, где Николай! Спаслись они в ту ночь или ходят рядом по скрипучему снегу за дощатым забором и хлебают из одного котла со мной тюремные щи?»

Пробовал говорить с надзирателем: тот грубил или отмалчивался. Но однажды надзиратель открыл форточку, сунул в нее сизый нос, рыжие усы и вялые глаза:

— Слушай, Ногин, уголовника прислать или сам натрешь пол?

— Давай уголовника.

Но и с ним поговорить не пришлось: был отдан приказ идти на прогулку. А в иные дни уже сам Виктор танцевал со щеткой по асфальтовому полу, натирая его воском до блеска.

Половину третьей ночи он промучился над письмом домой: все опасался, что скажет лишнее и убьет тяжким горем Варвару Ивановну.

19 декабря было готово скупое письмо, в котором содержалась только самая суть: «Милые мама и Паша! 14-го с. м. на фабриках начались стачки рабочих, а в 3 ч. утра 16-го я был арестован. В настоящее время нахожусь в доме предварительного заключения. Долго ли просижу, не знаю. Свиданий добыть трудно, и пройдет до этого времени много. Вы не тревожьтесь, я здоров и весел. Целую вас крепко, желаю вам всего хорошего и прошу не беспокоиться. Любящий вас сын и брат *Виктор Ногин*».

Затем приписал адрес: «С.-Петербургский дом предварительного заключения, камера № 243. Шпалерная улица».

И уже в тот миг, когда надзиратель явился за письмом, сделал маленькую приписку: «Мама! Пожалуйста, будьте спокойны. Еще раз целую вас. *Виктор*».

Варвара Ивановна слегла в постель. Ее поразило не только само известие об аресте сына, но и вид письма из тюрьмы — на первой странице большими красными кляксами выделялись две печати: «Просмотрено прокурором С.-Петербургского окружного

суда». И со всех сторон крест-накрест письмо было перемазано какой-то ядовитой желтой краской.

Мать порывалась ехать в Питер немедленно, но Павел ее удержал: надежды на свидание не было.

Через три дня Виктор отправил еще одно письмо: «Милая мама! Вы не скучайте и не сердитесь на меня. Дурно я не поступал, а взят за то, что обращался с рабочими по-человечески. Напишите мне, как Ваше здоровье и как проводите праздники. Нахожусь в одиночной камере, и неприятно только то, что никого, кроме надзирателей, не вижу. Читать можно — есть библиотека, и свои книги позволяется иметь...»

В тот день, когда было отправлено это письмо, Виктор неожиданно узнал о судьбе товарищей, и однообразная жизнь в камере вдруг стала полна нового смысла.

На прогулке он увидал прикрепленный к забору маленький катышек черного хлеба. Он смахнул его в ладонь, почти полчаса разогревал за спиной и дома разломил и обнаружил маленькую записку с характерным бисерным почерком Андропова: «В. П. Идите в церковь к обедне. С.».

В мрачной тюремной церквушке было как в зверинце: уголовники стояли скопом в дальнем углу за длинной решеткой, а политические — каждый в своей маленькой клетушке. «Нас держат, как дорогих львов или тигров», — подумал Виктор.

В соседнюю клетку вошел Андропов. Еле заметно они кивнули друг другу. В середине службы Сергей отбил земной поклон и очень ловко сунул сквозь решетку тонкую бумажную трубочку. Виктор наклонился благопристойно и подхватил записку. В камере он прочитал ее: «Все наши здесь: Ольга, М. Смирнов, Сергей Цедербаум с сестрой и ее мужем и Николай, которого схватили лишь в третью ночь, и другие. Держитесь стойко, говорите полуправду, похожую на быль, не называя документов. Записку не храните. Скоро найду способ более тесного общения. Жму руку. С.». На обороте была приложена азбука для перестукивания и первая

строфа из Лермонтова «Белеет парус одинокий» — для шифрованной переписки.

Виктор расположил буквы на пять колонок:

а	б	в	г	д
е	ж	з	и	к
л	м	н	о	п
р	с	т	у	ф
х	ц	ч	ш	щ
ы	ю	я		

Память работала блестяще. И уже к концу дня он твердо помнил, в каком ряду и в какой колонке стоит любая буква. И, как мальчугану, захваченному новой, интересной игрой, захотелось ему сейчас же проверить азбуку на соседе. Но чем стучать? Карандаша не было, ручку с чернильницей приносил и уносил надзиратель, когда писалось очередное письмо.

Он вспомнил о памятном березовом листике из венка для Ветровой. И застучал по всем правилам: сначала строку, затем букву. Два удара и пауза — это буква из второй строки. А еще пять ударов после паузы — буква «к». Четыре удара, пауза, три удара — буква «т». Три-пауза-четыре — это буква «о».

— Кто? — Виктор с напряжением ждал ответа.

Сразу же ответили из левой боковой камеры и сверху. Колотили звонко, видать, деревянной ложкой: привычно и быстро; камера забилась звуками, но понять ничего не удалось. «Замолчите!» — в сердцах отбил Виктор. Перестук прекратился. А потом сосед слева отстукал дерзко: «Не умеешь, не берись, только душу травишь!»

Виктор хотел ответить, но в форточку крикнул надзиратель:

— Прекрати! Начальнику передам, он тебе врежет!..

Новогодняя ночь прошла сверх ожиданий не так плохо, как думал Виктор. Тюрьма заполнилась разноголосым шумом, где-то трижды заводили песню;

бегали по мягким дорожкам растревоженные стражи, громко хлопали дверями и надсадно орали на тех, кто не желал безропотно сидеть в эту ночь.

Тот первый страж, который привел Виктора в эту камеру, согласился принести ужин не из общей кухни, а из кухмистерской, где цена ему была тридцать копеек. Но — по случаю праздника — потребовал целковый.

«Клюнул старик», — решил Виктор и выдал рубль.

И после сытного ужина, не опасаясь старика за дверью, он выстукивал ложкой:

— С Новым годом, товарищи!..

Январь — май, 1899 год

Все, что поддавалось регламентации в тюремной жизни, постепенно вошло в норму.

Виктор отдавал два часа в день немецкому языку: мысль о непременной поездке за границу не угасала ни на один миг. Да и Андропов поддерживал ее своими разговорами о том, что он обязательно уедет на время в Англию и будет работать там у выдающегося толстовца Владимира Григорьевича Черткова.

Три часа Виктор читал и конспектировал книги, обычно по истории и экономике. Новые журналы, особенно «Мир божий», дополняли ежедневное чтение. Кстати, этот журнал служил и для шифрованных писем в адрес Андропова. Они договорились, что страницей для шифра будет дата рождения каждого из них. Едва заметными точками Виктор отмечал острым карандашом буквы на странице четырнадцатой, поскольку день его рождения был 14 февраля 1878 года. А Сергей Андропов разрисовывал таким же способом страницу семнадцатую, так как появился на свет 17 сентября 1873 года. А возникала необходимость быстро сообщить о посланном письме, так достаточно было шепнуть на очередной молитве

или передать с «оказией» одну лишь цифру — номер журнала.

В остальное же время, сколь ни было оно занято прогулкой, приемом пищи или баней, Виктор набрасывал на листках почтовой бумаги текст первой своей книжки —«Фабрика Паля». Бесхитростно живописал он каторгу на Шлиссельбургском тракте, в селе Смоленском, и трудную борьбу ткачей, прядильщиков и красильщиков за Невской заставой.

Книжка набирала силу день за днем и уходила по частям к Андропову: Сергей связался с «Союзом борьбы», а тот решил опубликовать ее как оттиск № 6 «Рабочей мысли».

Точно обрисовывались главы будущей книжки: 1) История фабрики Паля. 2) Характеристика хозяев. 3) Потребительская лавка. 4) Наша администрация и условия труда. 5) Больница. 6) В ноябре и 7) Стачка в декабре. Приложением к основному тексту шли важнейшие требования палевцев, отраженные в последних листовках «Рабочего знамени».

Виктор долго не мог разделаться с предисловием: все получалось оно многословным и долгим. Но наконец, и оно легло на бумагу:

«Эта книжка посвящена всем тем, кого ее содержание непосредственно касается:

Нашим товарищам,
Министру финансов,
Министру внутренних дел,
Фабричным инспекторам,
Хозяину фабрики — К. Я. Палю».

Итак, задумка, которая не давала спокойно жить Виктору с прошлой осени, вылилась в этот хороший залп по Карлу Палю и всем его присным, включая лощеного хама Шабловского и многих других подлецов рангом пониже.

А полковник Пирамидов не дремал. Он составил обстоятельную записку, опираясь на показания своих филеров. И по этой записке 9 января 1899 года началось следствие по делу «О преступном сооб-

ществе, присвоившем себе наименование «Группа «Рабочего знамени».

14 января на допросе, который вел отдельного корпуса жандармов подполковник Потоцкий в присутствии товарища прокурора С.-Петербургского окружного суда М. И. Трусевича, Виктор дал первые показания:

«Зовут меня Виктор Павлович Ногин. Я не признаю себя виновным в принадлежности к преступному сообществу, стремящемуся к ниспровержению существующих в Империи государственных и общественных порядков. Все предъявленные мне вещи взяты у меня по обыску и принадлежат мне. В Петербурге я работаю на фабриках с 1896 г., причем до 17 сентября 1898 г. был красильщиком на фабрике Паля, а оттуда перешел на Невский механический завод, быв. Семянникова, конторщиком. Оставил службу у Паля вследствие оскорбления, нанесенного мне управляющим Шабловским. С рабочим Иваном Шалаевым я знаком со времени поступления на фабрику Паля. Рабочих Николаевых я не знаю. Никому из рабочих я запрещенных изданий не давал. Никогда сведения о положении расценок на фабрике Паля я не собирал. Предъявленная мне запись в тетради сделана мною и означает следующее: «В колесной, малярной и кузнечной мастерских Семянниковского завода зарабатывали 130, дали 100 р.». «Раньше с пары 15—12, а теперь —». Обстоятельства эти, касающиеся условий работы, возмутили меня и записаны мною лично для себя, причем если бы я узнал, сколько «теперь» с пары, то я внес бы свою заметку. На той же странице мною записан случай возмутительного обращения администрации того же завода с одним рабочим, которому сломали ногу. Обе эти записи сделаны мною в октябре или ноябре 1898 г. В другой предъявленной мне тетради мною записан ход моего дела с управляющим палевской фабрики, причем я имел в виду впоследствии поместить в газету «Сын отечества» корреспонденцию об этом деле. По делу с Шабловским мною были выставлены у мирового судьи сви-

детели, адреса некоторых из них для меня собирал рабочий палевской фабрики в красильне — Никифор Васильев, арестованный, должно быть, за это».

13 февраля Виктора предъявили квартирной хозяйке Авдотье Сосулиной. Но она его не выдала:

— Квартирант был тихий; все один да один. Никто к нему и не заглядывал. А читал много, и все по ночам. Так я его за керосин поругивала!

20 февраля хотели узнать у Виктора о его связях с арестованными рабочими. Но он категорически отвел все домогательства Потоцкого:

«Рабочих Александра Козлова и Николая Калабина я совершенно не знаю, и личности, изображенные на карточках, мне неизвестны. В доме № 21 по Палевскому проспекту я никогда не бывал. У меня в квартире никаких собраний рабочих не происходило».

Но после этого допроса он долго не находил себе места. Николай Калабин не мог показать правду, в этом сомнений не было. И Александр Козлов казался стойким товарищем. Однако он очень разволновался, когда про Ногина и Никифорова стали говорить, будто во время «битвы» у максвелевской казармы они пустили слух: «Надо сжечь всю эту Александро-Невскую заставу! Хозяева не согласятся с нашими требованиями, держиморды не перестанут издеваться над рабочими, так выход один: пустить красного петуха!»

Но Козлов не сказал об этом ни слова. Беда подошла с другого конца: болтал, как ничтожный трус, Сергей Орлов, берег свою шкуру, крутился на допросе ужом. На карточках он признал Ногина и Андропова, Звездочетову и Смирнова. И услужливо подтвердил, что Виктор неоднократно посылал его к Ольге на Слоновую улицу и он относил донесения, а возвращался с листовками. Эти листовки разбрасывали Ширяев, Пашков и еще трое, которых он встречал в портерном зале трактира «Бережки».

Орлов договорился до того, будто Козлов и Калабин хотели набрать в лавке у Паля в долг рублей на шестьдесят харчей для своей коммунии и сбе-

жать. Так «мы на практике прилагали социалистический принцип «общности имущества».

Дрогнул на допросе и Петр Ширяев. Он рассказал, как Козлов зазывал его в кружок, там он видел Ногина, Шалаева, Пашкова и Орлова, и как Ногин просил его собрать сведения о положении рабочих в трепальном отделении фабрики Максвеля. «Эти сведения были напечатаны на тех листках, которые передал мне Орлов и которые я разбрасывал на фабрике Максвеля».

Промахнулся и Сергей Цедербаум. 6 марта 1899 года он послал со Шпалерной шифрованную записку своему младшему брату Владимиру. Но она была прочитана опытными перлюстраторами отдельного корпуса жандармов и после расшифровки выглядела так:

«Советую всечтоестьдоманелегального

на всякий случай отдатькуданнбудь

между прочим карточкуногнна

Правда, на допросе 29 марта Сергей Цедербаум заявил вполне определенно: «Кто такой Ногин, мне не известно, об его аресте я узнал в доме предварительного заключения, а относительно карточки его объяснения давать не желаю».

Разумеется, Потоцкий не мог принять всерьез такое сообщение. Он прекрасно понимал, что Цедербаум и Ногин — давние знакомые и что Сергей хотел оберечь Виктора и укрыть от следствия его фотографическую карточку.

Спрашивали об этом и Виктора 13 мая. Он не признал С. Цедербаума на карточке и даже удивился, почему у того нашлась его фотография. На этом же допросе он начисто отверг все показания Петра Ширяева.

Полковнику Потоцкому так и не удалось забрать все нити в свой кулак: Ногин, Андропов, Звездочетова, Канцель, Татаринов, Калабин и Ломашев ни

в чем не признавались. Даже из Миссуны, Смирнова, Шехтера и сестер Гольдман выжать ничего не удалось. А Марина Галкова, про которую полковник Пирамидов писал, что она «образчик того, что делает с работницами противоправительственная интеллигенция», пыталась даже доказать Потоцкому, что ведь надо же рабочим бороться с существующим строем. «Они жить хотят! А при этом строе разве жизнь? Для вас-то жизнь, господин подполковник, и даже разлюли-малина! А для таких, как я, омут!»

И в тюрьме она вела себя шумно и насиделась в карцере. А потом приглядела на Шпалерной Ивана Разумовского — бедняка из деревни Топорово Жирятинской волости Кинешемского уезда — и стала под венец с ним в тюремной церквушке. 12 мая 1899 года Потоцкий решил от нее избавиться. И новобрачные отправились под гласный надзор полиции в Кинешму.

Без суда стали разбрасывать по великой стране и других участников «преступного сообщества». Канцели были сосланы в Ялту: у Лидии Осиповны открылся процесс в правом легком. Раскидали по градам и весям Шалаева, Смирнова, сестер Гольдман, Шехтера, Миссуну, Козлова. 7 мая двинулся на поселение в Тулу Сергей Андропов. На тюремных харчах остались Ломашев, Цедербаум, Звездочетова и Калабин. Но у них намечался какой-то «просвет». Только Ногин и Татаринов ничего определенного еще не ждали.

Дважды приезжала навестить сына Варвара Ивановна. Да в первый раз совсем перепугалась: показали ей Витеньку за двойной решеткой. И надзиратель попался такой дерзкий. Спросит она сына о чем-нибудь, а тот уже бурчит: «Про это нельзя, мамаша!» А второй-то раз, на пасху, дали посидеть рядышком на тюремной скамье. Дала тогда волю слезам Варвара Ивановна на широкой груди сына! Но и порадовалась, что здоров он, и не в арестантском халате с бубновым тузом на спине, и спит не на соломушке.

Был и брат Павел. Он приехал прямо с москов-

ских майских празднеств, когда вся благодарная Россия отмечала столетие со дня рождения Александра Пушкина.

Павел принес в тюрьму сувенир — шоколадный юбилейный бюст Пушкина. Но надзиратель его отнял и понес доложить по начальству.

Начальство приказало разбить его на мелкие части и тщательно проверить, не упрятано ли в шоколад крамольное письмо.

Лишь 16 июня Виктор смог написать брату:

«Я завидую, что тебе удалось быть при чествовании Пушкина. Благодарю тебя за присланный бюст. Хоть мне его показали целиком, но в таком виде не отдали, а разрезали, и мне пришлось его сразу съесть...»

Так прошла весна и вступило в права лето. Надзиратель открыл оконце в камере, и уже это было в радость...

Июнь — декабрь, 1899 год

В первой половине июня отбыл под гласный надзор полиции в Полтаву Сергей Цедербаум. Он оставил записку: «Будете выбирать место на Руси, проситесь в Полтаву. Туда скоро приедет мой старший брат. Вместе и решим, как быть дальше».

Сергей однажды подарил Виктору большую карточку. На ней были сняты «старики», которые создали петербургский «Союз борьбы»: Ванеев, Запорожец, Старков, Цедербаум, Кржижановский и Малченко с Ульяновым в центре. Не удалось повидать Ульянова, хорошо бы встретиться хоть с Цедербаумом-старшим. Но Андропов и Звездочетова ему ближе, и он хоть сейчас полетел бы на крыльях в Тулу, куда к Андропову собиралась Ольга.

Она и уехала туда почти в один день с Ломашевым, только Артемию назначили ссылку на родину — в деревню Жбаново Себежского уезда, под Витебском.

Ольга в день приезда прислала пятый номер

журнала «Жизнь» с небольшим шифрованным письмом: «Дорогой Виктор! Все наши адреса на Николаевской, где еще осталась Юля Щелчкова. Буду всегда рада вам. До встречи, «брюнет золотистого цвета»!»

Угнали в Восточную Сибирь Николая Калабина, «гаврилов-посадского мещанина» из-под Суздаля.

На Шпалерной остался Виктор с Татариновым. Но связь с ним не налаживалась. У него в шкафу при обыске нашли мимеограф и два больших тайника с нелегальной литературой, и он боялся навредить себе еще одним неосторожным шагом.

В проводах друзей прошел июнь. И начала наступать тоска. Уж очень мрачным казалось тюремное одиночество, когда не с кем перекинуться словом.

Но уже 4 июля загремели в коридоре перед рассветом. Кого-то тащили в камеру по мягкой дорожке, и тот сказал гневно:

— Не хватайте за руки, фараоны!

Дверь захлопнулась, надзиратели отматюкались, и все затихло.

Утром Виктор стал выстукивать по стене ложкой: «Кто ты, товарищ?» Ответили неумело: «С Путиловского, Калинин. А ты?» — «Ногин». — «С Невской заставы?» — «Да». — «Слыхал. Сидишь полгода. А какая надежда?» — «Всех разослали, жду своей участи». — «Привет тебе от наших друзей из «Союза борьбы». Книжка твоя про Паля вышла, видал ее. Молодец!» — «Давно ли?» — «Неделю, не больше». — «Спасибо за добрую весть!» — «Стучи, как вздумаешь, но пореже, я еще не освоил эту петрушку».

В камере стало веселее, когда появился этот Михаил Калинин. Был он человек веселый, крепкий, на слово острый. Возвращался с допроса и стучал: «Все вожу за нос следователя. Нас, брат, раскусить нелегко!» И, видать, учился день за днем, потому что все спрашивал, какие книги берет в библиотеке Виктор. И часто говорил:

— Это уже читано!

Скоро Виктору вернули отобранные при аресте

фотографические карточки отца, матери, Павла. Был и один семейный портрет: Виктор с Павлом обступили Варвару Ивановну, а у нее на лице большая нескрытая материнская радость.

«Когда же это было? — думал Виктор, разглядывая портрет. — Да накануне отъезда в Питер, в Сокольниках. Павел еще опаздывал на свидание к Сонечке и все торопил нас с мамой. Три года! А как быстро пролетело время, и как я с тех пор изменился! И что-то будет еще через три года? Ссылка? Новая работа в глухой провинции у какого-нибудь Обалдуева? Заграница? Жди, что выйдет, сам-то не больно распорядишься собой!.. Но не жалею: и жизнь узнал и людей. И с этими новыми людьми теперь хоть на край света!..»

Виктору понравился журнал «Жизнь», который прислала Ольга. И он решил на него подписаться. Деньги приняли, но журнал не выдали. И запретили получать газеты. Пришлось просить Павла переписать журнал на его адрес.

Из-за газет переругался с надзирателями. Но те отвечали на его домогательства скупой фразой:

— Не велено!

— Да кому же будет вред, коли я узнаю про новости на белом свете?

— Замолчи, Ногин, отведем в карцер! На то ты и в одиночке, штоб ни про што не знать!

Пришлось обращаться за новостями к брату. Но Павел отвечал скупо, а Виктору надо было знать, что с Дрейфусом: о нем шумела вся мировая пресса. И что с его адвокатом Лабори: ведь прошел слух, что прикончил его наемный убийца.

Отошли белые ночи, которые лишали Виктора сна и покоя: зори тогда не угасали, рано-рано разливался рассвет за раскрытым оконцем, и хлопотливые голуби заводили возню почти в два часа ночи. И ласточки и стрижи словно бодрствовали круглые сутки. А свистящий полет быстрокрылых птиц до боли в сердце манил на волю. Да и питерцы стали резвиться, поставив где-то за каменной стеной камеры духовой оркестр.

7 июля Виктор писал домой:

«К числу удовольствий, мною получаемых, прибавилась музыка. Я ее слушаю по вечерам, в праздники. Играют в каком-то саду, и иногда слышно, как кричат «браво»! Впечатление получается, как от фонографа, но жалко то, что всегда играют плясовую».

Он изучал теперь книгу Сеньобоса «История современной Европы» и попросил Павла прислать ему новые географические карты России и Старого Света.

Карты долго держали в жандармском управлении у генерала Секеринского, их выдали, только с пометкой, что просмотрели, проверили.

Виктор мысленно путешествовал от Владивостока до Гибралтара, от Персии и Турции до Гренландии и Норвегии. Он нашел село Шушенское, где был Ульянов, и село Ермаковское, где отбывал ссылку Ванеев. И побывал в пунктах, где жили под гласным надзором полиции два Сергея и Ольга. Но неизменно ловил себя на мысли, что за пределами Российской империи глаз его прикован к Цюриху. Значит, думал он об этом городе? Да! Там одно время жил Плеханов, там была группа «Освобождение труда».

— Туда, а? — спрашивал себя Виктор. И отвечал поспешно, словно боялся, что его услышат за железной дверью: — Поглядим, всему свое время!

Он находил Париж на зеленой равнине Франции и думал о человеческой подлости, которой опутан сейчас Дрейфус, и о Золя, сумевшем ополчиться против нее!

15 сентября он писал Павлу:

«Что нового о Дрейфусе? Меня тоже очень удивило, что его приговорили к тюрьме, — я ждал или полного оправдания, или возвращения на Черный остров. Да, действительно, очень жаль, что ты был так долго предвзятого мнения о Золя. Он прекрасный писатель, а то, что о нем говорят пропитанные деревянным маслом ханжи, — чистейшая чепуха. Я его очень люблю, и, не говоря про массу вещей, которые мне нравятся, я отмечу место, где он велик

как художник. Это место в «Карьере Ругонов» — глава, посвященная любви Сильвера и Миэтты. Это прелесть что такое! «Ханжи», вероятно, найдут и тут сальность, но я ничего более чистого и верного о «романах» не читал. Все это лишний раз подтверждает, что не следует доверяться чужому мнению, а нужно познакомиться самому, особенно с тем, кого ругают «святоши».

В конце сентября Виктор ощутил недомогание. Денег на кухмистерскую не было, а тюремная баланда и особенно перловая каша, сбившаяся в липкий ком, ложилась внутри камнем и обостряла боль в желудке. Доктор Гарфункель оказался человеком отзывчивым: заменил кашу картофелем, по утрам посылал стакан молока и прописал гулять два раза в день.

И вдруг появились деньги — словно с неба упали! Адвокат Ногина по делу с Шабловским — присяжный поверенный Беренштам — тиснул в газете «Сын отечества» небольшую заметку о своем подопечном. Мировой судья решил, наконец, дело в пользу истца, и господин Шабловский выложил сорок семь рублей, которые и были доставлены на Шпалерную.

Варвара Ивановна извелась тоской по Виктору и подала прошение: когда же выпустят сына, он уже сидит почти год. И неужели за это время нельзя закончить его дело?

5 октября Виктор написал в Москву:

«Милые и дорогие мама и Паша! Вчера я получил Пашино письмо от 28.IX. Вы прошение направили верно. По моему делу производится следствие жандармским управлением, а к прокурору судебной палаты оно еще не поступало. Все бумаги и прошение по делу нужно отправлять туда, где находится дело. Следовательно, причина молчания не ваша ошибка, а что-нибудь другое. Сегодня я посылаю второе прошение в жандармское управление: прошу объяснить, почему меня не освобождают и не отвечают на прошения... Недавно была годовщина смерти папы. Я вспоминал о нем и сравнивал его и Вас, ма-

ма. Мне его очень жалко. Он сам по себе хороший человек, но жизнь, в которую он попал с молодости, закрыла все хорошие его качества так, что на виду оставались эти наносные и, нужно правду сказать, очень плохие качества. Конечно, живи он в другой среде, из него мог бы выйти хороший человек; поэтому он не виновен в тех грубых выходках, которые частенько проявлял. К сожалению, плохие стороны его характера мне вспоминаются чаще, чем хорошие: хороших было очень мало. Вспоминаю его советы и нравоучения: за исключением очень немногих все они заставляют краснеть и горько каяться, что когда-то следовал им. Да, жаль его! Жалко, что своему отцу я не могу подражать. Слава богу, я не могу сказать того же о Вас, мама. У меня есть много хороших воспоминаний о Вас, и за многие советы я Вам благодарен».

Но в последних письмах из тюрьмы Виктор как бы определил рубежи: до определенной дистанции он душа в душу с Варварой Ивановной, а дальше пойдет один, если она не выбросит из головы всякий калязинский мусор, пустые обывательские поговорки, надежду на авось и на господа бога и не сможет понять, что определяет его жизнь сегодня. И Варвара Ивановна не стала колебаться: она дала слово ехать с Виктором, куда выпадет ему судьба, и постараться подчинить свою жизнь его интересам. Так они и договорились...

29 ноября 1899 года генерал Секеринский сообщил, что дознание по делу «калязинского мещанина Виктора Павлова Ногина» окончено.

Чего только не было в этой бумаге жандармского генерала: и несвязный лепет Орлова, и досадные признания Ширяева, и даже «чего изволите» предателя Кузюткина. Но криминал определялся не полной мерой. Были обвинения в том, что приемщик завода Семянникова состоял в постоянных сношениях с рабочими фабрики Паля и деятельно распространял воззвания и запрещенную газету «Рабочее знамя». И больше ничего.

— Пронесло! — решил Виктор. — А узнали бы

про кружок, да про написанные листовки, и про кипяток на фабрике Максвеля — не миновать бы каторги! Не выдали ребята!

Министр юстиции Муравьев предложил подчинить Ногина гласному надзору на три года вне столиц, столичных губерний, университетских городов и местностей фабричного района. Царь с этим согласился.

В одном из последних тюремных писем Виктор — уже с оттенком шутки — сообщал Варваре Ивановне:

«Могу еще поздравить Вас с исполнением одного желания: Вы мне говорили, что Вам очень не хочется, чтобы я жил на фабрике, и что Вы больше не пустите меня работать на фабриках. Ваше желание исполнилось: я теперь не могу больше служить на них и, как мне сказал товарищ прокурора, меня к фабрикам даже близко подпускать не будут...»

Тула, куда он собирался к Андропову, оказалась запретной. Да и потерял всякий смысл этот город: Сергей еще в октябре сбежал к Черткову, в Англию, и о нем назначен был повсеместный розыск. И сбежал Андропов правильно: царь приказал сослать его в административном порядке на восемь лет в Восточную Сибирь.

Виктор хотел проситься в Кострому. Но Ольга Звездочетова переехала туда с больным мужем и вряд ли могла немедленно включиться в работу. Оставался лишь один Сергей Цедербаум, и он звал к себе. Виктор выбрал Полтаву.

Триста шестьдесят три дня провел он в одиночной «квартире» на Шпалерной. И вышел оттуда 14 декабря 1899 года, почти в канун нового века. Питер стал на время чужим, и Виктор расстался с ним легко. Уже вечером — четырнадцатого — он сидел в поезде, и колеса вагона в такт его мыслям отбивали на стыках ритмично: «В Москву! В Москву! В Москву!»

Ему разрешили пробыть на родине десять дней. Варвара Ивановна никак не могла взять в голову, что ее Витенька вот-вот тронется в дальний путь без паспорта.

— Да не горюйте, мама! Вот мой паспорт, — Виктор уже не раз показывал ей казенную бумагу с большой печатью.

Варвара Ивановна надевала очки и перечитывала бумагу вслух. Язык был туманный, и это внушало страх.

«*Проходное свидетельство,* данное С.-Петербургским градоначальником административно высланному из Петербурга Ногину Виктору Павлову на свободный проход до города Полтавы в поверстный срок с тем, чтобы он с этим свидетельством нигде не проживал и не останавливался, кроме ночлегов, встретившихся в пути, и по прибытии в город Полтаву явился в тамошнее полицейское управление и предъявил проходное свидетельство».

— Пешком, што ль, тебе идти? Тут так писано.

— Поездом, мама, поездом. Паспорт хороший: по нему за свой счет ехать можно. А без него гнали бы этапом.

— Страх-то какой!

— Это еще не страх. Вот когда без паспорта и без такой бумаги придется жить, тогда пострашней будет. А может, так и случится...

23 декабря 1899 года административно высланный из Питера Виктор Ногин прибыл в Полтаву: налегке, с маленьким саквояжем, который носят врачи при спешных визитах к своим пациентам.

Сергей Цедербаум так удивился, что протер очки и огляделся с недоумением.

— Вы что это? В гости — и на один день? А чемодан?

— Пропало все в багаже, — махнул рукой Виктор...

ПОДНАДЗОРНЫЙ ИЗ ПОЛТАВЫ

Новый год и новый век встречали в небольшой компании ссыльных. В квартире у бывшей народоволки А. Э. Симиренко собрались люди нескольких поколений. На самом почетном месте восседал бунтарь времен «хождения в народ» и нашумевшего «процесса 193-х» С. А. Жебунев. Рядом смежно располагались его давние друзья — землеволка Горбачевская и лаврист Левенталь, народовольцы разных лет Орлов, Сиценко и Присецкий. А замыкали праздничный стол маленькой кучкой социал-демократы: Флеров и Харченко, Цедербаум и Ногин.

Новый век — рубеж эпохи, как обойтись в такой час без итогов? И хозяйка, провозгласив новогодний тост, предложила каждому рассказать о своем времени и о себе.

Стариков не надо было упрашивать: воспоминания — их стихия. И завели они длинные речи.

Виктор о многом услыхал в ту ночь. И то, о чем когда-то говорил украдкой щуплый телеграфист Шуклин, предстало вдруг в живых образах: и каторга, и побеги, и бомбы, и равелины Петропавловской крепости, и казнь героев.

Всех лучше говорил Жебунев — о великолепной любви Софьи Перовской и Андрея Желябова, кото-

рые проходили вместе с ним по «процессу 193-х», и о том, как Желябов написал из тюрьмы на Шпалерной прокурору судебной палаты 2 марта 1881 года:

«...Если Рысакова намерены казнить, было бы вопиющей несправедливостью сохранить жизнь мне, многократно покушавшемуся на жизнь Александра II и не принявшему физического участия в умерщвлении его лишь по глупой случайности».

Жебунев рассказал с большим чувством и о военном топографе Ипполите Мышкине — герое «процесса 193-х»: как он создавал подпольную типографию и печатал нелегальную литературу, как пытался освободить Николая Гавриловича Чернышевского из вилюйской ссылки, как произнес две речи против самодержавия — на процессе и по пути на каторгу — и как мужественно встретил смерть: его расстреляли по приговору военного суда за оскорбление смотрителя Шлиссельбургской крепости.

— Э, не будет таких людей на Руси! — махнул рукой Жебунев.

— А откуда им взяться? — подлил жару Присецкий. — Теперешние не в счет, они отказались от славного наследства!

Виктор долго крепился: он не хотел показаться дерзким. А подмывало сказать: старики любовались прошлым, но без всякой надежды глядели в будущее, словно отошла вместе с ними в небытие самая героическая полоса, а впереди ничего отрадного. Все они делали ставку на мужика, на крестьянскую общину, на самобытную стать патриархальной Руси и на отдельных беззаветных героев, которые могли бросить бомбу в монарха и его сатрапов. А в революционной их романтике, в их «социализме» никак не находилось места для рабочего класса — самой крупной общественной силы, с большим опытом стачечной борьбы. Да и о фабрикантах они рассуждали, как дети: с чужих слов, понаслышке.

Но капитализм уже напористо шагал по России не один год. Фон-Мекки наживали миллионы на

строительстве железных дорог, Рябушинские — на сахаре, Манташевы — на нефти, Мальцевы — на паровозах и станках, Путиловы — на кораблях и пушках, Морозовы — на текстиле. И замелькали имена Нобеля и Ротшильда, Дизеля и Юза, Эйнема и Бормана. Потоком хлынули капиталы из-за рубежа: крупные фирмы гнались за высокой прибылью при дешевых рабочих руках. А руки эти тянулись и тянулись к фабричным воротам из нищей русской деревни.

«Слепцы, слепцы! — думал о стариках Виктор. — Ну, скажи, даже газет не читают. Неужто им невдомек, что деревня у нас самая дикая, а капитал едва ли не самый передовой?»

Старики же не унимались. И выходило так, что не добирались они даже до тех рубежей, куда докатились Кускова и Прокопович со своим пресловутым «Кредо».

В том «Кредо» рабочие не замалчивались, но им не разрешалось помышлять о самостоятельной политической партии: мол, партия — это дело либералов, а пролетариям достаточно стачек! А старики и о партии социал-демократов толком не слыхали: пошехонцы, честное слово, иначе и не скажешь! И о «Протесте российских социал-демократов», который писал Ульянов со своими друзьями в ссылке, не ведают. А ведь там куда как ясно сказано: знамя классового движения рабочих — теория революционного марксизма.

— Я не могу молчать! — Виктор встал, еще не зная, как обратиться к старикам, и сказал дерзко: — Господа!

Это была его первая публичная речь. Кривить душой он не умел, и получилось грубовато. Он рассказал о грандиозных стачках в Питере и о смятении в рядах у Паля, Максвеля и Пирамидова. Он пробурчал о политических мертвецах, которые не понимают, что на арену вышел новый, революционный класс.

— Сижу я, слушаю вас, и, знаете, меня зло берет: да нешто можно жить вот так, в мире иллю-

зий? Россия кипит, всюду идет борьба — и с фабрикантами и с царем. И эту борьбу направляют социал-демократы. Нам принадлежит завтрашний день. Двадцатый век наш, как девятнадцатый был вашим! Плачьте, хнычьте, а мы пойдем к народу, до которого вы добраться не сумели. И вместе с этим народом осуществим задачу той самой «Народной воли», от традиций которой мы будто бы отказались, — свергнем самодержавие!

Старики были придавлены этой неожиданной и страстной речью молодого рабочего в пенсне. Однако скоро они зашумели, и оправдываясь и возражая.

— Ну, я пойду, — сказал Виктор. — Тут вам все изложено. Подумайте, в другой раз доспорим.

Сергей Цедербаум догнал его на улице:

— Зачем вы их так, Виктор Павлович? Они же хорошие люди.

— Удивляюсь я вам! Люди есть правильные и — значит — свои, и есть люди неправильные, то есть чужие. Хороши они или плохи — это иной вопрос. Я так понимаю. И не заставляйте меня подпевать чужим — даже хорошим людям, — не выйдет, Сергей Осипович!.. Конечно, горячиться не стоило, и ценить этих стариков надо... за прошлое: оно было красивым. Но ведь нам-то не прошлым жить!

Они добрались до дома Ямпольского на Кузнецкой улице, где снимали комнату, улеглись в одну постель — у Виктора не было даже постельного белья — и проспорили до рассвета... о хорошем тоне, об отношении к людям, о категориях морали и этики. Разрыва или зримого отчуждения не вышло, но Виктор убедился в том, что Сергей куда терпимее и мягче судит о тех вещах, где совершенно необходима строгая классовая ясность.

Дружба держалась по-прежнему, но глубокой личной симпатии не возникало. Виктор вообще был подчеркнуто сдержан в проявлении чувств, и Сергей не был склонен к интимностям и излияниям. И все же они дополняли друг друга: Сергей ценил в Викторе и твердость убеждений, и ясность цели, и нравственную чистоту; Виктору нравилась большая

деловитость Сергея, великая жадность к знаниям, к книге и умеренная молчаливость.

После новогодней ночи они спорили почти по всякому поводу, однако Сергею — большому книжнику и «талмудисту» — сбить Виктора не удавалось. Его суждения были точнее и определеннее. И, составив себе твердое мнение, он никак не поддавался доводам противной стороны. И не оставлял спокойного тона, хотя Сергей прибегал и к резкостям.

— Да как же разозлить вас, бирюк калязинский? — Сергей метался по комнате с раскрытой книгой. — Меня же бесит ваше спокойствие.

— Криком изба не рубится, шумом дело не спорится, любили говорить у нас в Калязине, — посмеивался Виктор. — А с друзьями я и вовсе драться не обучен!

В Сергее он видел друга, потому и говорил так. Но первым другом в его сердце оставался Андропов. И когда Ольга Звездочетова сообщила его лондонский адрес, Виктор отправил из Полтавы нежное дружеское письмо:

«Наконец-то я могу написать Вам, мой дорогой и самый лучший человек из всех известных мне людей. Я был освобожден 14 декабря прошлого года. Живу теперь в Полтаве. После того как мы поговорили с Вами, и после тех дней, в которые Вас не было видно, до тех пор, пока я не узнал, что случилось с Вами, я страшно мучился: я боялся, что с Вами случилось какое-либо несчастье. За год, прошедший после последней нашей встречи, я много переменился: год «там» принес мне большую пользу, я много прочитал и понял, получил ясное представление о вещах, интересовавших меня, также научился ценить людей. О многом мне хотелось поговорить с Вами; решение многих вопросов я откладывал до встречи с Вами, так как эти вопросы были вопросами жизни, и решить их хорошо с таким человеком, как Вы. Но увидимся ли мы? Обо всем, что меня интересовало в это время, напишу после, а теперь поговорим о самом важном вопросе. Прислушиваясь к известиям, приглядываясь к событиям и прочиты-

вая известную литературу, можно видеть, что жизнь на Руси пошла быстрей и что борьба направляется на главного врага, и если не масса стала сознательнее, то многие лица увидали, что им следует делать. Но все-таки в нужном направлении сделано мало, и для борьбы нужны силы, и, следовательно, стыдно теперь сидеть сложа руки и «выжидать», забиться в какой-нибудь медвежий угол и исполнять «волю предержащих». Хочется жить и работать. Нам, побывавшим в «ежовых рукавицах», тем более не следует записываться в инвалиды, как людям более опытным. Так вот, мой хороший, дорогой человек, что же мне делать, принимая во внимание все то, о чем я написал? Ответ на этот вопрос у меня есть, и я его напишу после, а теперь попрошу Вас ответить мне на него. Пишите, пожалуйста, также о том, как Вы поживаете, как здоровье, самочувствие. Напишите о том, что Вас интересует теперь, довольны ли Вы своим положением и можно ли надеяться на свидание с Вами? Я здесь материально устроился ничего себе: живые люди здесь тоже есть. Живу вместе с одним из наших общих знакомых. Сообщаю печальную новость: наш «милый ткач» опять ушибся. Желаю вам всего хорошего, хороших вестей, бодрого духа. Позволю себе поцеловать вас заочно.

Полтава, 13.I.1900».

Между строк Виктор спрашивал: не отрекся ли Андропов от той большой цели, которая созрела у них еще в тюрьме? «Общим знакомым» был Сергей Цедербаум: через врача С. А. Грюнера он устроил Виктора на бойню, сам же давал уроки в интеллигентских семьях тихой, провинциальной Полтавы. Ногин работал микроскопистом: разыскивал трихины в свиных тушах, а по вечерам читал книги по анатомии животных. В субботние вечера был у него небольшой кружок в казарме работниц табачной фабрики. А «милый ткач» — это Александр Козлов, старый дружок по Невской заставе. Определили его под надзором полиции в деревню, на родину, но он не уехал, затерялся в Питере на неле-

гальном положении, восстановил связи с палевцами и в декабре 1899 года снова попал на Шпалерную...

По двум кардинальным вопросам Ногин и Цедербаум не спорили — это об Эдуарде Бернштейне, который так откровенно предпринял ревизию марксизма, и о постановке дела «Рабочего знамени» в масштабе всей России.

Бернштейн был прочитан на немецком языке, препарирован острым скальпелем и проклят по всем статьям. А его лозунг для рабочего движения — «конечная цель — ничто, движение — все» — подхлестнул двух полтавских ссыльных с Кузнецкой улицы немедленно начать на свой страх и риск большое и ответственное дело: они решили восстановить «Рабочее знамя» во многих пунктах страны, чтобы оно сыграло роль и Центрального Комитета и центрального органа РСДРП. И Сергей и Виктор понимали, что партийную работу в стране надо ставить наново: минский съезд партии лишь огласил манифест, участники съезда арестованы, действенных организаций социал-демократов слишком мало, и работают они разрозненно. Объединить их можно лишь с помощью массовой политической газеты или журнала.

Полтавчане не имели понятия, что аналогичной работой занят Владимир Ильич Ульянов. Он выехал из Шушенского в последних числах января 1900 года и побывал в Уфе, в Москве и в Питере. В столице он встречался нелегально с Верой Ивановной Засулич и предлагал группе «Освобождение труда» участвовать в издании «Искры» за рубежом.

В те дни, когда Ульянов по делам будущей «Искры» приехал в Псков, Виктор и Сергей приняли важное для себя решение: Ногин останется в Полтаве и создаст два новых кружка — на железной дороге и у ремесленников города; Цедербаум самовольно отлучится в Тулу к О. А. Звездочетовой, а затем в Питер.

Так и сделали.

Сергей уехал тайком. Виктор создал два новых кружка и теперь трижды в неделю пробирался задворками то к ремесленникам, то к рабочим депо,

то к табачницам. И снова, как в Питере, появилось ощущение тревоги и радости. Правда, народ был не такой боевой, как за Невской заставой, однако от пламенных слов «Манифеста Коммунистической партии» загорались глаза у каждого.

Но не было под рукой «Капитала». А хотелось прочитать слушателям то место, где сказано Марксом: «Бьет час капиталистической собственности. Экспроприаторов экспроприируют!» И он решил добиться возвращения книги, которую отобрали жандармы при обыске 16 декабря 1898 года.

Директору департамента полиции С. Э. Зволянскому было подано прошение — вернуть книгу, задержанную по той причине, будто она изъята из обращения. «По наведенным мною справкам, — писал Виктор, — оказывается, что это неверно. 1-й том «Капитала» не изъят. Поэтому прошу Ваше превосходительство выслать мне мою книгу по вышенаписанному адресу».

Через две недели пришла резолюция Зволянского: «Объявить Ногину, что книга эта приобщена к делу в качестве вещественного доказательства и поэтому возвращению не подлежит».

Виктор, как смог, пересказывал основные мысли первого тома и готовил кружковцев к выступлению 1 Мая.

Одновременно он нашел способ пересылать письма Сергею Андропову с оказией, минуя цензуру, через сотрудника казенной палаты Морщакова. Андропов тоже задумывал издание журнала в Лондоне. Но Виктору не все было ясно в планах лондонского друга, и он пытался изложить ему свое «кредо».

«Вы спрашиваете, мой дорогой, самый лучший друг, как я пришел к моему новому выводу. Все время до тюрьмы, в тюрьме и теперь я считал необходимым бороться не только с капиталистами, но и с правительством. До знакомства с Вами и до близкого знакомства с направлением русских социал-демократов я всегда представлял себе *необходимой* борьбу чисто политическую, основанную на

экоиомической почве. Когда я стал почитывать «Рабочую мысль», то был страшно удивлеи ее иаправлением. Об этом я говорил Вам и до ареста. Неужели Вы забыли это, или, может быть, считаете моим новым выводом то, что я думаю удрать? Но вспомиите тот памятный вечер, когда Вы были у меия и мы говорили о желаиии работать после. Может быть, Вы подумали, что я намеревался работать, отбыв ссылку и исполиив все предписаиия начальства? Сознаюсь, что у меня тогда не было ясиого представлеиия о том, каким образом и где я буду работать, но я решил тогда не сходить с избраниой дороги. После тюрьмы, после всех событий, бывших во время стачки, и после, словом, после того, как я увидал воочию все подлости наших управителей, я крепче убедился в необходимости работать. Теперь, когда я живу в Полтаве, я вижу, что жизнь здесь слишком мелочна и не дает надежды на возможность принести какую-либо пользу. Но, кроме Полтавы, мне предстоит житье в ссылке, где будет еще хуже и гаже! О жизни там я ие могу без ужаса подумать. Мне кажется, что похороиить себя в какой-нибудь трущобе иа три-четыре года в то время, как кругом кипит борьба и когда работать для ниспровержения иегодяев есть обязанность каждого человека, — по меньшей мере подло. И вот я решил бежать. Теперь мие важно знать все условия нелегальиого житья и то, как его можио устроить, поэтому я теперь разузнаю все это. Мне думается, что, если кто-либо решил идти в дело, порвав все связи с легальным житьем, должен работать в каком-либо большом деле. Мие думается, что я ие удовлетворюсь одиой работой в каком-либо промышленном центре, и я, сидя еще в тюрьме, решил, что посвящу себя на работу в таком журнале, о котором пишете Вы. Но должен Вам сказать, что и для меия, как и для Сергея Осиповича, неясна программа Вашего будущего журнала. Журнал общего характера с большей революционной окраской, объясняющий массам как их экоиомические нужды, так и политическое бесправие, для России иеобходим. Вы пишете, что желательио придать ра-

бочему движению окраску конца 70-х годов. Понимаете ли Вы под этим и терроризм или нет? Мне думается, что рабочее движение с каждым годом будет принимать все более и более ярко-революционную окраску, особенно после того, как рабочие выступят на путь демонстраций и манифестаций, возможность которых вероятна в ближайшем будущем. Тогда частенько будут происходить стычки с полицией, и масса будет, пожалуй, понемногу начинать вести вооруженную борьбу. Следовательно, мы должны развивать в массе потребность к отстаиванию своих политических прав. Но если мы вспомним все технические усовершенствования военного дела за последнее столетие, то увидим, что никакое вооружение массы не принесет большой пользы и что надеяться на внезапный взрыв и на хороший конец его трудно. Вероятнее всего, что правительство будет вынуждено дать какую-нибудь плохонькую конституцию после ряда рабочих демонстраций, манифестаций и стычек политического характера и глухой оппозиции других классов. Создавать революционные организации и агитировать среди рабочих в пользу достижения политических прав необходимо, и я всей душой рад отдаться такому делу. Отвечаю на Ваш второй вопрос, как я Вас понял: если мне удастся удрать в марте или в апреле, то, прежде чем начать работу, я, может быть, приеду в Англию. Как бы я желал сделать жизнь Вам за границей более лучшей! Я вполне с Вами согласен, что, прежде чем похоронить себя, надо пожить вольной жизнью. Но жить всегда за границей, конечно, я не намерен. О том, как лучше работать — в одиночку или сообща с друзьями, — и спора быть не может. Для меня было всегда самым сильным желанием работать с Вами, и я надеюсь, что это желание исполнится.

Пишите же, дорогой. В следующем письме напишу Вам о том, что я думаю о деле среди крестьян, а сейчас тороплюсь кончить.

Поздравляю с победой! На днях издан циркуляр, дополняющий закон 2 июня 1897 года: в нем говорится, что к числу праздников, установленных зако-

ном, прибавляется 2 февраля, 14 сентября, 21 ноября...

До свидания!

30 января 1900...»

Сергей Цедербаум вернулся в подавленном настроении: ни у Ольги Звездочетовой, ни в Питере у маленькой группы рабочезнаменцев не было ни сил, ни средств, чтобы вести работу в масштабе всей страны. Правда, он привез пачку нелегальной литературы, и работа в кружках оживилась. Но литературу дал М. И. Гурович. А он оказался провокатором.

Навестили Ногина и Цедербаума екатеринославские подпольщики А. Мартынов и М. Душкан.

О Душкане полтавцы понятия не имели. А Мартынов-Пиккер считался известной персоной. Он сыграл активную роль в студенческой демонстрации на Волковом кладбище в Петербурге в 1886 году, когда отмечалась двадцать пятая годовщина смерти Добролюбова. Тогда этого студента выслали на родину в Пинск. А позднее он проявил себя в Одессе и за пропаганду среди рабочих отбыл десять лет ссылки в Восточной Сибири.

Человек бывалый и опытом умудренный, он оценивал Ногина и Цедербаума как приготовишек и закончил разговор с ними тоном покровителя:

— Итак, молодые люди, вы будете писать для «Южного рабочего». Надеюсь, вам лестно печатать свои статейки в таком нелегальном органе?

— Ну, мы еще поглядим, — сказал Виктор и понимающе перехватил взгляд Сергея. — Номер первый и второй не совсем в нашем плане.

— Не ожидал! — бросил Мартынов. На том и расстались.

Но не успели полтавчане оглядеться, как в Екатеринослав нагрянул Зубатов со своей московской охранкой. Он прошел по городу, как Мамай, и далеко не все сотрудники газеты успели скрыться. Непоправимый удар нанесла охранка в Кременчуге: она разгромила типографию газеты, которую с блеском поставил полтавский поднадзорный И. Виленский.

День за днем рушились все ближайшие планы. А где-то вдали маячили две тернистые дороги — либо подполье и работа в крупном индустриальном центре, либо первый побег за границу. Однако по любой дороге можно было идти только с чужим, но хорошим «видом» на жительство.

Пока «вида» не было, написали Мартову о своих поисках и сомнениях и пригласили его сотрудничать в «Рабочем знамени», — Андропов дал заверение, что очередной номер выйдет в Лондоне.

6 апреля Виктор самовольно уехал в Калязин: Варвара Ивановна присмотрела ему чиновника, который за десять рублей согласился устроить приличный паспорт. Зволянскому полетело донесение: поднадзорный Ногин сбежал, есть слух, что его надо искать в Питере. Но он сам вернулся через десять дней с «видом» на имя калязинского мещанина Василия Петровича Новоселова.

Просто чудом не попал в руки полиции этот паспорт. Околоточный и понятой явились с обыском, едва Виктор пришел с вокзала домой и, словно по наитию, захлопнул щеколду на входной двери. Пока в дверь барабанили да Сергей препирался на крыльце с начальством, нашлось время выскочить во двор и сунуть документ в большую поленницу. И когда начался обыск, Виктор уже рубил дрова для хозяйской печки.

— Вот вам еще один урок, Сергей Осипович, — сказал он, когда беда миновала. — Прежде мы только по сторонам поглядывали, «хвоста» остерегались да научились приходить на свидания точно в срок. А теперь постигли еще одну уловку: куда ни явимся, сейчас же дверь на засов! Ведь пропал бы мой Новоселов, если б сунулась эта парочка в раскрытую дверь! Хитрая это механика — нелегальное житье...

Время шло, в Полтаве ждали ответа от Мартова. А Андропов в Лондоне завязал переписку с Плехановым и Аксельродом. Он рассуждал так: и «Освобождение труда» и «Рабочее знамя» — близнецы и братья. И настало время объединить их силы революционного марксизма в одно целое. Он даже согласился,

чтоб «Рабочее знамя» играло лишь подсобную роль: оно бы связывало швейцарский центр с периферийными группами в России. Не возражал и Плеханов именно так расставить силы, но при одном условии: если Андропов и его друзья будут иметь должную опору в городах Российской империи.

24 марта 1900 года Андропов написал о своих переговорах в Питер, копию письма отправил Ногину в Полтаву:

«У меня все время здесь была любимая мечта, которой я жил все время. Я мечтал, что в наше смутное время, когда русские социал-демократы страшно запутались в бесконечных пререканиях, вы, молодая петербургская организация, поможете распутать эту путаницу и своей ясной программой будете содействовать объединению других партий под одним знаменем. Я мечтал, что мы дадим действительно новое своей деятельностью и ясно наметим путь, по которому надо вести русский пролетариат...

Я возлагал все свои надежды на группу «Освобождение труда», т. е. на швейцарских товарищей. Я видел, какое значение они придали переживаемому ныне моменту, и надеялся, что с их помощью нам удастся выполнить очень многое...

Я понял ясно, что мы друг для друга страшно нужны. Группа «Освобождение труда» решила посвятить свои силы выработке программы, чтобы призвать под свое знамя русские партии для дружной борьбы. Действовать из-за границы, не опираясь ни на одну из существующих организаций в России, — чрезвычайно трудно. Поэтому они приветствовали наше предложение. Нам же чрезвычайно важно было бы идти об руку с группой «Освобождение труда», чтобы вместе с ними поднять это новое революционное знамя».

Можно полагать, что только из групповых соображений питерцы выставили условия: они готовы объединиться, но пусть Плеханов и его товарищи издают свои брошюры и книги под фирмой «Рабочего знамени». «Жорж великолепный» — как в шутку именовала Плеханова Вера Засулич — наотрез отказался.

На этом переписка между туманным Альбионом и солнечной Швейцарией прекратилась.

Плеханов был весьма самолюбив и приоритет своей группы оспаривать не позволял. Но дело, конечно, не в одной пресловутой «фирме». Ведь именно в это время приехал в Швейцарию Александр Николаевич Потресов. А он встречался в Пскове с Владимиром Ильичем Ульяновым и принял очень важное поручение: установить связь с Плехановым и Аксельродом и готовить конспиративное издание «Искры» в Германии. Георгий Валентинович Плеханов предпочел выступать не с группой Андропова — Ногина — Цедербаума, а с группой Ульянова, которого он считал блестящим публицистом партии и прекрасным организатором. «Конечно, Ульянов ершист, но голова светлая, — рассуждал Плеханов. — Лучше бы общаться с человеком мягким и уступчивым, как «папахен» Аксельрод, и питать к нему личную симпатию. Что еще выйдет с этим Ульяновым?»

Владимир Ильич, как и Сергей с Виктором, дожидался Мартова. На исходе апреля от Юлия Осиповича пришло письмо в Полтаву, которое обескуражило двух друзей: не торопитесь со своим «предприятием», ждите моего приезда; навертывается весьма интересная работа, так как за границей затевается аналогичное «предприятие», но с более широкими целями и солидно обставленное; зарубите себе на носу: незачем дробить силы и заниматься кустарничеством!

Следом за письмом приехал и сам Юлий Осипович и поселился с младшим братом и Виктором Ногиным на Екатеринославской улице, в доме № 25, где ему была приготовлена отдельная комната. И все вдруг завертелось вокруг него. Зачастили местные «экономисты» — сестры Неустроевы, Сизарева и Гарднер. Спорили, кричали, но уходили побежденными. Заглядывали старики народники и народовольцы — и удивлялись: этот ссыльный из Туруханского края слишком много знает о делах в Питере, в Москве и в других городах.

Впервые Виктор видел человека, который, как ему



Павел и Виктор Ногины 1899 г.



Владимир Ильич Ленин.



Надежда Константиновна Крупская.

Ольга Павловна Ермакова (Ногина). 1903 г.





Николай Александрович Алексеев. 1901 г.



Ногин с группой ссыльных в Назарове. 1902 г.
Стоит крайний слева — С. В. Андропов.

**Члены
женевской
группы
большевиков
и
Н. Э. Бауман**



В. Д. Бонч-Бруевич



О. Б. Протопопова
(Лепешинская).



В. М. Величкина
(Бонч-Бруевич).



М. М. Ольминский
(Александров, Галерка).

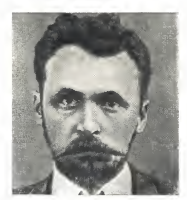


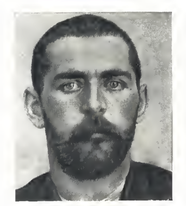
Н. Э. Бауман

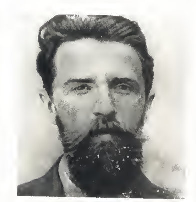

П. Н. Лепешинский (Олин).

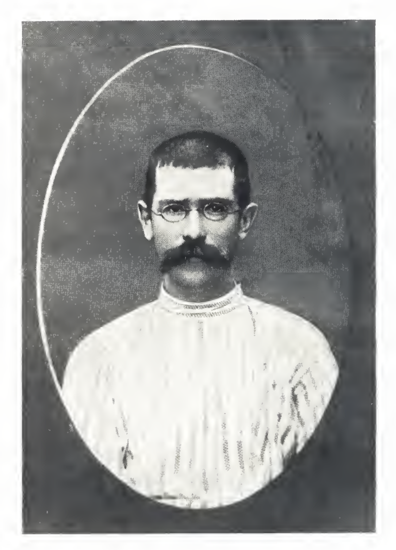

А. В. Луначарский.


С. И. Гусев (Драбкин).

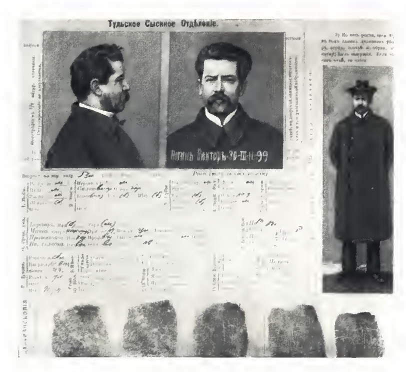

П. А. Красиков (Павлович)


Ф. В. Ленгник (Курц).


В В Воровский (Орловский)



В. П. Ногин в ломжинской тюрьме. 1904 г.


Тульское Сыскное Отдѣленіе.

Карточка тульского сыскного отделения 1911 г.



В. П. Ногин среди ссыльных в Якутске. 1914 г.



В. П. Ногин с сыном Владимиром по возвращении из верхоянской ссылки. Саратов, 1914 г.



В. П. Ногин.



В. П. Ногин выступает на митинге. Москва, 1917 г.



В. П. Ногин и Л. Б. Красин среди членов первой торговой делегации. 1920 г



В. П. Ногин и Л. Б. Красин на пароходе по пути в Англию.
1920 г.



В. П. Ногин среди делегатов V съезда уполномоченных Всероссийского текстильного синдиката 1923 г.

казалось, соединял в себе и возведенную в квадрат деловитость Сергея и бесконечно умноженные свои познания марксистской теории. И просто было странно, что в этом бородатом, близоруком и щуплом человеке хранится такой запас энергии.

Мартов торопился. В те свободные минуты — и днем и ночью, — когда он отрывался от своих записей неряшливым, нервным почерком, друзья липли к нему, как мухи к сладостям, и, сгорбившись, он ходил по мягким половикам горницы и тонкими длинными пальцами пианиста то поправлял очки, то теребил русую бороду, вводил их в грандиозный план нового дела, о котором списался давно с Ульяновым.

Этому делу отдавали все силы лучшие социалисты России. Сплоченная группа единомышленников, революционных социал-демократов, создает общероссийскую газету. Она производит идейную размежевку, отметает все оппортунистическое, все отклоняющееся от чистой линии революционного марксизма. Одновременно она оказывает содействие местным организациям, снабжает их литературой, налаживает объединенно выступления против царя и капитала. Таким образом, газета станет организующим центром, а вокруг него сплотятся все разрозненные силы и группы, в том числе и «Рабочее знамя». Для распространения газеты и литературы потребуются средства и транспорт. И информация: без тесной связи с Россией новая организация жить не сможет.

— Завтра я уезжаю на совещание с главным организатором «предприятия», — говорил Мартов, — а вам даю конкретное поручение: превращайте ваши полтавские кружки в группу наших единомышленников.

Друзья загорелись новым делом. Они провели маевку на берегу Ворсклы: вечером собралось человек двадцать, в основном кружковцы Виктора. Играла для отвода глаз гармоника, и звучала песня, когда замолкали ораторы. Договорились о сборе средств для газеты, и Сергея определили казначеем. Так в Полтаве у Ногина и Цедербаума был создан

первый опорный пункт газеты. А через месяц такой же пункт создал в Пскове Пантелеймон Лепешинский.

И словно в подтверждение основных «искровских» мыслей о политическом и революционном характере рабочего движения в новом столетии выступили харьковчане на Конной площади. Это было выдающимся событием не только на юге России: рабочие объявили майскую забастовку и прошли по улицам с красными знаменами. А на них — лозунги: восьмичасовой рабочий день и политическая свобода!

В первых числах июня Сергея и Виктора взбудоражил чей-то грубый голос у входной двери, они решили, что снова идут с обыском. Но сейчас же послышался спокойный баритон Мартова:

— Не пугайтесь, мальчики, этот джентльмен из охранки прибыл со мной. Я позволил себе роскошь и доставил его в Полтаву на свой счет. Надеюсь, вы удостоверились, что я дома, — обратился Юлий Осипович к конвойному. — А засим прощайте! Не говорю — до свидания: это было бы просто лицемерием!

— Чудно, ей-богу, чудно! — сказал страж, откозырял и вышел.

— Больше суток я орудовал стамеской в его деревянных мозгах, — усмехнулся Мартов. — Не знаю, что он запомнил, но бесследно пройти это не могло... Ставьте самовар, мальчики, я расскажу вам новеллу... о конспирации.

Это был живой рассказ о встрече с Ульяновым. Мартов очень ценил своего друга по «Союзу борьбы»: тот был в его представлении прообразом подлинного марксиста — и теоретик и практик, человек конденсированной воли, не сгорающий в пламени мимолетного увлечения, деловой — как хозяин, и страшно определенный — как древний пророк.

— Как и было условлено, мы встретились на берегах реки Великой, под древними стенами Пскова. И обо всем договорились. На почтовом листке, где бакалейщик выставил нам счет, Владимир Ильич набросал химическое письмо Плеханову: оно должно было отправиться вслед за Старовером — это клич-

ка Потресова. Потом мы загрузили нелегальной литературой довольно большую фамильную корзину Ульяновых и решили навестить Питер: в Пскове все было устроено, и даже найдена должность статистика для Пантелеймона Лепешинского — ему надлежит быть опорным и пересыльным пунктом «Искры». Мы отлично ехали: в майских лесах распевали соловьи, и настроение было приподнятое. Но я спросил: «Не стоит ли нам замести следы? Не исключено, что на Варшавском вокзале нас мило заключат в объятия столичные охранники». Ульянов заметил, что придумано недурно и хорошо бы пересесть в Гатчине на другой поезд, который приходит на Царскосельский вокзал. Пересели. Но как-то не подумали, что придется ехать через Царское Село. А там — на беду — оказался Николай Второй, и слежка была поставлена так, что под каждым кустом сидел охранник. И мы — два бородатых господина неопределенного вида, довольно часто бросающие взгляды на заветную корзину, — конечно, не остались без надзора. К счастью, корзину я успел наспех сбыть в надежные руки, и день незаметно прошел в хлопотах и беготне по городу. Ночевать отправились в Казачий переулок: там держала небольшую квартиру мать нашего друга Малченко. Утром же четыре дюжих молодца крепко схватили нас за локти на улице, сунули в пролетку и доставили к Пирамидову. А у него в каталажке вонь, клопы, вши, шум, гам, ругань! И каждую ночь возле камеры филеры и городовые режутся в «шмен-де-фер» и в «очко». На первом же допросе Пирамидов рассмеялся нам в лицо: «Перегнули, господа конспираторы! И какой черт дернул вас делать крюк на Царское Село, где у меня охранники, как сельди в бочке!» Владимир Ильич очень опасался, что в охранке догадаются проявить письмо к Плеханову, это была бы серьезная улика. Да и денег у него для «Искры» было больше тысячи рублей. Но все закончилось удачно, только меня — в Полтаву, а Ульянова — в Подольск: это за самовольный въезд в столицу. И заставили нас выложить деньги из кармана на «конвоиров в статском платье».

Мартов намеревался остаться в Полтаве до конца года, чтоб завязать связи с Одессой, Харьковом и Екатеринославом. Сергей и Виктор передали ему все свои явки и стали собираться за границу. Но неожиданно пришел приговор по делу «О преступном сообществе», присвоившем себе наименование «Группа «Рабочего знамени». Ногину и Цедербауму назначалось по три года гласного надзора в Полтаве, а Сергею — дополнительно — три месяца отсидки в тюрьме за долгую самовольную отлучку и недозволенный визит в Санкт-Петербург. И его немедленно отвели в тюрьму.

Виктор не мог бросить товарища. Он предложил Мартову попроситься на прием к вице-губернатору Балясному, чтоб Сергея поместили в хорошую камеру и разрешили свидания хоть раз в неделю.

— Ноги не идут! — отмахивался Мартов. — Этот Балясный — отъявленный негодяй: дружок великого князя Сергея Александровича и монархист больше, чем сам Николай Романов. А к тому же ёрник, пьяница и шулер! Мне даже противно видеть его сытую, холеную рожу.

— Попробуем, Юлий Осипович! — настаивал Виктор.

Балясный принял, согласился дать большую одиночку, где до Сергея выжидали срок два десятка уголовников, разрешил свидание и вдруг огорошил:

— Уступаю вашей просьбе только потому, что означенный Цедербаум прямо из тюрьмы отправится на призыв.

— Позвольте, ваше превосходительство, но ведь он же почти слепой. Какой же из него солдат? — Мартов не мог скрыть удивления.

— Он пойдет в мою конвойную команду, господин Цедербаум, и будет служить в Полтаве. А потеряет очки, так вы ему купите новые, хе-хе! Вопрос о нем решен. Этот господин, — Балясный указал на Виктора, — тоже не отличается похвальным зрением. Но и его придется забрить осенью. Армия — отличная школа верноподданнического воспитания!

Глядишь, и отстанут ваши молодые друзья от вредных идей.

Дома Мартов сказал:

— Вам придется бежать без Сергея. Я постараюсь добыть паспорт, брат догонит вас в Германии. Или в Швейцарии, у Аксельрода: я дам письмо.

Виктор задержался на три недели. Он придумал удачный ход: просить перевода в Смоленск. Но туда не являться, а лишь замести следы этим переводом и ехать на Вильно, где у Мартова был верный адрес для перехода границы.

Пока пришло разрешение на отъезд из Полтавы, тюрьму забили рабочими из Екатеринослава. Опасных преступников рассадили по одиночкам, на окна поставили деревянные ящики. Свиданий и прогулок не разрешали и всех лишили даже табачного довольствия.

Алфимов, Мазанов, Чугунов и Петровский сидели неподалеку от Сергея. Он нашел к ним доступ: товарищи держались стойко, на допросах все отрицали начисто. Но Григорий Петровский очень переживал из-за жены и ребенка: они остались без куска хлеба. Из первых «искровских» денег Виктор отправил им десять рублей.

Екатеринославцы объявили голодовку. С легкой руки Мартова, Ногина и Флерова пополз по городу слух, что в тюрьме издеваются над политическими заключенными. И кружковцы Виктора — полтавские железнодорожники — послали к начальнику тюрьмы представительную делегацию.

Голодовка прошла успешно: через пять дней сняли ящики с окон, вывели людей на прогулку. А тюремное начальство даже перестаралось: всем екатеринославцам выдало по чайнику с черным кофе — для подкрепления сил — и по большой пачке табаку. Это была победа, и Виктор мог гордиться ею.

Калязинский мещанин Василий Петрович Новоселов не объявился в Смоленске, как поднадзорный Виктор Ногин. Он миновал город на Днепре, сделал остановку в Вильно. А потом просидел трое суток в телеге еврейского балагулы, совершил путешествие

через Ковно в Мариамполь, Вильковишки и Вержболово. Там был сдан на руки щетинщикам, которые имели право раз в неделю переходить границу. И на рассвете 31 августа 1900 года, вымокший в болоте, изъеденный комарами Виктор оказался уже на землях Восточной Пруссии.

На другой день он был в Кенигсберге и отправил в Лондон письмо к Андропову:

«Кенигсберг, 1.IX.1900. Милый и дорогой Сергей Васильевич! Вчера я перешел границу и теперь еду в Цюрих. Я хотел сперва ехать прямо к Вам, в Англию, но перед отъездом узнал, что Вы в сентябре хотите уехать из Англии. Поэтому я решил сперва заехать в Швейцарию и узнать, как можно там устроиться, тем более что немецкий язык мне хотя немного, но знаком, а английский совсем нет. Пишите скорее мне о том, долго ли Вы проживете в Англии, могу ли я найти там какую-либо работу, или, может быть, Вы найдете более удобным приехать ко мне в Цюрих.

Переход мой совершился очень благополучно, без одной неприятности.

Так как я переменил имя для заграницы, то пишите так: Цюрих, до востребования, Василию Петровичу Новоселову.

Мне страшно хочется Вас видеть. Итак, до свидания. Целую крепко. *Ваш Виктор*».

Цюрих был выбран с умыслом. Там жил П. Б. Аксельрод, на которого Виктор хотел опереться в первые недели заграничной жизни. 16 июля в Швейцарию уехал Ульянов, и его можно было встретить у Аксельрода. В Цюрихе мыслилась встреча с Сергеем Цедербаумом, как только он удерет из конвойной команды Балясного. Да и жить в Швейцарии было куда проще и легче, чем в других странах Европы.

Немцы требовали заграничный паспорт, выданный губернатором. Затем они вызывали в полицейский участок заполнить длинную анкету и очень интересовались, есть ли у эмигранта наличные деньги или текущий счет в банке. Французы и бельгийцы анкетой не запугивали, но требовали показать деньги

и предъявить трех поручителей. Англичане не заглядывали в кошелек, им было достаточно, что у беглеца из России есть хорошая профессия и, значит, он не будет торговать спичками на улицах и выклянчивать пенсы у подданных английской королевы. А в Швейцарии порядки были отменные: заяви, что ты политический эмигрант без документов. А если найдутся два свидетеля, что ты не выдаешь себя за другое лицо, живи сколько хочешь!

4 сентября 1900 года Виктор Ногин сошел с поезда в Цюрихе...

ЖИЗНЬ ЭМИГРАНТА ВАСИЛИЯ НОВОСЕЛОВА

Был бы Виктор Ногин богатым туристом, очень бы понравился ему старинный город Цюрих.

В Большом городе, у подножья горы Цюрихберг, тесно сбились в кучу средневековые дворцы и замки времен рыцарских турниров и демократического правления могучих ремесленных курий. Неподалеку от них — нарядные дома нуворишей, тенистые улицы и многочисленные кафе, рестораны и магазины. А заводской пейзаж Малого города за рекой Лиммат чудесно вписывался в красноватые отроги Альп, где синим облаком лежала в поднебесье широкая полоса густых лесов. Берега голубого Цюрихского озера были обрамлены садами и парками.

Цюрих жил спокойным и деловым ритмом. Рано утром улицы его заполнялись рабочим людом. Тысячи, десятки тысяч мастеровых, переговариваясь, торопливо двигались к фабрикам: там плавился металл, создавались станки, химикаты, бумага, шерсть и шелк. Чем-то родным веяло от этой армии торопливых людей, словно Виктор переносился на крыльях в Северную Пальмиру и попадал в привычную толкотню своих текстильщиков за Невской заставой. Найдет ли он место среди этих товарищей? Едва ли!

Дыхание большого спада докатилось сюда из России: нет объявлений о найме, у фабричных ворот идут тревожные разговоры о предстоящем расчете.

Перед вечером вновь валила по улицам рабочая толпа: ритмично шел в городе этот прилив и отлив. Кто-то из мастеровых катил на самокате с резиновыми шинами. Но, видать, и здесь это была новинка XX века: за велосипедистом всегда мчались подростки и бились об заклад, что зароется он носом в мостовую с высокого и узкого седла.

По утрам, когда мастеровые начинали смену, в городе шумели студенты. Они громко болтали на всех языках Европы, скапливались на скамьях возле университета и на широких приступках федеральной политехнической школы или в скверике у консерватории.

В полдень стремительно выбегали из контор расторопные клерки в черных костюмах и усаживались за кофе в летних ресторанчиках. А под каштанами и платанами появлялись фланирующие бездельники — в канотье и с тростями — и молодые дамы с собачками или с детьми. В экипажах разъезжали деловые люди в котелках или модницы в широких соломенных шляпах с метелками трепещущих от ветра перьев страуса.

Обыватели не лезли в душу с докучливыми расспросами. Мастеровые, студенты и клерки — в кафе или в парке — заговаривали непринужденно и все больше о том, что волновало тогда весь мир, — об англо-бурской войне и о боксерском восстании в Китае. И никто не скрывал возмущения, что восемь крупнейших держав послали войска для жестокого подавления китайских повстанцев.

Город был мил и приятен русскому сердцу молодого революционера: здесь живали Плеханов и Засулич; тут была штаб-квартира Аксельрода; здесь семь лет назад последнюю публичную речь произнес Фридрих Энгельс на конгрессе II Интернационала: верный друг Маркса еще верил тогда в революционный подвиг этой международной организации. А теперь она открыто якшается с Эдуардом Бернштейном.

В главной библиотеке Цюриха Виктор был удивлен неслыханно: бери любую книгу, за которую в России неминуемо потянули бы в участок!

И жилось в этом городе дешево. Даже в отеле, где снимал Виктор небольшой номер, и в кафе, где кормили неплохо, хотя хлеба вдосталь и не давали.

В Лондон было отправлено письмо Андропову: «Цюрих, 5.IX.1900. Милый и дорогой друг! Наконец и я на свободе! Мне страшно хочется Вас видеть как можно скорее, но как это сделать, я не знаю. Если бы я знал, что Вы останетесь жить в Англии и я сумею устроиться там, то, конечно, я приехал бы к Вам сейчас же. Но Вы, как говорят, решили ехать в Россию: ведь это очень хорошее решение, и я не могу Вас отговаривать от него.

Только Вы, конечно, не уедете, не повидавшись со мною: мне так хочется увидеть Вас, и я так давно жду этого, что будет слишком больно для меня, если мы не увидимся. О тех побуждениях, которые заставили меня уехать из России, Вы уже знаете несколько, а подробно я расскажу лично.

Увидеться нам необходимо еще потому, что я должен сообщить Вам о новом большом деле, начинаемом в России, в котором Вы могли бы с большой пользой работать. Подробно — лично; если Вам нельзя будет приехать сюда (может быть, Вы поедете в Париж? Так по дороге), то я обязательно приеду к Вам, хотя не надолго.

За границей я думаю прожить с год-полтора, а может быть, только до мая будущего года.

Русские новости — или лично, или в следующем письме.

Сообщите мне, пожалуйста, адрес Ольги Аполлоновны для писем из-за границы: я не успел списаться с ней об этом, а мне очень хочется поскорее известить ее.

Крепко, крепко жму Вам руку. *Ваш Виктор.*

Здесь еще нигде не был: страшно устал. Сейчас иду к Аксельроду. Живу в гостинице, адрес до востребования...»

Добрые ожидания и маленькие радости свободной жизни в Цюрихе сменились досадой. Павел Борисович Аксельрод домой не появлялся — как в воду канул. Виктор разыскал кефирное заведение, которое держал Аксельрод, чтобы хоть как-нибудь сводить концы с концами. Молодая служительница сказала, что здесь жил два-три дня очень живой, экспансивный худощавый господин из России — с бородой и с лысиной — и дней двадцать назад увез с собой Аксельрода на юг, возможно в Женеву. Виктор немедленно помчался бы вслед, если бы знал, что этим господином был Ульянов. Именно он уехал с Аксельродом к Плеханову, чтобы составить проект договора группы «Искра» с группой «Освобождение труда», а главное, распределить обязанности между будущими редакторами газет. И уже отбыл в Германию.

У Виктора была мысль: а не махнуть ли в Женеву, вдруг Аксельрод еще там? Он даже посмотрел по карте маршрут: это через Баден, Ольтен, Биль, Берн, Фрибур, Лозанну. По российским масштабам — сущие пустяки: две поездки из Москвы в Калязин и обратно. Но денег было в обрез, да и боялся он разминуться с Аксельродом. А о встрече с Плехановым и не помышлял. Георгий Валентинович казался недоступным, как Монблан. И это отвечало правде: в женевском укрытии явно сторонились назойливых, незнакомых эмигрантов.

Виктор решил ждать. Иногда угнетало отсутствие собеседников. С горожанами он общался мало: они говорили на каком-то трудном для него швейцарском наречии немецкого языка. Вывески читал он свободно, газеты понимал не плохо, а при разговоре иной раз попадал впросак.

Русской колонии не было. Ее отсутствие восполняла библиотека. Он прочитал пламенную речь Петра Алексеева, который на суде в 1887 году сказал пророческие слова: «Подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!» Интересной новинкой был первый номер «Былого»: этот альманах начал выпускать в Лондоне

Владимир Бурцев. Но настроение резко изменилось, и Виктору стало не по себе, когда в восьмом номере журнала «Новое слово» он прочитал статью П. Струве «Еще раз о свободе и необходимости»: приват-доцент открыто выступал против марксистского учения о пролетарской революции.

«Что делает время? — размышлял Виктор. — Оно работает на нас, и безжалостно! Летят в мусорную яму любые «корифеи», у которых ощущается ералаш в мозгах от успешных выступлений рабочего класса!»

Он вспомнил: еще три года назад камерные лекции этого Струве устраивали у себя на Фурштадтской, в доме № 20, Стасовы — Поликсена Степановна и Дмитрий Васильевич — и в доме № 27 на той же улице присяжный поверенный Николай Платонович Карабчевский. Виктор слыхал об этом от Лидии Канцель — единственной знакомой, которая бывала на лекциях по поручению подпольного Красного Креста. Но уже и тогда Ульянов увидел, что придется бороться со Струве, как и с его идейным дружком Эдуардом Бернштейном!..

Так миновали еще три дня.

В день четвертый произошли небольшие события в жизни Виктора, и с Цюрихом было покончено. Три дня ходил он к Аксельроду — и домой и в кефирное заведение, но бесплодно. А от Андропова пришло письмо, и в нем содержался намек, что адресату придется задержаться на время в Англии. Из Цюриха в Лондон пошло последнее письмо:

«9.IX.1900 г. Мой милый и дорогой друг! Спешу ответить Вам на все Ваши вопросы. Главный вопрос и, нужно сказать, самый мучительный, — почему я поехал за границу? Потому что, когда я представлял себе, как я буду жить, исполняя волю начальства где-нибудь под надзором, зная, что, кроме такой жизни, есть жизнь другая и что стоит мне только захотеть жить этой другой жизнью, так никакие «предержащие» меня не удержат, мне казалось, что жизнь поднадзорного так искалечит меня, что потом я буду никуда не годен. А теперь я могу рабо-

тать, и так как силы всюду и везде нужны, то совестно было бы сидеть сложа руки.

17 июля нам объявили приговор: Сергею Осиповичу Цедербауму — 3 месяца отсидки в Полтавской тюрьме и 3 года надзора, а мне — 3 года надзора. Вот прожить эти три года хотя бы в Полтаве я и побоялся и посовестился.

В Полтаве вообще жить можно: там и климат хороший, и люди иногда бывают, и микроскопическое дельце можно делать.

Но за те полгода, которые я прожил в Полтаве, она мне надоела, и я видел, что все то, что я мог получить от нее, я получил, и мне делать больше нечего в ней.

Мне хотелось и хочется жить в настоящем, хорошем смысле слова, то есть хотелось не сидеть и «дрожать», как благоразумный пескарь, а жить и работать. Я говорил себе, что раз я вступил в революционное дело — должен ли я выжидать и жить не так, как мне хочется, а как велит начальство? Вы, вероятно, скажете, что, делая прямой вывод из этих рассуждений, найдешь, что более правильно прямо поступить на нелегальное положение. Я хотел это сделать прямо, но за полгода не мог найти паспорт, а жить дальше в Полтаве я не мог еще потому, что на днях меня должны были взять в солдаты. Правда, я надеялся, что меня не возьмут: может быть, не вышла бы грудь, но я побоялся рискнуть: во всяком случае, идти в Китай — незавидная участь.

Кроме того, мне хотелось посмотреть, как люди живут на свободе; пополнить свои знания теми наблюдениями, которые можно сделать, живя за границей. Вот поэтому я поехал за границу.

Теперь почему я поехал в Швейцарию? Раньше я хотел ехать к Вам, в Англию, но потом узнал, что Вы думаете вскоре возвращаться в Россию, и один — без близких людей — я могу легче прожить там, где говорят по-немецки, и там, где дешевле жизнь, а в Англии, говорят, страшно дорого жить. Я хотел сделать так: прожить несколько месяцев в Швейцарии, научиться языку, завести знакомства и поехать

в какой-либо немецкий городок — в Германию — и там поступить на фабрику, или же поступить в техническое училище для того, чтобы в России я мог скорее поступить на какую-либо фабрику. Я предполагал, что здесь, имея знакомство, может быть, можно достать немецкий паспорт; имея его и аттестат какого-либо училища, в России можно смело жить. Итак, я хотел прожить в Швейцарии месяца 2—3, на какой-нибудь фабрике месяцев 6—9, итого 8 мес. — 1 год. Или вместо фабрики — в училище года $1^1/_2$—2. Но последнее, т. е. училище, только мечта: у меня своих денег очень мало, и на училище мне обещал присылать брат, но так как у него денег тоже немного, то я думаю отказаться от мысли об училище. Если же мне не удалось бы попасть на фабрику или достать другую интересную работу, то я проживу за границей не более полугода или самое большое до мая будущего года...

Сегодня ходил три раза на квартиру к Аксельроду, и все никого нет дома. Мне очень хотелось послать Вам это письмо, зная, что скажет Аксельрод. Но мне так хочется поехать к Вам, что я все-таки поеду к Вам, если даже он скажет, что здесь можно скоро устроиться.

Я страшно досадую на себя, что не поехал прямо к Вам.

У меня есть поручение к Аксельроду, и я не могу уехать, не видев его, а жить здесь мне уже надоело. Если Аксельрода опять нет в Цюрихе, то я оставлю ему письмо и еду завтра; если же он здесь, то ответ будет зависеть от того, что он скажет, т. е. я уеду, может быть, через несколько дней.

В начале этого письма я написал, что вопрос о том, почему я уехал из России, для меня мучительный. Долго писать — почему, но он и сейчас меня мучает. Я знаю, что все те доводы, которые я сам же говорил, достаточны, и мое решение хорошо, но все же что-то на душе не ладно. Целую Вас крепко, крепко, до свидания. *Ваш Виктор».*

Слов нет, письмо получилось сумбурное, немного наивное. Но оно отразило почти все, чем жил тогда

Виктор, — и юношескую влюбленность в старшего друга, и надежду на то, что лишь по совету с ним должно принять самое важное решение — о выборе жизненного пути.

Это решение — стать профессиональным революционером — окончательно сложилось в Англии, куда он и направился 10 сентября 1900 года.

В Мюнхене зарождалась «Искра», в Лондоне жадно набирался знаний ее будущий агент. И встреча с Владимиром Ильичем летом 1901 года в Мюнхене навсегда решила его судьбу.

Сумрачным уезжал Виктор из Швейцарии. И не только потому, что утратилась надежда повидать Аксельрода, — огорчили известия из Санкт-Петербурга.

В Цюрихской библиотеке попался ему на глаза «Листок Красного Креста» за 1899 год: царевы приспешники все круче и круче «завинчивали гайку», в длинном мартирологе мелькали имена друзей и знакомых, отправленных в медвежьи углы России. И в этих углах беззастенчиво нарушались права ссыльных.

Самая невинная прогулка за околицу поселка, где ссыльному было назначено жить пять-семь-десять лет, или кратковременная вылазка на охоту отныне признавались самовольной отлучкой. И ретивый исправник, одичавший в далекой глуши, назначал за это арест до семи дней. Подозрительной считалась вечеринка в доме ссыльного и даже частая переписка с друзьями. Наказание применялось немедленно — обыск, блошница или высылка в еще более глухие места.

Было о чем поразмыслить Виктору. Он уже не сомневался, что на исходе весны вернется в Россию, будет ставить на ноги организацию в одном из крупных городов и, конечно, попадет в лапы к какому-нибудь Пирамидову из охранки. А уж тогда не миновать забытых богом глухоменных поселений в морозной, таежной Сибири.

Но самой тяжелой была весть из села Ермаковского Минусинского уезда Енисейской губернии — ровно год назад там скончался от чахотки верный друг Ульянова, один из создателей петербургского «Союза борьбы», Анатолий Александрович Ванеев...

А поезд мчался на северо-запад и уже миновал границу Швейцарии. Франция — осенняя, плодородная, только что снявшая урожай фруктов, пропахшая виноградными соками, рассвеченная лимонной листвой деревьев — немного успокоила Виктора.

Неподалеку от Лангра и Шомона, за левым берегом быстрой, пенистой Марны, окончились отроги французских Альп, и поезд понесся по зеленой равнине вдоль Сены, на Париж.

Потемневшие от времени средневековые замки на холмах; маленькие таверны или белоснежные гипсовые мадонны на перекрестках дорог; ослики, мулы и кони с телегами, на которых громоздятся высокие корзины с ароматным виноградом; торговцы вином на каждой станции, зазывающие к себе пассажиров; крестьянские свадебные кортежи на булыжных мостовых проселка: красные и черные бархатные безрукавки, кружева на женщинах, старинные коты на пожилых виноделах; гитара или мандолина в руках у шафера; смеющиеся физиономии и веселая песня — беззаботная на вид и вечно неунывающая страна отрадных мудрецов и острословов!

В прозрачном утреннем воздухе мелькнула стрела великолепной ажурной башни Эйфеля, поставленной не так давно над Сеной, у Марсова поля.

Поезд на север уходил в полдень, и Виктор решил нанять маленький одноконный фиакр с извозчиком в смешной пелерине и высоком клеенчатом цилиндре. Договорились о цене, извозчик нехотя спрятал под себя газету, и тронулись в путь.

«А ведь прав российский юморист Николай Лейкин: все извозчики читают газету! И лопочут пофранцузски!» — усмехнулся Виктор.

Поначалу город показался трущобным и грязным. Чумазые ребятишки гоняли мяч вдоль серого, облез-

лого дома, на балконах сушилось белье, группами толпились люди вокруг гитариста, певца и продавца нот и, притопывая в такт песне, поднимали облако пыли. На булыжной мостовой валялись огрызки фруктов, клочки бумаги, куски щебня: никак не шел Париж в сравнение с опрятным Цюрихом и чистым, чопорным Петербургом. Но все простилось парижанам, когда фиакр добрался до центра и замелькали по сторонам красивые особняки, щедро украшенные нимфами, амурами и колоссами, нарядные храмы, стройные колонны, висячие горбатые мосты, широкие бульвары, фонтаны в гранитных чашах и унеслась в голубое небо стальная и словно невесомая громада знаменитой башни. И маленькими букашками показались люди, толпившиеся на ее верхней площадке, под шпилем.

Эспланада Дома Инвалидов, площадь Звезды, Собор Парижской богоматери, Лувр, Гранд-Опера и Елисейские поля — такого архитектурного богатства было вполне достаточно даже не для одного города. А фиакр продвигался вперед, и в каждом квартале можно было видеть неповторимое сооружение, типичное только для Парижа.

И всюду крикливая реклама. В Латинском квартале, у бульвара Сен-Мишель, с разноцветной афиши глядел на парижан живыми выпуклыми глазами седеющий бородатый крепыш с короткой толстой шеей: это Жан Жорес объявлял о своей речи в Большом манеже.

Когда завернули к вокзалу, Виктор с удивлением заметил, как одиночками, группами и даже большим потоком вылезали люди из-под земли по широкой лестнице и растекались по тротуарам.

— Что это? — спросил он у возницы.

Тот махнул рукой:

— На днях открыли. Новинка века, мсье, железная дорога под землей. И назвали чудно, по-гречески: метрополитен; значит — главный город, столица. А нам эта штука — конкурент. Только солидный человек туда не полезет, ему пристойней на фиакре

ездить. Придумывают люди! В Лондоне есть, в Нью-Йорке и в Будапеште есть, а мы чем хуже? Француз, мсье, никогда не отстанет от моды!..

«Да, плетемся мы в хвосте, — подумал Виктор. — В Петербурге пошел трамвай, в Москве — все еще конка. А в деревне и о керосине понятие столь слабое, что наивный мужик может выпить его вместо водки, как это картинно изобразил Щедрин в сказке о двух мальчиках. И работают здесь на фабриках всего десять часов, и Жорес открыто говорит о социализме...»

В полдень поезд ушел на север. За окном вагона развернулась низменная Нормандия, засверкала петляющая по равнине Сена. Затем промелькнул Руан — прекрасный памятник нормандской готики, город текстилей и судостроителей. И когда-то в этом городе пылал самый памятный костер Франции: на нем сожгли Орлеанскую деву — Жанну д'Арк.

Из Гавра в Портсмут пароход шел ночью. Беспокойный осенний Ла-Манш не давал уснуть. Но даже после бессонной ночи Виктор в бодром настроении занял сидячее место в поезде и, не сделав остановки в Лондоне, добрался до Молдона, в графстве Эссекс, где Сергей Андропов уже поджидал его на станции: неуклюжий, в выцветшей голубой косоворотке навыпуск, с длинными волосами дьячка, но такой родной и желанный!

За все время разлуки Виктор думал об Андропове как о самом близком друге. Связывала его с Сергеем действительно пламенная дружба: в ней были и восхищение, и соревнование, и преданность. И глубокая симпатия и идейное родство.

Давным-давно Бенедикт Спиноза говорил о том, что человеку полезнее всего человек. Один — всегда один, как перст, а два, да связанные высокой целью, — это уже не два, а три или четыре, потому что к помноженным человеческим чувствам — нежным и добрым — вовсе неприложимы законы простого арифметического счета. А там, где действуют в обществе два друга, связанные общностью высоких

и благородных интересов, есть уже коллектив, способный сдвинуть горы!

Может быть, и не так говорил Спиноза, но Виктор вспомнил его изречение именно так и чувствовал себя сильным и радостным, потому что рядом сидел Сергей и разделял его мысли о том, что нет необходимости болтаться за границей, когда в России так остро нужны люди революционного подвига.

В непринужденной болтовне с близким человеком незаметно пролетели пять километров до местечка Перли, где Андропов жил и работал у толстовца Владимира Черткова.

Владимир Григорьевич Чертков произвел на Виктора двойственное впечатление, словно это был Дон-Кихот Ламанчский — человек правильный и волевой, способный на подвижничество, но занятый бесполезной войной с мельничными крыльями где-то на подступах к Иберийским горам.

Чертков был человек высокий и плотный, с орлиным носом, серыми холодными глазами навыкате и великолепной шевелюрой. Некогда конногвардеец из свиты императора, он был богат и знатен. И его весьма эффектно нарисовал Крамской, когда он еще прожигал жизнь в русской столице, жуировал напропалую и крупно играл в карты. Родовые связи давали ему возможность стать флигель-адъютантом или генерал-губернатором. Но он не стал делать служебную карьеру.

Передовые люди России и особенно Чернышевский, Добролюбов, Некрасов и Писарев дали понять ему, что истинная жизнь не в чинах и орденах. Правда, он не пошел в народ, но по-своему приблизился к нему: построил ремесленное училище для крестьянских детей, открыл в селе больницу, ясли. Потом пытался понять увлечение своей матери, которая толковала евангелие в духе английского проповедника Редстока. Но это были лишь поиски бескорыстной и полезной деятельности, а к тому времени, когда наметился разрыв с высшим светом, вышел он в жизнь без всяких определенных убеждений.

Семнадцать лет назад, осенью 1883 года, Чертков встретился с Толстым. Яснополянский мыслитель увидел в нем те черты, которые он ставил тогда превыше всего на свете: презрение к общественному мнению, независимость по отношению к власть имущим, настойчивость в достижении задуманного и готовность пострадать за свои убеждения. Дима, как называл Толстой Черткова, проникся убеждениями Льва Николаевича, смело порвал с высшим светом и стал зеркалом своего великого друга.

Виктору нравилась эта нежная преданность другу. Но он никак не мог понять, зачем, например, отдавать столько сил и воли сектантам-духоборам. Ведь именно их переправлял Чертков из России в Канаду, за что и был выдворен из России. И к чему тратить так много энергии на издание тощих книжек, трактующих евангельские тексты в толстовском духе?

Правда, Чертков напечатал полный текст «Воскресения», без цензурных урезок. И Виктор в первую же перлийскую ночь прочитал этот роман. И бесконечно был благодарен Толстому за беспощадное разоблачение всех социальных и моральных устоев царской России. Но почти инстинктивно сопротивлялся он той характерной черте «толстовства» в романе, которая раскрывалась в проповеди нравственного усовершенствования и непротивления злу насилием.

До глубины души ненавидел Ногин насилие над личностью, народом, классом и считал, что сопротивление режиму Николая II и капиталистам — истинное призвание лучших людей его поколения. Он доходил даже до крайностей и не раз говорил Андропову: а не рано ли отказываться от террора против таких мерзких типов, как Пирамидов и Клейгельс?

— И что же Чертков не подсказал Толстому, что всякое оправдание зла — во вред народу российскому? Народ пробуждается, а великий художник твердит ему: «Терпи зло, страдалец!» «Да на что это похоже?» — горячился Виктор.

— Чертков и сам так мыслит, и все толстовское ему дороже всех чудес мира. Он признает революцию духа, а не действия, внутреннего освобождения, а не насилия. В этом его жизнь. Поглядите, как он бережно хранит в сейфе каждую строчку своего друга. Но он способен и к активным действиям. Вспомните, как он поработал в «Посреднике», — напоминал Сергей.

Конечно, деятельность в «Посреднике» была большой заслугой Черткова: пятнадцать лет он выпускал в свет серьезную народную литературу с рисунками Сурикова, Репина, Кившенко. Дешевые сытинские выпуски рассказов Толстого, Тургенева, Лескова и других классиков подрубили корень у самого распространенного на Руси писателя Кассирова (Ивина), который заполонил книжный рынок такими лубочными повестями, как «Битва русских с кабардинцами, или Прекрасная магометанка, умирающая на гробе своего мужа» и «Еруслан Лазаревич».

— Такую бы волю да такую преданность в дружбе Толстому направить бы в рабочее движение! Вот была бы база для наших изданий!

— Мечтатель вы, Виктор Павлович! — говорил Андропов. — Владимир Григорьевич никогда не уйдет от своего великого Льва! До самой смерти будет идти с ним, мне это ясно. Да и Лев Николаевич весьма ценит его влияние во всех делах, и даже в личной жизни...

В доме у Чертковых не было того подчеркнутого опрощения, с каким жил в Ясной Поляне и в Хамовниках Лев Николаевич Толстой. Но все тут шло под его знаменем, потому что в кабинете Черткова он и Андропов приводили в порядок дневники Толстого, вели переписку о сектантах и готовили новые материалы для периодического органа «Free Age Presse». А рядом работала типография, и первые же оттиски направлялись в Хамовнический особняк в Москве.

Часто сиживал Виктор в типографии. Ему пришлись по душе наборщики-латыши Весман и Розен и особенно обрусевший немец Густав Шиллер.

Густав дорожил местом, но радости не выказывал:

— Работать, конечно, везде хорошо. Но тут слишком много бога и всяких проповедей. Погорячей бы чего-нибудь, чтоб жизнью пахло и светилось неугасимым огнем!

Через несколько месяцев по рекомендации Виктора и его лондонских друзей этот наборщик оказался в Германии, где печаталась «Искра». Нашел Густав дело, о котором мечтал!

Каждый день Виктор бродил по окрестностям. Он изучал английский язык и пытался беседовать с фермерами, жадно схватывая на лету каждое слово. А иногда заглядывал к Бонч-Бруевичу. Владимир Дмитриевич всегда был на месте: он, как и Андропов, помогал Черткову в его делах и вел большую переписку. Но всей душой стремился к Ульянову. Они встретились шесть лет назад в Москве, а недавно Ульянов прислал ему записку, приглашая заняться экспедицией «Искры».

— Уеду, скоро уеду! — говорил Бонч. — Вот приведем в порядок дневники Льва Николаевича за девятнадцатый век, и покачу! Поверите ли, я страдаю уже оттого, что не чувствую здесь биения марксистской мысли. То ли дело в Москве! Как мы тогда прокладывали путь!

И вспоминал о начале девяностых годов, когда он был участником первых марксистских кружков в древней столице, встречался с Анатолием Луначарским, Сергеем Мицкевичем и Мартыном Лядовым. Мицкевич и братья Масленниковы печатали тогда на автокописте первые оттиски пламенной книги «Что такое «друзья народа»...».

— Не хлебом единым жив человек, не хлебом единым! — Бонч взволнованно ходил по комнате. — Это, конечно, тоже дело, — он показывал Виктору свежие оттиски, только что принесенные из типографии. — Но нужно — к Ульянову, к Ульянову! Кряжист, умен и мыслит, как молодой Маркс!

В эти дни мать Черткова приобрела для своего

ссыльного сына небольшой хуторок в районе Борнемауса в южной части Англии, возле местечка Крайстчарч. И семья Чертковых решила перебираться туда со всем издательским хозяйством.

Виктор предложил Сергею хотя бы на время оставить службу и уехать вместе с ним в Лондон.

— Ведь все равно Чертков не платит вам ни копейки. А за одни харчи — какая это служба!

И Сергей согласился.

В последний перлийский вечер гуляли вчетвером: Ногин, Андропов, Бонч и Чертков. Это была замечательная группа: все, как на подбор, русские красавцы, словно гвардейцы в штатском платье, один выше другого.

Встретился им фермер. Он снял шляпу, поклонился и что-то сказал с удивлением. Трое засмеялись. Не понял лишь Виктор и спросил:

— О чем это он?

— Удивился, как это в России уродились такие молодцы, что им может позавидовать даже самый высокий лондонский бобби, — пояснил Чертков.

Когда уже подходили к дому, Владимир Григорьевич спросил Андропова:

— А может, вы вернетесь к нашим старым пенатам, как только обживется Виктор Павлович в Лондоне?

— Не обещаю. Посмотрим, — уклончиво ответил Андропов. — А за приглашение благодарю.

— И на Бонча надежды мало, — грустно сказал Чертков. — Ему нужен Ульянов. Я не знаю этого господина и ни о чем не берусь судить, но Толстого знают все, и работать с ним и для него — счастье!

— Не мутите душу, Владимир Григорьевич! — замахал руками Бонч-Бруевич. — Вы же отлично знаете, что я решился. И никакой оглядки назад!

В конце сентября 1900 года Сергей Андропов и Виктор Ногин покинули Перли и уехали в Лондон. В карманах у них было три фунта стерлингов и несколько пенсов.

Не успели друзья осмотреться в британской столице, как в далеком Питере на них уже завели новые досье.

27 сентября Ратаев — чиновник особых поручений при директоре департамента полиции Зволянском — записал для памяти: «Выбывший с надлежащего разрешения в минувшем августе из Полтавы в г. Смоленск для отбывания срока гласного надзора полиции мещанин Виктор Павлов Ногин эмигрировал за границу и на днях прибыл в Лондон».

В секретном списке № 1 циркуляра министерства внутренних дел за 1900 год Ногин числился под номером 34. И для розыска сего преступника всем «господам губернаторам, градоначальникам, оберполицмейстерам, начальникам жандармских губернских и железнодорожных полицейских управлений и на все пограничные пункты» были разосланы фотографии Виктора Ногина с подробным описанием его наружных примет: «Рост 2 арш. 9 вершков, телосложение среднее, волосы на голове и на бровях русые, почти рыжие, на усах и бороде рыжие, курчавые, глаза темно-серые, средней величины, близорук, носит пенсне № 1,75, рот средний, губы умеренные, подбородок круглый, лицо круглое, чистое, на верхней челюсти недостает одного зуба, походка ровная, на правой стороне шеи родинка».

Всем указанным чинам предписывалось: «Обыскать, арестовать и препроводить в распоряжение смоленского губернатора, уведомив о сем департамент полиции».

Можно полагать, что основанием для слежки послужили строки из перлюстрированного письма сестры Андропова — Надежды Васильевны, по мужу Смирновой, которая доверительно сообщала 13 сентября своей петербургской знакомой О. П. Бернштам: «За Сережу я немного успокоилась и думаю, что эту зиму он еще проживет в Лондоне. Дело в том, что на днях туда эмигрировал Виктор Павлович Ногин. Сережа писал, что ожидает его каждый день и из-за этого собирается уехать от Черткова и посе-

литься в самом Лондоне. Теперь он, вероятно, поищет себе другой заработок».

Ни Сергей, ни Виктор не имели об этом ни малейшего представления. Они и не могли знать, что уже два десятилетия существует за рубежом «Заграничная агентура» царской охранки и что все ее нити держит в руках действительный статский советник Петр Иванович Рачковский, со своим шпионским штабом в Париже, на Рю Гренобль, 79. Ему-то и переслал Ратаев перлюстрированное письмо сестры Андропова.

В лондонской русской колонии люди старшего поколения весьма опасались слежки и словно страдали от модной болезни подпольщиков — пресловутой шпиономании. И Виктору и Сергею это казалось странным.

Знаменитый анархист и выдающийся географ князь Петр Алексеевич Кропоткин был убежден, что каждый его шаг отмечается в документах охранки. Он скромно жил в пригороде, не часто приезжал в Лондон, где вел научный отдел в небольшом двухнедельном журнале. Он избегал публичных выступлений и остерегался встреч с эмигрантами. Когда же начинали шутить по поводу его опасений, он потирал ладонью взмокшую лысину или комкал седую бороду, расходившуюся по груди двумя широкими клиньями, и говорил:

— Береженого и бог бережет!

Виктор Ногин и Сергей Андропов поселились в западно-центральной части Лондона, на Сидмаусстрит, по соседству с трущобным районом британской столицы, где по вечерам, ночью и ранним утром не заглушались шумом большого города паровозные гудки у вокзала на Манчестер.

У Сергея Андропова на этой улице жил друг Николай Александрович Алексеев, социал-демократ, литератор. Он занимал комнату на первом этаже, а перлийцам подыскал комнатку этажом выше.

Алексеев — небольшого роста, брюнет, с полукруглой бородкой и усами, в старомодном пиджачке,

в кепочке с жокейским козырьком — казался этаким поджарым круглолицым спортсменом. Он был большой шутник и очень оживлял эмигрантское житье и Сергея и Виктора.

У хозяйки дома на Сидмаус-стрит были две симпатичные дочери: девицы взрослые, на выданье. Общаться с ними не разрешалось, и квартиранты имели возможность видеть их лишь по субботам, когда приходили вносить квартирную плату. Одна из дочерей не без интереса поглядывала на Виктора. И Алексеев задумал разыграть невинную шутку: в день Валентина, когда англичанки могли открыто писать своим суженым, он подложил Виктору под подушку нежное письмецо. Свидание назначалось в ближайшем скверике, ровно в четыре часа дня. Но в этот час социалист Гайндман выступал на митинге, и Алексеев утащил туда с собой Виктора и посмеивался, когда тот поглядывал на часы и вздыхал. И только через восемнадцать лет, уже в Москве, на теперешней площади Ногина, при случайной встрече с Виктором Павловичем, Николай Александрович напомнил ему о той маленькой шутке в 1901 году.

Николай Александрович давно дружил с семьей Тахтаревых. Тахтаревы (или просто Тары) были друзьями и Андропова и скоро стали близкими людьми и для Виктора. Константин Михайлович одно время редактировал «Рабочую мысль», когда приложением к ней печаталась брошюра Ногина «Фабрика Паля». А Аполлинария Александровна оказалась той самой Нарочкой Якубовой, что дружила с Крупской. Виктор не застал ее в 1897 году в воскресной школе села Смоленского, за Невской заставой. Она почти одновременно с Ульяновым отправилась в енисейскую ссылку и отбывала срок в селе Казачьем неподалеку от Шушенского вместе с Лепешинским и Ленгником.

У гостеприимных Таров собирались чаевничать. Спорили о путях революции, гадали, какой будет «Искра». Якубова хорошо рассказывала о Крупской, об Ульянове. Виктору очень запомнился рассказ

о том, как Владимир Ильич Ленин увековечил память о своем друге Анатолии Ванееве.

В селении Абаза лет тридцать пять назад владелец угольных копий Колчугин построил чугунный завод и рабочий поселок. Потом все это хозяйство перешло в руки непутевого человека — золотопромышленника Пермикина. Что с ним вышло, никто не знает. Только этот чудной делец сбежал и никому не завещал вести дело. Рабочие и служащие завода решили создать артель.

— Понимаете, вовсе без хозяина! — взволнованно говорила Аполлинария Александровна. — Руду добывают прямо с поверхности горы, с помощью клиньев и кувалд, делают листовое железо, сковородки, котлы, гири. Владимир Ильич как-то поехал к рабочим и попросил их отлить надгробие на могилу революционера Ванеева. Они согласились и денег не взяли. И теперь на кладбище села Ермаковского лежит чугунная плита: «Анатолий Александрович Ванеев. Политический ссыльный. Умер 8 сентября 1899 года. 27 лет от роду. Мир праху твоему, Товарищ!..» А вы знаете, меня всегда покоряла эта черта Ульянова: бдительно оберегать друзей от сыска и всяких напастей и верно хранить память о них, коль суждено им погибнуть...

Заходил к Тарам Алексей Львович Теплов — старый народник, один из злополучных парижских «бомбистов» 1891 года, которого предал Геккельман-Ландезен-Гартинг — агент Рачковского. Теплов основал библиотеку в Уайт-Чепеле, где собирались русские и еврейские рабочие лондонского Ист-Энда. Он был человек редкой сердечности и отдавал библиотеке и нуждающимся товарищам все свои ничтожные средства. Но библиотека его ютилась на втором этаже грязного, убогого дома, стульев не было: кое-как обходились одной грубо сколоченной скамьей. И все это убожество освещала и днем и вечером жалкая керосиновая лампа.

Да и район был страшный: на каждом шагу кабачки, пьяная ругань — явление самое обычное. Вдоль

тротуаров кишели торговцы с лотками, между ними сновали босяки, жулики. Они привязывались к женщинам — в рубищах, в деревянных башмаках на босу ногу. Где-то возникала очередная драка: ничем не прикрытая нищета не скрывала ни своих язв, ни пороков.

— Вы уж того... Аполлинария Александровна... порадейте старику... совсем я замучился в этих трущобах, — медленно и не очень внятно излагал свою просьбу Теплов.

— Ну, Алексей Львович, голубчик! — отвечала Якубова. — Будто мы не знаем, как вам неуютно. Бегаю, ищу! Да ни один хозяин не желает сдавать помещение социалистам!

Изредка появлялся у Таров и еще один из когорты последних могикан, Феликс Вадимович Волховский, мужчина крупный, шумный, с раскидистыми длинными усами, с могучей шевелюрой Маркса. Он ходил в пиджаке с шелковой окантовкой и бархатном жилете, застегнутом под самым горлом.

Когда-то Феликс дружил с Германом Лопатиным, состояли они в «Рублевом обществе» первых народников. Называлось оно так по той причине, что вступительный взнос там был один рубль. Дружил Феликс и с Желябовым. Вместе проходили они по известному «процессу 193-х», и Волховский на суде произнес речь, полную негодования и сарказма, за что был удален из зала заседания. Трижды побывал он в Петропавловской крепости. А в одной из ссылок помогал американскому журналисту и путешественнику Джорджу Кеннану написать нашумевшую книгу «Сибирь и ссылка». Он дружил и со Степаном Кравчинским, который умер в Лондоне пять лет назад, оставив умную и благородную книгу «Андрей Кожухов». А сейчас Феликс Вадимович обычно бывал в обществе Чайковского и Бурцева, частенько шумел в английском «Обществе друзей русской свободы» и редактировал его орган «Свободная Россия».

Теперь он завязал связи с «Аграрно-социалистической лигой», которая еще не высказала своих определенных убеждений. И вообще у Феликса Волховского

ясных политических целей не было. Но Виктору он нравился как «экспонат» из уникального музея восковых фигур и как живая реликвия ушедших давних лет.

Все эти лица и составляли ближайшее окружение Андропова и Ногина в Лондоне. Был еще Серебряков, он издавал вольный листок «Накануне», где Ногин, Чайковский и Волховский по поручению русской колонии напечатали протест против сдачи киевских студентов в солдаты. Да вошла в жизнь друзей молодая девица Софья Николаевна Мотовилова из Симбирска. Она приехала пополнять образование, никак еще не определила своего идейного «кредо», но явно симпатизировала Андропову. Виктор считал, что лучшей невесты для Сергея и не сыскать.

В Лондоне Сергей Андропов попытался восстановить связи с М. В. Лурье — своим давним единомышленником. Но добрые отношения долго не складывались. Виктор подозревал, что этот старый приятель Сергея занимается неблаговидными делами.

Лурье, часто называемый в переписке друзей Люри, был активным членом первой группы «Рабочего знамени», которая во второй половине 1897 года сформировалась из оппозиционных элементов петербургского «Союза борьбы» и первоначально называлась «Группой рабочих революционеров». Она выдвигала на первый план социалистическую и политическую пропаганду среди рабочих, опубликовала № 1 газеты «Рабочее знамя», брошюру «Задачи русской рабочей партии» и несколько прокламаций. Опиралась она на белостокскую типографию, где Лурье играл ведущую роль.

В июле 1898 года белостокская типография подверглась разгрому. Но Лурье удачно избежал ареста и укрылся за рубежом. Там он считал себя полномочным представителем «Рабочего знамени» и создал издательство.

А Сергей Андропов в декабре 1898 года создал вторую группу, которая заняла резко враждебную линию к экономизму «Рабочей мысли». И год спустя

появился в Лондоне тоже с полномочиями своей группы. Он выпустил до приезда Виктора второй номер газеты «Рабочее знамя» и вступил в переписку с Г. В. Плехановым о совместных действиях с группой «Освобождение труда». На этой почве у Андропова и Лурье начались расхождения.

Они особенно обострились, когда Виктор Ногин и Сергей Андропов задумали напечатать книгу Фридриха Энгельса «Революция и контрреволюция в Германии» в переводе их лондонского друга Николая Алексеева.

Лурье напечатал книгу Энгельса, но заявил, что не выдаст тираж, пока с ним не рассчитаются за типографские расходы. Алексеев отказался от гонорара за перевод, Сергей и Виктор вывернули свои карманы, но долг продолжал висеть. Они списались с Берлином и с Парижем, где книгу можно было продать с успехом, но Лурье упорно не выпускал из рук готовое издание.

Друзья обнищали до крайности. Они отказались от комнаты на Сидмаус-стрит, где жил Алексеев, бесплатно прожили один месяц в квартире у Таров, когда те на время уехали из Лондона. Там Сергей и Виктор сами готовили скудную пищу и стирали белье, а грязную воду носили с третьего этажа к сточной канаве, так как в этой части британской столицы, не очень отдаленной от центра, водопровода не было.

20 ноября 1900 года Виктор получил от Варвары Ивановны и брата Павла пятьдесят рублей. На эти деньги Сергей уехал в Крайстчарч к Черткову, а Виктор перебрался от Тахтаревых в свою комнатку на Сидмаус-стрит.

Оживленная переписка завязалась между Лондоном и Крайстчарчем. Софья Мотовилова сумела сохранить ее, когда друзья покинули Англию.

Все, чем жил эмигрант Василий Новоселов, все, что беспокоило, волновало, угнетало и радовало его, раскрылось в этих искренних письмах к другу.

Виктор сблизился с Алексеевым и с Мотовиловой и честно продолжал борьбу со «злым гением» Люри, который так безжалостно поверг их в нищету и заставил разлучиться на долгие семь месяцев.

Часто пропадал Новоселов в «Университетском поселении» неподалеку от Сидмаус-стрит, где читались публичные доклады для горожан. Он ценил эти собрания: они расширяли его кругозор и помогали тренироваться в английском языке. И вскоре он уже смог написать Сергею: «Поздравьте меня: вчера мы были на приветственном митинге, и я понял одну из речей».

Изредка можно было видеть его в библиотеке Британского музея, но чаще — на «чердаке» у Теплова, где неугомонный Алексей Львович сумел собрать много хороших книг. А с Мотовиловой бывал Ногин в галерее английского национального искусства.

Константин Тахтарев предложил заниматься два раза в неделю английским языком. Поначалу Виктор только читал и писал под его диктовку, а через месяц они вместе взялись изучать синтаксис. Виктор занимался с воодушевлением и уже накануне нового года поставил себе вполне определенную и достижимую цель: к марту 1901 года непременно научиться читать по-английски.

27 декабря 1900 года Виктор ходил с Алексеевым на собрание русской колонии, когда отмечалась семьдесят пятая годовщина восстания декабристов.

Проходило собрание в баре, который принадлежал ветерану английского рабочего движения Тому Манну. И поначалу все шло весьма благопристойно: честь честью говорил Кропоткин, за ним выступали другие вежливые, накрахмаленные старички — вспоминали что-то, рассказывали кое-что и обращались друг к другу так почтительно, словно в великосветском салоне.

Но они крайне рассердились, когда выступил Алексеев. Он попытался ответить на один вопрос: почему не удалось движение декабристов? И обозвал дворян-

ских революционеров либералами. А к ним прихватил и тех, чье поколение представляли в этом зале Кропоткин и его друзья.

Шумный скандал погасили с большим трудом. А на улице Виктор сказал Николаю Александровичу:

— Встречали мы нынешний год в Полтаве, так я тоже повздорил со стариками. Круто сказал им о рабочем классе. И тоже пришлось уйти вот так, без «галантерейных» поклонов. Да ничего, должны же они знать, кто им идет на смену!

Софья Мотовилова часто спорила с Виктором о Черткове. Она разочаровалась в толстовстве, и барин из Крайстчарча претил ей до крайности, был он холеный, с холодными глазами и чем-то напоминал ей Ивана Грозного. Особенно возмущало ее то, что он поставил Сергея в унизительные условия. Денег за работу не платил да еще был недоволен, если Сергей не садился с ним за шахматную доску или не желал играть на рояле сочинения, написанные женой хозяина.

— Отвратительно, Виктор Павлович! Ведь Сережа все делает даром. Он иногда даже посуду моет на кухне! И все лишь за одну еду. И терпит чванство и фанаберию этого ужасного человека.

Виктор никак не мог согласиться с такой оценкой Черткова. Сам он — человек духовно чистый, красивый в своих помыслах, искренний и добрый — с очень щедрой мерой относился к людям. И у него не укладывалось в голове, что такой человек, как Чертков, может пользоваться затруднительным положением Андропова и корчить из себя поборника правды и благодетеля, когда надо платить наличные деньги за присвоенный труд работника.

Но Сергей написал между строк, что его жизнь у Черткова становится ужасной, и Виктор стал думать, как бы вызволить друга. Он решил искать заработка и подумал про Манчестер, где могла быть нужда в красильщиках. А одновременно начал хлопотать о паспортах для отъезда в Россию. Владимир

Бурцев посоветовал ему достать два студенческих свидетельства, которые выдаются в университетах для прожития:

— Сделайте хорошие дубликаты и живите по ним. Да не забудьте приобрести соответствующую студенческую форму. Иначе провалитесь в два счета!

Но Виктор еще не имел никакого понятия, где достать такие свидетельства. И по зрелом размышлении решил написать о паспортах товарищам в Германию.

Варвара Ивановна прислала еще пятьдесят рублей. Виктор закончил все расчеты с Люри по изданию книги Энгельса, стал обладателем большей части тиража этого издания и активно занялся его распространением.

К 15 января 1901 года у него сложилось мнение, что в Россию надо ехать летом. Об этом он написал Сергею, прося его закончить весной все дела в Крайстчарче.

Итак, наступил последний этап эмигрантского житья Василия Петровича Новоселова.

О чем мечтал он в Лондоне? О многом, о разном. Но все сводилось к тому, что надо окончательно самоопределиться в политическом смысле и подготовить себя для серьезной подпольной работы в России.

На митингах и в шумных дискуссиях лондонских социалистов он мог видеть, какие задачи хотят решать английские рабочие; он присмотрелся к старым деятелям русской революции и сложил ясное представление, что все они — героический, но вчерашний день новой России. Он завязал переписку с Юлием Осиповичем Мартовым, который досиживал последние недели в Полтаве перед выездом за границу. С помощью Мартова, Сергея Цедербаума, Ольги Звездочетовой, брата Павла и других товарищей, поставлявших информацию, он смог разобраться в тех событиях, которые волновали социал-демократов в России.

Но самым важным было то, что он связался с Мюнхеном, стал получать дружеские письма от В. И. Ульянова и окончательно пришел к выводу, что без

«Искры», без ее пропагандистской и организаторской деятельности нечего и помышлять о такой партии, которая может сплотить рабочий класс Российской империи и повести его на штурм царизма и капитализма.

Намереваясь уехать в Манчестер, Виктор уже не сомневался, что за каждым шагом будущих искровцев тайно следит русская полиция и что в Англии тоже необходима та строгая конспирация, о которой он уже писал Андропову.

Правда, Андропов не афишировал свое пребывание на Британских островах. Он проживал под фамилией Альбина и держался у Черткова без того легкомыслия, которое характеризовало некоторых эмигрантов-неофитов. Тем стоило оторваться от пресловутого «хвоста» из охранки на русской границе, и они уже наивно полагали, что за рубежом все им трын-трава! Но в письмах к сестре Надежде в глухой городишко Бирск Сергей писал кое о чем с излишней откровенностью. А охранка не дремала. И уже 12 марта 1901 года господин шеф Зволянский сообщал всем своим периферийным полицейским чинам: «Ввиду полученных указаний, что разыскиваемый циркуляром от 22 января 1900 года за № 137 дворянин Сергей Васильев Андропов предполагает прибыть из-за границы в Россию по чужому паспорту, департамент полиции считает полезным разослать вместе с сим фотографические карточки, в двух видах, названного Андропова».

К этому времени Альбин был уже расшифрован заграничной агентурой, а Виктор все еще оставался для нее только Новоселовым, потому что ни разу в Англии не именовал себя Ногиным.

Новоселовым он представился и в первом письме к Петрову: такая фамилия была у Владимира Ильича для общения по почте с плехановской группой «Освобождение труда».

Писем от Петрова к Новоселову известно семь: с октября 1900 по апрель 1901 года. Тон их архидружественный, подчеркивала Крупская, потому что Но-

гин был рабочим, умел самостоятельно мыслить, а Владимир Ильич это весьма ценил.

Диалог в этих письмах между Германией и Англией длился шесть месяцев. Идейные позиции двух корреспондентов сблизились настолько, что личная встреча их стала неизбежной.

10 октября 1900 года. Мюнхен: «Дорогой Василий Петрович! Только вчера получил от П[авла] Б[орисовича] (Акс[ельро]да) Ваш адрес и резолюцию 23-х против *credo*. Алексей давно уже мне писал, что Вы будете заграницей, но я не мог Вас найти (чудак он, что не дал Вам адреса для писем мне!). Пожалуйста, откликнитесь и напишите поподробнее о том, как живете; давно-ли в Лондоне, что поделываете, какова публика в Лондоне, каковы Ваши планы, когда думаете ехать? Почему выбрали Лондон?

...Жму крепко руку. *Петров.* Отвечайте по адресу: Herrn Philipp Roegner, Cigarrenhandlung, Nene Gasse, *Nürnberg*.

В 2-х конвертах, на втором: для Петрова.

P. S. Дайте, пожалуйста, 2—3 адреса вполне надежных людей (сторонних, не революционеров) для того, чтобы явиться к ним в Полтаве и узнать об Алексее».

Виктор ответил немедленно, 17 октября. Но, к сожалению, это первое письмо, адресованное Владимиру Ильичу, не обнаружено. Видимо, он ответил на вопросы Петрова, рассказал об Андропове, и о «Рабочем знамени», и о журнале своей группы, о котором он думал вместе с Андроповым, пока не занялся изданием книг и брошюр. В письме содержалась и просьба: не смогут ли товарищи из Германии достать два надежных паспорта и помочь лондонцам переправиться нелегально в Россию?

2 ноября 1900 года. Мюнхен: «Пожалуйста, простите, дорогой Н[овоселов], что я так безобразно запаздываю с ответом на Ваше письмо от 17 X: все отвлекали «мелкие» дела и делишки здесь, да еще ждал ответа от Алексея. А ответа необходимо было

дождаться, чтобы выяснить вопрос о нашем редакционном заявлении. Алексей решил не распространять его пока. Поэтому я, посылая Вам один экземпляр, *очень прошу* Вас держать его в секрете, не показывая *никому* (кроме разве того близкого Вашего друга к[ото]рый имеет полномочия от СПб. группы и о к[ото]ром Вы пишете) и безусловно не отдавая ни в чьи руки. Мы вообще решили не распространять этой вещи за границей, пока она не разойдется в России, а раз Алексей попридерживает ее и там, — нам особенно важно достигнуть того, чтобы не дать ей хода здесь. Рассчитывая на Ваше близкое участие в нашем деле, я решил сделать исключение и познакомить Вас с заявлением. Примите во внимание, при чтении его, что предполагается издавать и газету и *журнал* (или *сборник)*, но о последнем заявление молчит по некоторым особым соображениям, связанным с планом издания журнала. Нек[ото]рые места заявления надо поэтому относить *не к одной* газете.

Напишите, пожалуйста, какое впечатление произвело заявление на Вас и Вашего друга.

Какого типа «агитационный журнал» предполагают издавать члены группы «Раб[очего] Знамени» (ведь Вы о них писали?)? Какого характера и с какими сотрудниками?

Насчет переправы через границу в Россию я думаю, что это всегда легко будет сделать: у нас есть сношения с несколькими группами, ведущими переправу, и кроме того недавно один член нашей группы получил обещание (по всему судя, солидное), что смогут переправлять кого угодно в Россию без паспорта. Это, я думаю, легко устроить.

Насчет русского паспорта — дело обстоит хуже. Пока еще нет ничего и «перспективы» еще очень неопределенны. М[ожет] б[ыть], до весны и это наладится.

Я пробуду еще здесь, вероятно, довольно долго, и наша переписка может поэтому вестись без неудобства.

Вы спрашиваете: какую работу хотели бы мы просить Вас взять на себя? Мне кажется, что для нас

особенно важны будут (к весне или к осени, когда Вы рассчитываете двинуться) такие работы: 1) перевозка через границу л[итерату]ры; 2) развозка по России; 3) организация рабочих кружков для распространения газеты и доставки сведений и т. п. т. е. вообще организация распространения газеты и организация тесных и правильных связей м[ежду] ней и отдельными комитетами и группами. Мы возлагаем на Ваше сотрудничество большие надежды, — особенно в деле непосредственных связей с рабочими в разных местах. По душе-ли Вам такая работа? Вы ничего не имеете против разъездов? — она потребовала бы, вероятно, постоянных разъездов.

Существует-ли сейчас та СПб-ая группа, от к[ото]рой Ваш друг имеет полномочия? Если да, не может-ли он дать адреса для явки в Питере и пароля, чтобы передать им наше заявление. Есть-ли у них связи с рабочими вообще и в частности с «СПб-ской Рабочей Организацией»?

Жму крепко Вашу руку и желаю как можно скорее и легче отбыть заграничный карантин. *Ваш Petroff.*

P.S. Верно-ли пишу адрес?

Известите о получении этого письма».

Виктор переслал в Германию напечатанную в типографии М. Лурье книгу Ф. Энгельса и попросил наладить транспортировку этого издания в Россию. Заявление редакции о предстоящем выходе «Искры» он воспринял с энтузиазмом. И Сергей Андропов написал Владимиру Ильичу: «Ваше заявление чрезвычайно обрадовало меня. Мне кажется, что одной из причин теперешних смут и раздоров среди революционной интеллигенции является то, что у нас нет ни одного талантливого журнала или газеты».

Сергей Андропов, как и Виктор Ногин, заявил, что он будет рад помогать «Искре» по возвращении на родину, и сообщил адрес своих питерских друзей, к которым надо было явиться с паролем:

— Есть ли у вас № 7 «Русского богатства»?

— Я отдал эту книгу в переплет...

Далее Андропов сообщал, что они с Новоселовым думали сами предпринять издание небольшой газеты, но пока отказались от этой мысли и занялись изданием книжек.

Потом речь шла о том, что в архиве у Новоселова есть рукопись Гайндмана «Социализм, тред-юнионизм и политическая борьба», которую они согласны передать «Искре».

«Еще два слова о нашей группе, — заканчивал письмо Андропов. — Вероятно, она не будет называться «Рабочим знаменем», потому что в Англии живет один господин, который совершенно самостоятельно издает брошюрки от имени «Р. З.». Если он будет упорствовать, мы изменим свою фирму. Книжку Энгельса мы выпустили без обозначения фирмы».

Виктор переслал статью Гайндмана и скоро получил еще одно письмо из Германии.

3 января 1901 года, Мюнхен: «Дорогой товарищ! «Революцию и кон[тр]рев[олюцию]» я получил, очень Вам благодарен за присылку этой брошюры. Насчет переправы в данную минуту мы не можем взять на себя никаких определенных обязательств. Пути у нас теперь налаживаются и повидимому наладятся, но не определилось еще, как будут они функционировать. По всей вероятности недели через 2—3 максимум сможем дать Вам вполне определенный ответ, и если будем в состоянии, то с удовольствием возьмемся переправить Вашу брошюру... Письма Ваши и корреспонденции получены. Некоторые из них мы утилизировали уже для газеты. Кстати, 1-ый номер должен быть на днях готов, и тогда я вышлю Вам его. В самом ближайшем будущем ждем сюда нашего полтавского друга. Всего хорошего... *Ваш Петров».*

Виктор списался по поводу этого письма с Андроповым и направил ответ в Германию 26 декабря 1900 года (8 января 1901 года по новому стилю).

Он сообщил, что Андропов, а тем более он сам, уже не считают себя членами группы «Рабочее зна-

мя», эту группу надо признать умершей, хотя от ее имени и продолжает действовать М. Лурье. Но с этим Лурье лучше не иметь никакого дела.

«Я с большим нетерпением жду, во-первых, приезда к Вам Вашего друга, а во-вторых, первого номера.

Моя жизнь здесь становится интереснее, так как я стал немного понимать по-английски. Но до сих пор я не могу свыкнуться со здешней резкостью контраста между беднотой и богачами: я нигде больше не видел чего-либо подобного. Стоит только выйти на улицу, чтобы натолкнуться на тот или другой вид нищеты. С другой стороны, все еще не свыкнешься с мыслью, что в Англии нет социалистов; митинги здешних социалистов тоже далеко не такие, как я ожидал встретить.

Теперь я начинаю усиленно хлопотать о месте и, может быть, скоро уеду на север Англии, так как здесь красильных фабрик нет. Крепко жму руку. Желаю всего лучшего; если Алексей приехал, поклон ему».

Пребывание в Лондоне заканчивалось. Виктор собирался поехать на время в Манчестер. Надо было подумать о заработке, кое-что перенять у передовых английских красильщиков. Он еще не представлял, как сложится его жизнь профессионального революционера, и лелеял мысль, что будет выполнять поручения «Искры», работая мастером на крупной текстильный фабрике в Питере, в Москве или в Иваново-Вознесенске.

Теперь он ждал лишь выхода первого номера «Искры» да собирал те английские газеты для Владимира Ильича, где подробно освещалось убийство министра народного просвещения Боголепова студентом Карповичем. Даже четыре строчки студенческой песни были отправлены в Германию:

Радуйтесь, честные правды поборннки,
Блнзок желанный конец.
Дрогнуло царство жандармов и дворников,
Умер великнй подлец!

В краткие часы досуга он продолжал ходить в Британский музей или сиживал у Таров, у Теп-

лова. А однажды попал на похороны королевы Виктории.

Шестьдесят четыре года правила Великобританией эта жестокая дама — императрица Индии и верная служанка английского империализма.

«В субботу ходил на похороны королевы, — писал он Андропову. — Толпа вела себя так же, как и в день приезда волонтеров, ничего «похоронного» в настроении не было. Разница между «khaky day» и «funeral day» только в том, что не было павлиньих перьев и поцелуев, все остальное было. Например, я видел, как толпа аплодировала... омнибусам, наполненным той же толпой.

Я не видел ни одной плачущей фигуры. Поэтому не верьте «Daily News», что в день похорон королевы можно было видеть страшную печаль нации».

24 января 1901 года из Мюнхена пришло еще одно письмо: «Дорогой товарищ!

Получил Ваше письмо насчет паспортов, написал своему приятелю (здешнему), от которого я мог бы ждать помощи в этом отношении, и теперь жду ответа. Думаю, что иностранный паспорт (для въезда в Россию) удастся достать (болгарский или немецкий), относительно же русского паспорта или хотя бы только бланка, т. е. паспортной книжки чистой не надеюсь. Конечно, м[ожет] б[ыть], что и это удастся, но я бы Вам советовал принять тотчас же меры к тому, чтобы добыть иностранный паспорт, — а то рискуете остаться без всякого. Русский же паспорт, если удастся достать, то скорее в России...

У нас все дело теперь за перевозкой, которая ест массу денег вследствие новизны дела. Поэтому не могу Вам дать определенного ответа насчет денежной помощи на фабрикацию паспортов, пока не определится, сколько именно нужно на это денег и насколько велики шансы, что остальное все (кроме денег) необходимое для этого имеется. Алексей выдал еще весной (sic!) деньги одной влиятельной организации на покупку (обещанных ими) чистых паспортных книжек, но пока ничего не получил.

Согласились-ли бы Вы взять на себя в ближайшем будущем постоянную функцию по перевозке — т. е. жить около границы, ездить, сноситься с контрабандистами и пр? Знаете-ли Вы немецкий язык и вообще какой-ниб[удь] кроме русского?

Жму крепко руку *Ваш Петров.*

Посылаю газету: пожалуйста, *никому* кроме Вашего друга не показывайте и сообщите Ваш отзыв. № 2-ой печатается.

Пишите мне по адресу:

Herrn Georg Rittmeyer,
Kaiserstr 53 I
München

(Без всякой передачи, если письмо по русски)».

Долгожданная «Искра» была в руках!

Газета «Российской социаль-демократической партии»!

С эпиграфом: «Из искры возгорится пламя!» И в передовице «Насущные задачи нашего движения» сказано: «Социал-демократия есть соединение рабочего движения с социализмом, ее задача — не пассивное служение рабочему движению на каждой его отдельной стадии, а представительство интересов всего движения в целом, указание этому движению его конечной цели, его политических задач, охрана его политической и идейной самостоятельности». И конечная цель определена очень ясно: «Перед нами стоит во всей своей силе неприятельская крепость, из которой осыпают нас тучи ядер и пуль, уносящие лучших борцов. Мы должны взять эту крепость, и мы возьмем ее, если все силы пробуждающегося пролетариата соединим со всеми силами русских революционеров в одну партию, к которой потянется все, что есть в России живого и честного. И только тогда исполнится великое пророчество русского рабочего-революционера Петра Алексеева: «подымется мускулистая рука миллионов рабочего люда, и ярмо деспотизма, огражденное солдатскими штыками, разлетится в прах!».

— Да, разлетится! — Виктор ходил по комнате и

рассуждал вслух. — И возьмем мы эту крепость! Сказано об этом правильно, здорово!

Ему даже показалось, что сдвинулась вдруг туманная завеса над Лондоном, и в прозрачной дальней дали видит он ту самую крепость в России, на штурм которой так пламенно звал Владимир Ильич.

Он немедленно написал в Мюнхен, что прочитал всю газету одним духом. Разумеется, он согласен с общим направлением «Искры» и солидарен с передовой, в которой так зримо ощущает силу мысли и политическую страсть автора. Но есть в первом номере и досадные промахи: взяты девизом слова декабристов, но ничего не сказано о восстании 14 декабря 1825 года, а ведь недавно был юбилей — семьдесят пять лет; в корреспонденциях с мест есть что-то такое, что близко по духу пресловутой «Рабочей мысли». И, наконец, не пора ли говорить в газете о государственном страховании рабочих от безработицы? Речь об этом может пробудить даже тех пролетариев, которые еще не принимают участия в движении. Да и о начальнике московской охранки Зубатове, который собирается играть в «полицейский социализм», сказано мало и слабо; и надо бы подчеркнуть, что его проповеди близки выводам «Рабочей мысли» об экономической борьбе.

5 февраля 1901 года. Мюнхен: «Спасибо за письмо и за подробный разбор «Искры». Обстоятельные и мотивированные отзывы с указанием (неизбежных в таком трудном деле) промахов встречаешь так редко, что вдвое ценишь их, и Ваше внимание к «Искре» подкрепляет мою надежду, что мы будем вместе работать для нее.

Вполне согласен, что внутреннее обозрение скудно. Во втором номере оно богаче, но все же таки скудно: это один из самых трудных отделов и его только постепенно можно будет наладить удовлетворительно.

О корреспонденциях Ваш отзыв, по-моему, не совсем верен. Совпадение с № 10 «Рабочей Мысли» [кстати: я не видал его — пришлите, пожалуйста] меня не пугает.

Оно доказывает, что у нас тоже есть связи с СПб. Союзом, а это очень хорошо.

Призыв «беречься» в заметке о кризисе Вы истолковываете, на мой взгляд, неправильно и натянуто. Из контекста ясно, что предостерегают *только* от *стачек,* и так как рядом стоит, что стачка не единственное средство борьбы, что именно этим тяжелым временем нужно пользоваться для других средств борьбы: пропаганды («разъяснять») и агитации («подготовлять к более решительной — NB — борьбе»), — то я категорически протестую против сравнения призыва «беречься» с Рабочемысленством... Ваше указание на демонстрации совершенно справедливо, но во-1-х, это именно подходит под более широкое понятие «более решительной борьбы»; во-2-х, придавать этому призыву бóльшую конкретность, определенность было бы неудобно при отсутствии прямого повода и невозможности оценить детально всю ситуацию. В № 2 — по поводу одной стачки и заметки в «Южном рабочем» — делается попытка сказать поопределеннее.

С тем, чтобы возбуждающим требованием должно было служить государственное страхование от безработицы, — я не могу согласиться. Я сомневаюсь, чтобы это было верно принципиально: в классовом государстве страхование от безработицы вряд ли может быть чем иным, кроме как одурачением. Тактически, это у нас в России особенно неудобно, ибо наше государство *любит* эксперименты «огосударствления», любит рекламировать их «общую пользу», и мы должны решительно быть против расширения функций *теперешнего* государства и за — больший простор общественной самодеятельности. За помощь и пособия безработным — так, но за «государственное страхование» — ?

Ваше указание на некоторую неоконченность статьи о Зубатове, пожалуй, справедливо.

О 75-летии декабристов — действительно пробел.

Если хотите, могу достать Вам болгарский паспорт. *Напишите, нужен-ли,* и если да — приметы.

С перевозкой у нас дела улучшились, и может быть обойдется и без помощи новых лиц.

«Рабочую мысль», пожалуйста, присылайте, а также и *«Былое»* и *другие Лондонские издания.* Попросил бы также каталог изданий «Fabian Society» и других социалистических фирм. Какую бы английскую газету Вы посоветовали? Не пришлете-ли пары номеров для образца? Я выписывал-было «Justice», да остался недоволен.

4-х экз. «Искры» сейчас нет. Вскоре будут. Зачем, кстати, Вам? Не забудьте, что распространять за границей *никак нельзя.* Экземпляр посланный — *только* для Вас и Вашего друга, вообще же это пока должен быть строгий секрет.

Жму крепко руку. *Петров.*

Посылаю еще нашу брошюрку. Пока тоже *только* для Вас и *под секретом.*

Пожалуйста, делитесь всеми своими впечатлениями.

Когда думаете ехать в Россию? Нам бы тогда необходимо повидаться. Не могли-ли бы Вы заехать на недельку? Как Ваши дела по части заработка и финансов вообще?

Еще раз жму крепко руку. *Ваш Petroff».*

Накануне отъезда Виктора в Манчестер пришел от Владимира Ильича второй номер «Искры», тоже под полным секретом.

Виктор доживал пятую неделю в пыльном и грязном городе английских текстильщиков. Но уже не было никакой реальной надежды получить место на фабрике без солидной рекомендации от деловых английских кругов.

В письмах к Андропову он расхваливал свой манчестерский пансионат «Ruskin Hall», где такая радушная и внимательная директриса Miss Crompton, хотя она глуховата и это затрудняет общение с ней. Но многое угнетало: и то, что деньги на исходе; и то, что с работой не клеится; и что климат мерзопакостный и всюду страшенная копоть. «Таких черных домов, черных улиц и черного неба нигде, вероятно, нет».

И Андропов жаловался, что жизнь у Черткова стала тюрьмой и что пора, пора расставаться с Англией и отправляться домой.

«Я не могу себе представить, как бы я стал жить в Англии дольше июня», — отвечал ему Виктор.

Разумеется, ехать в Россию по поручению «Искры» — дело весьма серьезное. И, несомненно, надо решиться на жертву. Только можно ли заранее узнать, какую жертву придется принести? «Конечно, нет. Поэтому всякое приготовление к жертвам излишне. Зачем Рахметов спал на гвоздях? Мне это совсем непонятно, да я думаю, что и он не ответил бы. Быть готовым на всякие жертвы, не создавать себе новых обуз, это я понимаю...»

А из Москвы и из Питера приходили сведения, которые все больше и больше разжигали желание скорее расстаться с Англией и окунуться в жаркую российскую бучу. На Пресне забастовали рабочие «Трехгорной мануфактуры» Прохорова, в Санкт-Петербурге — путиловцы. Брат Павел писал, что студенты волнуются чуть ли не в каждом городе, а в Москве такое брожение, что все ждут форменного бунта. По этой причине тело убитого министра Боголепова, привезенное на Николаевский вокзал Москвы, побоялись нести прямо на кладбище, а отправили по передаточной ветке на Брянский вокзал, откуда до Новодевичьего монастыря — рукой подать.

Городовые совсем заполонили Белокаменную. И одного студента обругали за что-то на Тверском бульваре. Студент возмутился, стал громко протестовать. Мигом собралась толпа. Появился пристав, дал знак, и из дома напротив станции конной железной дороги выбежали пятнадцать полицейских чинов и забрали студента. Теперь этот дом называют «магазином готовых городовых».

И почти на другой день пришло ужасное сообщение о зверской расправе с питерскими студентами у Казанского собора в воскресенье 4 марта.

Студенты собрались, чтобы выказать протест против репрессий начальства. В полдень, когда из переполненного собора начали выходить люди, молодежь

столпилась на площади: море голов — тысяч десять! Кто-то пустил шар — это был знак к началу демонстрации, и над головами распахнулись два полотнища: белое — от студенчества, красное — от рабочих. Почти стихийно возник митинг, и один из студентов произнес с паперти речь:

— Долой «Временные правила»! Не позволим гнать нас в солдаты! Не настало ли время изменить политический строй?

Разноголосо пронеслось над толпой:

— Согласны!

— Ура!

Белым облаком взлетели над площадью прокламации студентов.

Прибыл в коляске градоначальник Клейгельс. Он огляделся с улыбкой и пересел на коня в седло. Приказал открыть ворота соседних домов и поднял шашку. Казачья кавалькада на гнедых конях врезалась в толпу, развернулась и прижала демонстрантов к ограде и к паперти. И молча — с нагайками в руках — приготовилась к экзекуции. Начал есаул, ударил наотмашь вахмистр, сотня пошла со свистом стегать по сторонам. Истерическим воплем огласилась площадь, под ноги лошадям упали первые жертвы.

Отступая, люди бросились вплотную к собору и попытались укрыться за колоннами. Но между этими колоннами, над которыми написано золотой вязью: «Грядый во имя господне» — и совершился последний акт гнуснейшего насилия. Казаки образовали коридор, в него ринулись пешие городовые. Они хватали девушек и молодых людей, били их в лицо, в шею, в спину — кулаками, саблями в ножнах, дубинками. Одному недобитому студенту разъяренный держиморда встал на шею кованым сапогом, кто-то услыхал хрип умирающего. Сбитых с ног студенток тащили за косы к Невскому. А тех, кто укрылся в соборе, ошалелые городовые хватали за руки, за волосы, били головой о стены.

Ярость сплотила демонстрантов. Они разломали перила, начали вырывать из рук врага нагайки, ду-

бинки, шашки. И развернулось побоище, какого еще ни разу не видел Питер.

Но силы были неравные. И Клейгельс потирал руки от удовольствия, отмечая, как его холуи теснят и вяжут демонстрантов. Он все предвидел и не потому ли уже заранее подготовил полсотни карет Красного Креста, куда навалом бросали живых и мертвых.

В мясорубку возле Казанского собора попали и очень известные люди. Приват-доцент П. Струве и писатель Н. Анненский были ранены, литератора А. Пошехонова сбросили с лестницы и поломали ему кости.

В каталажку увезли 1 050 человек!

Клейгельс доносил вечером Николаю II:

— Бунт в Санкт-Петербурге усмирен, ваше величество!

Но «Искра» великолепно повернула эту фразу кровожадного столичного градоначальника: «Бунт — неудавшаяся революция, а революция — это удавшийся бунт!..»

Сорок четыре писателя, и среди них М. Горький, Д. Мамин-Сибиряк, Н. Михайловский, Е. Чириков, Н. Рубакин, В. Поссе, А. Богданович, П. Вейнберг, А. Калмыкова, Н. Анненский и А. Пошехонов, опубликовали протест, в котором было сказано: «Мы полны ужаса перед будущим, которое ожидает страну, отданную в распоряжение кулакам и нагайкам... Мы лишены всякой возможности воспрепятствовать этим зверствам. Мы — писатели — делаем попытки хотя огласить факт...»

Виктор писал Сергею Андропову: «Я страшно жду, что будет в России 1 Мая. Если будет демонстрация, то она будет более кровопролитная, чем 4 марта, потому что рабочие будут вооружены чем попало, будут и револьверы. Каждый будет вооружаться для защиты. Я считаю это необходимым и разумным. Что это будет, подтверждается следующим фактом: после максвелевского побоища рабочие в Харькове и Полтаве завели нагайки с пулями на концах.

Теория о неразумности террора есть только у интеллигенции, рабочие не знают ее и будут применять.

Теория же о самозащите силой против силы есть и у интеллигенции, да и не может не быть: если меня убивают, или убивают моих близких, неужели я смогу ограничиться только криками? Нет, я тоже буду убивать! Я думаю, что и Вы во время побоища, ужасающего по своей жестокости, заставляющего забывать, что враги — люди (как хотите, я не могу видеть в Клейгельсе *человека)* и вы будете защищаться *всеми* силами и способами. Все это ужасно, но жизнь заставляет делать».

Сергей Андропов ничего определенного об этой тираде Виктора не сказал. Из Манчестера пошло письмо в Мюнхен Юлию Осиповичу Мартову, который недавно покинул Полтаву и обосновался в Германии. Мартов написал в ответ 15 мая 1901 года: «С тем различием, которое Вы проводите между личным террором и террором масс, можно согласиться. Но у нас понятие террора получило особый личный характер, и неудобно его применять к насильственным действиям массы... Но во многих случаях насилия над правителями, совершенные массой, не менее полезны, чем насилие над зданиями...»

Общий вопрос о насилии масс был решен. Теперь Виктора волновал вопрос о главных тактических лозунгах дня, поскольку программа Российской социал-демократической партии еще не была подготовлена. И Виктор запросил Мартова, как он смотрит на лозунг о парламентской республике.

Мартов ответил: «Нашими определенными политическими требованиями являются — созыв Земского собора на демократических началах и свобода печати, собраний, союзов. Таков минимум, который должна выставить рабочая партия... Земский собор — это широкое понятие, и его заменить парламентом нельзя. Это — собрание на основе всеобщего избирательного права. Это — Учредительное собрание для выработки конституции (а парламент — это лишь постоянное законодательное собрание на основе конституции!).

Пока еще наш проект программы не выработан.

Мы страшно заняты организационными делами (переговоры с «Союзом русских с-д», с группой «Освобождение труда» и т. д. о конференции, которая решит вопрос — возможно ли между нами соглашение, и в какой форме?)».

Одновременно Мартов прислал номера 3-й и 4-й «Искры» и сообщил: «В передовой статье № 4 Вы найдете план такой организации или, вернее, ее остов». Речь шла о статье Ульянова «С чего начать?».

И с паспортами дело налаживалось: для этого Новоселову и Альбину рекомендовалось приехать в Германию.

Примерно в эти дни поступила бандероль из Штутгарта: пришел первый номер «Зари» — журнала научного и политического, задуманного редакторами «Искры». Владимиру Ильичу важно было проверить, какое впечатление производит новый орган на молодого рабочего — вдумчивого, открытого, честного.

Виктор не обманул ожиданий Ульянова. Далеко не все статьи ему нравились, и он заявил об этом довольно резко, но не очень обоснованно. Он даже подчеркнул, что первый номер «Былого» несравненно лучше «Зари»: в альманахе у Бурцева на каждой странице можно видеть между строк точный прицел: «Убей царя!» «А в «Заре» слишком много полемики с «экономистами». Может ли быть эта борьба с экономизмом главной целью русских революционеров? Нет! С экономизмом надо бороться, это бесспорно, но излишние разговоры об этой борьбе уже надоели. Главный враг не «экономисты», а правительство. «Заря» должна помогать разбираться в общих государственных вопросах России и сделаться таким журналом, у которого каждая строка бьет правительство. Именно такого журнала и ждет революционная Россия. А всякой полемике с «Рабочей мыслью» и с «Рабочим делом», так сказать «домашним делам», надо отделить в журнале определенный уголок. Иначе о нас будут говорить так, как говорили рабочие о чернопередельцах и народовольцах: «Другим проповедуют единение, а между собой только грызутся!»

Виктор выделил «Случайные заметки», которые

особенно ему понравились, но отметил, что материалов о внутреннем положении России все же очень мало.

Статья Г. Плеханова «Еще раз социалистическая и политическая борьба» может произвести революцию в умах, но в ней две досадные оговорки о «стадиях» политической агитации в массах. А уж лучше бы ответил автор на такой жгучий вопрос: что должен делать революционер в той местности, где рабочее движение еще не начиналось, и там, где еще чувства недовольства и протеста не зародились? И вопрос-то не сложный: революционер должен в первом случае вызвать рабочее движение на политической почве, а во втором — возбуждать чувства недовольства политическим положением. Если Плеханов думает иначе, то зачем он писал свою статью?

А статья Молотова (Парвуса) совсем плохая. И где это автор вычитал, что «английские рабочие прекрасно сознают, что имеют классовый интерес, существенно отличный от интересов всех буржуазных партий» (?) Послушал бы он хоть одну речь на здешних митингах, где покрывают насмешками всякое заявление о классовой борьбе. И известно ли автору, что в английской социал-демократической федерации всего лишь девять тысяч членов? А массы стоят в стороне, потому что лишь эта федерация говорит о классовых противоречиях! И в английском парламенте, куда рабочие имеют право избирать своих депутатов уже пятнадцать лет, только три представителя рабочего класса, и те стоят на позициях «Рабочей мысли»!..

«Простите меня, что я, может быть, слишком грубо все это написал, но повторяю, что я все это чувствую и не могу не писать. Я буду очень рад, если Вы докажете мне, что я неверно понял «Зарю». Но не забудьте, что только одна статья Молотова мне не нравится, и что от многих статей я в восторге, что я вполне согласен с принципами, высказываемыми в «Заре».

6 апреля 1901 года, Мюнхен: «Сейчас получили мы с Алексеем Ваше письмо о «Заре». Большое спа-

сибо за обстоятельный и откровенный отзыв: такие отзывы тем ценнее для нас, что они очень редки. Указания Ваши на недостаточность политич[еских] обзоров и статей в Заре совершенно справедливы. Мы вполне сознаем этот недостаток и приложим все усилия к его исправлению.

Жму руку Ваш *П.*»

Софья Николаевна Мотовилова перед отъездом в Испанию подарила Виктору большой портрет Карла Маркса. С этим портретом — единственной ценной вещью, которая поступила к нему в Англии, — Виктор и приехал в среду 8 мая 1901 года в Крайстчарч — через Ливерпуль и Бристоль, минуя Лондон.

В скромной квартирке наборщика Розена — латыша, социал-демократа — он устроился вместе с Николаем Александровичем Алексеевым, который приехал недели на две: погостить у Андропова и немного отдохнуть у моря.

Андропов работал у Черткова от зари до зари. Виктор больше общался с Алексеевым, в котором видел и хорошего друга и остроумного собеседника.

Еще в Лондоне через Виктора завязалась у Алексеева переписка с Петровым, и взгляды молодых друзей в оценке «Зари» и «Искры» оказались идентичными. «Искру» Алексеев приветствовал со всем пылом юности. А «Зарю» критиковал: она казалась хорошей с отвлеченной точки зрения, но оставляла желать многого как политический орган.

— Вы правы, Виктор Павлович, журналу надо быть ближе к жизни, — говорил он. — Чересчур «Заря» литературна! А зачем же ей обсуждать литературные произведения вместо политических актов? Но с вашей оценкой статьи Плеханова я не согласен: а ведь старики, видать, являются тормозящим элементом! В каждом деле будущее за молодежью. И еще одно: пора бы нам заняться разработкой национального вопроса в социалистическом направлении. Об этом зашел у меня спор с поляками в одно из воскресений, когда я читал лекцию в эмигрантской

колонии. Косо смотрят поляки на наше движение, национализм туманит им глаза. Ну, я и сказал: люди, не поддерживающие русское движение из национальной обидчивости, делают крупную политическую ошибку, если не преступление по отношению к себе и своей нации!.. Грубовато, как вы думаете?

— Не ласково, зато правильно! Да вы мне и нравитесь, что всегда петухом налетаете! Так драчливым петухом и останетесь! — усмехнулся Виктор: он вспомнил, как Алексеев наскакивал на Кропоткина в тот вечер, когда отмечался юбилей декабристов. — А за петуха не обижайтесь... я и сам такой!

Бурцев, с которым тоже виделся в эти дни Виктор, прожил в Крайстчарче самую малость: он готовил второй номер «Былого» и о чем-то вел переговоры с Чертковым, явно торопясь в Лондон. А ранним утром и поздним вечером, закутавшись в мохнатый плед, сидел у моря: врачи обнаружили у него туберкулез и советовали дышать соленым воздухом Ла-Манша.

Шел ему сороковой год. Жизнь изрядно измотала его, но он держался бодро и когда забывал о своей болезни, то рассказывал много, с увлеченностью человека, у которого ясны перспективы, точно определена цель. А Виктор этой его цели не видел. Да и просто странным казалось ему, как это Бурцев, человек умный, в тюрьмах сидевший, с жизнью общества связанный сотнями нитей, все долдонит о возвращении к народническим методам борьбы, когда на политическую арену уже вышел новый, революционный класс.

— Я тоже его не понимаю, — Алексеев пожимал плечами. — Начнет о себе рассказывать — поэма! Тут и аресты, и ссылка, и каторга, и побеги. И сколько живописнейших фактов из истории русской революции отпечаталось в этой круглой голове Бурцева! А перейдет к своему «credo» — сущий младенец. Но с опасной игрушкой, которую зовут бомбой...

Однажды Виктор сходил на вокзал в Крайстчарч за газетами и прилетел оттуда на крыльях: в руках

у него был апрельский номер журнала «Жизнь» с «Песней о буревестнике» Максима Горького.

Виктор увлек Алексеева к морскому берегу. Волны с плеском подкатывали к ногам, за рыбачьей лодкой белой тучкой летели чайки. Рыбаки у причала разбирали сети, попыхивая черными носогрейками.

Этим-то рыбакам и пришлось увидать, как бородатый молодой русский, в пенсне, высокий и красивый, с развевающейся на ветру каштановой шевелюрой, вышагивал по гальке перед своим другом в клетчатом пиджаке и кричал во все горло:

— Буря! Скоро грянет буря!

И друг отвечал ему, споря с ветром:

— Пусть сильнее грянет буря!

Рыбаки не понимали русских слов. Но было в них что-то такое, что хватало за душу и говорило о силе чувств, о подвиге, о благородстве.

Кончился май, уехал Бурцев. Следом за ним — Алексеев: он оставался в Англии доверенным лицом «Искры» вместо Ногина. К середине июня Сергей Андропов навсегда расстался с Чертковым. Друзья укатили в Лондон.

А через три дня двинулись в дальний путь. И путь этот был тернист, он требовал и подвига и жертв...

«ИСКРА» ПРОНИКАЕТ В ПИТЕР

В Мюнхене долго искали Петрова, с трудом нашли Мейера. Он и оказался Ульяновым.

Надежда Константиновна с юмором рассказывала, что и ей пришлось быть в такой же ситуации. Она приехала ранней весной в Прагу и занялась поисками. Нашла Модрачека: через него поступали к ней в Уфу книги от Владимира Ильича. Сказала Модрачеку, что ищет мужа. Чех направил ее в Мюнхен. Но у Владимира Ильича уже переменился адрес. И только через несколько дней удалось Надежде Константиновне разыскать законспирированного супруга.

— Но уж лучше так конспирировать, чем жить на виду у заграничной охранки, — закончила свой рассказ Крупская.

Виктору это понравилось. Ильич умел скрываться: Ильин, Тулин, Петров, Мейер! А сейчас на письменном столе Мейера-Петрова лежала часть рукописи для второго номера «Зари» под названием «Аграрный вопрос и «критики Маркса». Эта работа вскоре была подписана новой фамилией, которая стала революционным знаменем века, — Н. Ленин. Ульянов был и Карповым, и Вильямсом, и Фреем. Но это лишь эпизоды в жизни большевика: в историю он вошел под именем Ленин.

В маленькой мюнхенской квартире, где обзаведение было куплено недорого, из подержанных вещей, по хозяйству хлопотала мать Надежды Константиновны — Елизавета Васильевна, в облике которой было много от Варвары Ивановны Ногиной: та же русая коса на затылке, добрый взгляд, проворные мягкие руки и негромкий убаюкивающий голос.

Но и самой Надежде Константиновне приходилось делить время между шифровкой писем, многочисленных ответов корреспондентам, чтением книг, газет, журналов и уборкой коридора, кухни и лестницы: у Ильичей был пролетарский быт. Никто не помышлял о кухарке или лакее, и сам хозяин начинал прием гостей с того, что ставил на кухне чайник со свистком и срочно убирал со стульев рукописи и книги, чтобы подготовить местечко для беседы.

В тот день, когда нагрянули Новоселов и Альбин, зашел с визитом к Ильичам человек пасторского типа — в глухом черном сюртуке, в очках, с окладистой бородой на чистом розовом лице, с тихим, вкрадчивым голосом — Карл Каутский. Он был проездом в Мюнхене и счел должным отдать визит русскому собрату.

Душеприказчик Энгельса, теоретик, обрушившийся с едким сарказмом на Бернштейна, такой человек внушал Виктору уважение. Но встреча вышла какой-то чинной и чопорной, и чаепитие не клеилось, потому что гость выдавливал весьма незначительные реплики на чистейшем берлинском диалекте и отвечал намеками, уклоняясь от спора: так бывает в обстановке, когда все настороженны, а взрыва, русского гомона или просто крепкой дискуссии ритуалом не предусмотрено.

Таким и остался в памяти Виктора этот новоявленный германский теоретик: застегнутый на все пуговицы, галантно целующий руку двум дамам в передней.

Виктор вспоминал о нем позднее не раз и все ловил себя на мысли, что в революцию нельзя идти вот таким галантным и застегнутым, блестящим только в мысли и никчемным на деле и никак нельзя

забывать о разумном сочетании теории и действия, революционной романтики и суровых будней.

Жизнь быстро указала место каждому деятелю. Те романтики, которые не могли понять силы объективной мысли, уже через год отсеялись в ряды эсеров. Теоретики, лишенные силы воли и отстранившиеся от революционного действия масс, завязли в бездонной трясине мелкобуржуазного меньшевизма. А среди большевиков остались лишь те, кто соединял уважение к точной и трезвой мысли с кипучей энергией и страстной волей. Таким и раскрылся при первой же встрече Ленин.

Он стал говорить о своей статье в четвертом номере «Искры» — «С чего начать?». Она была откровением для двух лондонцев. А Владимир Ильич уже шел дальше. Он рисовал величественный план, как «Искра», соединяя рабочее движение с социализмом, завоюет в два-три года все промышленные центры России.

В устах Каутского это было бы сущим прожектерством: ведь при самом скрупулезном подсчете обнаруживалась на просторах Российской империи удивительно малая кучка организаторов «Искры»: И. Бабушкин и Н. Бауман — в Москве, Л. Радченко, О. Бассовский, Л. Гальперин, С. Цедербаум и Л. Гольдман — на Украине, Л. Книпович начинала создавать опорный пункт в Астрахани, В. Крохмаль — в Киеве, П. Лепешинский — в Пскове. А Питер, Баку, Урал, Иваново-Вознесенск, Тифлис, Рига и Ревель — пусто, темно!

Теперь должны были подключиться к этой десятке Ногин и Андропов, но и им рекомендовалось ехать в Одессу, а затем попытать счастья в Николаеве.

Однако даже два новых агента «Искры» воспринимались в устах Владимира Ильича весьма грозной силой для «власть предержащих». В крылатой речи Ленина они превращались в полководцев, в маршалов революции, расставляющих свои боевые порядки на Руси.

И Виктор невольно поддался этим — железным по логике — уверениям Ильича. Он спросил лишь:

— А как же Питер?

— Опасно, Виктор Павлович, очень опасно! Я совершенно уверен, что провал там неизбежен. Питерцы подхватят почин тех, кто сумеет укрыться от охранки в других местах, к примеру в Одессе. И если агент развернется там, в Питере аукнется немедленно. А литература в столицу уже идет: ее транспортирует туда «2а3б» — Пантелеймон Лепешинский.

Первое внешнее впечатление словно бы обмануло Виктора: Владимир Ильич, которого он представлял себе почти былинным богатырем, оказался коренастым, лысоватым человеком, с бородкой, удлинявшей его скуластое лицо, с громким гортанным голосом высокого тембра.

Но подкупало то, что весь он в движении: и глаза — темно-карие, пытливые, с прищуром, мгновенно отражавшие любую перемену чувств, — и радость, и гнев, и одобрение, и сочувствие, и осуждение; и руки — им скучно было лежать на коленях или покоиться на груди, перебирать бумаги на столе и теребить бороду, и им находилось место то в карманах, то за бортами жилета; и ноги — Ильич довольно быстро перемещался по комнате, ловко лавируя среди стеснявших его вещей, или присаживался на гнутый венский стул, перекрещивал ноги и поводил тупоносым стоптанным башмаком с неярким глянцем ваксы.

Когда же он говорил, хотелось видеть только глаза. Они излучали тепло, а порой и обжигали, как парижские каштаны с жаровни, потому что речь шла о самом близком и сокровенном: об «Искре», которую в России зачитывают так, что от газетных полос остается «всего ничего», и о великом деле партии, призванной сокрушить гранит имперской крепости.

Глаза становились холодными, жесткими — это он говорил о жертвах, о тюрьмах и ссылках, о мучительном угасании тех, кто был подлинным другом, и о шумном пустозвонстве случайных людей, готовых продать революцию за чечевичную похлебку.

И слушал он как-то по-своему: наклонив голову и немного скосив глаза. И задавал такие простые вопросы, которые легко направляли беседу. И не мешал говорить, но резюмировал остроумно, с блеском. Виктор рассказал, что недавно виделся с Бурцевым. Владимир Ильич усмехнулся:

— Сплошное противоречие этот Бурцев! Революционное движение масс он отрицает, потому что массы способны лишь на «бунт бессмысленный и беспощадный». И начисто забывает о бунте направленном, который может послужить началом революции. Он хочет запугать царя из своего лондонского далека, добиться от него уступок — реформ, конституции. В этом смысле он — либерал. А грозится террором: смешной человек — либерал с бомбой! Слова вроде и несовместимые: либерал и бомба, — ведь господа либералы против террора, им куда милее мирный путь уступок. Поэтому все у Бурцева — чушь, фантасмагория! А вот дай ему доступ к царским архивам, он раскопает!

В часы, когда Ленин писал или редактировал статьи для «Искры» и для «Зари», Ногин и Андропов обычно поступали в распоряжение Надежды Константиновны Крупской. Она показывала, как нужно составлять химические письма — молоком или лимоном — и умело прятать текст между строк невинной дружеской записки.

А по ведомству Елизаветы Васильевны значились стихи: их надлежало выучить назубок — так создавался шифр для переписки. Ногин и Андропов три вещи учили два дня. «У лукоморья дуб зеленый» Пушкина и «Школьник» Некрасова дались сразу: что-то еще хранила цепкая память детских лет. А басня Крылова «Дуб и трость» никак не лезла в голову. Однако Елизавета Васильевна очень любила эту стихотворную притчу, и Надежда Константиновна весьма ценила ее по деловым соображениям: в тридцати семи строчках у Ивана Андреевича Крылова содержались все буквы алфавита.

Но еще сложнее было не запоминание текста, а отличное знание букв в строке, так как при шиф-

ровке полагалось указывать цифрами и строку и местоположение буквы.

Всему семейству Ульяновых пришлись по душе два великовозрастных «ученика»: они прилежно постигали «науку» и горели желанием ехать в Россию по делам «Искры». И Владимир Ильич писал 9 июля 1901 года П. Б. Аксельроду: «Здесь теперь лондонцы, мне они нравятся. А Вам как?»

Два лондонца часто заглядывали на квартиру к Мартову. И если у Ленина на письменном столе, заваленном грудами рукописей, все же поддерживался порядок и сам Ильич — даже в сутолоке и спешке — писал спокойно, твердым почерком и никогда не забывал, где лежит нужная ему вещь, то у Юлия Осиповича царил невообразимый хаос: обрывки газет, рукописи, заметки, журналы, книги, клей, ножницы, окурки, пепел. Хаотичен был и почерк Мартова. Нервные строки убегали в правый нижний конец страницы. А уж где лежало, что и почему, он забывал мгновенно, так захватывала его новая мысль. Начинались поиски — листы бумаги снежным вихрем летели на пол. И если заметка или цитата терялись бесследно, он — с удивительной памятью стенографа — немедленно записывал ее заново и почти всегда дословно.

Два человека, два стиля работы, два почерка.

Сутулясь и прихрамывая, Мартов встречал гостей с веселой шуткой. А когда они попадали не ко времени, он совал им в руки исчерканную вдоль и поперек какую-нибудь заметку с мест и просил найти, нельзя ли где исправить текст еще.

Затем он усаживался в ветхое кресло, обитое красным бархатом, поправлял очки с выпуклыми стеклами и начинал свой очередной «семинар».

Да иначе и нельзя было назвать эти импровизации, эссе, заметки, оценки и перспективы.

— Главное — это расстановка сил, — он закуривал, жадно затягивался и, поглядывая на пепел папиросы, уже прикидывал, не взять ли другую из большой жестяной коробки. — После того как загнали «под красную шапку» студентов из Киева, а баши-

бузуки столичной полиции учинили погром у Казанского собора, зашевелились даже умеренные отцы русского общества. Сейчас образована группа земцев-конституционалистов и сколотился «Союз освобождения». В этот союз вошли известные вам лица: Милюков, Кускова, Струве, Прокопович, Богучарский и другие. С ними у нас дела нет. Но если из этой братии раскошелится кто-либо на «Искру», Иуда-близнец к примеру, — так мы зовем Струве, — берите, не задумывайтесь, но обязательств никаких не давайте. Понятно? — Мартов схватил вторую папиросу, но долго провозился со спичкой. — Сейчас оформляется «Союз социалистов-революционеров». Кое-кто перебежал туда из группы «Социалист» — вы с этой группой знались через «Рабочее знамя», — Борис Савинков например. Там будет и Чернов и ваш знакомый Бурцев. Для эсеров выстрел Карповича положил начало возвращению революционного террора. Эти нам слишком дальняя родня, не ближе троюродных братьев. О терроре вы читали у Ленина в статье «С чего начать?», принципиально мы никогда не отказывались и не можем отказываться от террора. Но террор должен быть незаурядным военным действием масс, он один из приемов решительного штурма. А бомба под царя, Победоносцева или Клейгельса — дело не наше. Ясно? — Он взял третью папиросу. — В заграничной организации эсдеков открытый разрыв. Меньшинство (Плеханов, Кольцов, Линдов) создали революционную организацию «Социал-демократ». Цель — литературная пропаганда марксизма и борьба с его теоретическими и практическими искажениями. Вот вам «Wademecum» Плеханова, читайте, набирайтесь ума. Через день-два я вам выдам паспорта, они уже отправлены из Женевы. Главная наша задача сейчас — готовить программу партии и брать прицел на созыв съезда. С «Искрой» в руках вы будете идти в самом фарватере. Первый чемодан с газетой увез Николай Бауман, на вашу долю приходятся второй и третий. Вы пионеры движения, и в победе «Искры» на съезде будет ваша лепта. Реальны ли перспективы съезда? Да. Владимир Ильич одержим большой

идеей: он хочет создать «Заграничную лигу русской революционной социал-демократии». Она объединит нашу «Искру» с плехановским «Социал-демократом», и мы станем значительно сильней. Думаю, что договоримся об этом к осени. Вот лига и займется съездом. А теперь один совет вам. Помните, у Некрасова:

Тут полнейшая возможность
К обвиненью без суда...
Ради бога, осторожность,
Осторожность, господа!

Следовательно, конспирация и еще раз конспирация. Ну и регулярные отчеты о своей деятельности. Денег немного дадим, но жить придется беднее нашего. Гуляйте по Мюнхену, друзья, а у меня номер, номер, номер!

Он кивал на прощание, вынимал из коробки новую папиросу и зарывался в бумаги.

Мюнхен нравился как архитектурный музей. На левом берегу реки Изар стояли стариннейшие шедевры зодчества: и церквушка Петерскирхе, и Старая ратуша, и замок Нимфенбург. А рядом в замысловатых подвальных залах подносили в глиняных кружках на картонных тарелочках хмельное тягучее пиво баварцев.

Но красивый готический город, приглаженный всюду с немецкой аккуратностью, насквозь был пропитан католицизмом. Садилось летнее солнце, под звон колоколов в костелах заканчивались вечерние мессы, кюре — в длиннополых одеждах и широких шляпах — замыкали шествие богомольных горожан, и все кругом погружалось в крепкий сон. Далеко до полуночи закрывались кабаре с певичками, молодые влюбленные пары прощались на мосту или под тополями бульвара. И только дюжие полисмены гулко вышагивали по каменным плитам улиц.

— Спать, Виктор Павлович, спать! — тянул домой Андропов. — Эх, и скучно в этом сонном царстве баварских михелей! Я не продержался бы здесь и полгода. То ли дело Питер: одно филипповское кафе на Невском дороже всех здешних пивных!..

Накануне отъезда Андропов пошел нанести визит Вере Ивановне Засулич и изрядно волновался: старая революционерка была весьма строгой в суждениях, сложной, искренней, принципиальной, материально безразличной и такой спартанкой по образу жизни, что в небольшой русской колонии о ней поговаривали:

— Она же воплощение духа! Человек почти без плоти!

Виктор проводил друга до перекрестка и купил в киоске сытинскую газету «Русское слово». Благодаря блестящим усилиям Дорошевича и Амфитеатрова она стала столь интересной, хотя и отражала всего лишь умеренно-либеральные взгляды издателя и его резвых фельетонистов.

Он мельком пробежал глазами по большим страницам и вдруг почувствовал, как радостно забилось сердце. И, расталкивая прохожих, опрометью кинулся к Владимиру Ильичу.

— Какая новость! — крикнул он на пороге, размахивая газетой.

— Уж вы, батюшка, не двести ли тысяч выиграли по билету? — пошутила Елизавета Васильевна.

— Убили Пирамидова!

— Кто, эсеры? — Ленин вышел в переднюю.

— Да нет, свои, флагштоком по затылку!

— Нуте-с, — Ленин быстро прочитал заметку. — Какая ирония судьбы! Надя, ты погляди, что случилось в Питере!

Для тех, кто сталкивался с Пирамидовым на тернистом пути революции, уходила в небытие целая полоса жизни. С 1897 года, когда он стал во главе столичной охранки, погромы не затихали.

«Внутренний враг» должен трепетать!» — говаривал этот крупнейший в России охранник. Шесть больших погромов в девяносто седьмом году, шесть — в девяносто восьмом, восемь — в девяносто девятом, пять — в девятисотом, семь — в девятьсот первом! Герой тридцати двух походов! Он забрасывал шпионов в среду рабочих и студенчества, он не гнушался арестовывать подростков и детей, чтобы у них выпытать сведения о старших. При нем сожгла себя Вет-

рова и зарезался на Шпалерной не причастный к революции Костромин.

Его ждала пуля террориста. Но возмездие пришло случайно: недавно спускали в Питере броненосец «Император Александр III»; Пирамидов суетился, охраняя особу государя, который разбивал о борт корабля бутылку шампанского; налетела сильная гроза с ливнем, поднялся ураганный ветер, с броненосца сорвался флаг вместе с тяжелым флагштоком; дубиной пробило голову усердному охраннику.

Похороны закатили ему по первому разряду. Были венки от великих князей и королевы эллинов. Но самым пикантным был венок «От тайной агентуры!». Этого еще не знала Россия — венок от шпионов!

— Уму непостижимо! — хлопнул себя по колену Владимир Ильич. — Умрет министр финансов Витте, за ним понесут венок «от взлелеянных казнокрадов»; за Муравьевым, министром юстиции, — от «спасенных мздоимцев». А на гроб Николая Романова возложат венок «от тысячи и одной балерины»! Эх ты, матушка Русь!

«Для петербургских рабочих имя Пирамидова будет всегда связано с первым периодом их массового выступления на путь классовой борьбы, как имя бессовестнейшего и беспощаднейшего из царских палачей», — это написал Ленин для 7-го номера «Искры».

На Ильича нахлынули воспоминания. И перед Виктором проходили штрихи биографии Ленина — от первого ареста в Казани до встречи с Пирамидовым в прошлом году, когда тот открыто похвалялся, что в Царском Селе и в столице охранники у него понатыканы как сельди в бочке.

Дома Виктор вспомнил описанную где-то историю сходки казанских студентов в ту злополучную ночь 5 декабря 1887 года, когда пролетка мчалась к тюрьме, а полицейский пристав любовно поддерживал Владимира Ильича за талию.

Сходка была за городом, на кладбище, в морозную лунную ночь. Всюду «визитные карточки» господ, упокоившихся вечным сном. И мертвым предстоит

выслушивать речи о свободе, равенстве и братстве. Первый оратор взобрался на памятник, чтобы речь его была слышна в задних рядах. И подумать только, под каменной плитой покоился прах жандармского полковника!

Вечером старый конспиратор Юлий Мартов — он же Алексей, Берг, Пахомий и Нарцис Тупорылов — старательно заполнил чистые бланки паспортов: Новоселов-Ногин обратился в Яблочкова, Альбин-Андропов стал Брусковым.

— Проезжала через Мюнхен моя сестра Лидия, вы ее знаете, — сказал Мартов. — Так вот, она была здесь недавно и оставила вполне надежный адрес для перехода границы в районе Эйдкунена. Вот вам явка. На случай, если разминетесь в пути, сборный пункт у моего брата Сергея в Вильно. Заучите пароль и адрес, — Мартов подал листок и снова спрятал его в стол. — Чемоданы готовы. Итак, присядем, друзья, и — в добрый час!..

Переход состоялся почти без приключений.

Но русская полиция получила известие о первых же шагах лондонцев. И директор департамента полиции 20 июля 1901 года послал шифрованную телеграмму начальнику московской охранки Сергею Зубатову: «По достоверным указаниям Андропов и Новоселов выехали из-за границы в Россию для переговоров о слиянии «Рабочего знамени» с Российской социал-демократической партией. Должны теперь находиться в Москве. Примите тщательные меры к выяснению и учредите неотступное секретное наблюдение, сопровождая при выездах. Жду уведомления. Директор Зволянский».

Зубатов не обнаружил в Москве Сергея и Виктора. Но полицейская машина закрутилась на полный ход...

Во второй половине июля три старых приятеля встретились в Вильно на нелегальной квартире Сергея Цедербаума, после долгих мытарств он проживал там под кличками «Ежов» и «Яков».

Его «забрили» в конвойную команду полтавского вице-губернатора Балясного, он удрал в солдатской одежде, по пятам гнались за ним до Двинска. Он укрывался в Берлине, а затем появился в Гродно.

— Теперь я обосновался здесь, — рассказывал Цедербаум. — Налаживаю транспорт литературы, нашел прекрасного помощника, кличем его Пятницей, а в миру звали Иосифом Таршицем. Он заменяет меня во всех делах, когда приходится болтать на языке библейском или на еврейском жаргоне, я по этой части — швах!

— Ну, а как в Питере? — спросил Виктор.

— Туда двинулись товарищи завоевывать организацию, в их числе Степан Радченко. Санкт-Петербургский комитет враждебно относится к «Искре»: слишком крепко пустили корни товарищи «экономисты». В столице надо создавать самостоятельную организацию. И — на мой взгляд — со своей районной газетой по типу «Южного рабочего». Вот вам и карты в руки! В Полтаве еще мечтали об этом, а сейчас такой случай!

— Мы едем в Одессу.

— Эка невидаль! Питер почти рядом, каждый человек там на вес золота, а они будут нежиться у Черного моря! Да и все ли правильно видят наши «старики» в Мюнхене?

Разговаривали и спорили до рассвета. И решили так: Яблочков заедет в Москву к Бауману и Бабушкину и побывает в городах верхней Волги; Брусков заедет на разведку в Питер, затем повидает сестру Надежду в Бирске и завернет в Москву, чтобы ехать с Виктором в Одессу. Яков пока останется здесь и изложит Ленину и Мартову свой проект «завоевания» Питера. Лондонцы не прочь сменить Одессу на столицу, но хотят заручиться согласием редакторов «Искры».

Андропов и Ногин благополучно прибыли в Москву и распрощались — на время, до скорой встречи. Но повидаться им пришлось только через год, в пересыльной тюрьме.

Николай Эрнестович Бауман жил как на вулкане. Его клички — Грач и Григорьев — полиция расшифровала. Но он держался, потому что был человеком весьма осторожным и подлинным романтиком нелегальной борьбы. Он знал десятки проходных дворов и не раз спасался от погони. В каждом районе имелись у него друзья, которые давали ему кров и пищу в минуты серьезной опасности. Его любили за общительный нрав, за горячее, точное слово и за ту неизбывную убежденность, даже одержимость, с какой он относился к делам партии, к делам «Искры».

«Достал» его Виктор Павлович на даче во Владыкине, через фельдшерицу Урукину из Старо-Екатерининской больницы, по условному паролю: «Я от Зои».

Бауман рассказывал, что он с Богданом — Иваном Васильевичем Бабушкиным — сколачивает сейчас московский отдел «Искры» и что Ногин прибыл ко времени, так как недавние руководители московских рабочих Марат-Шанцер и Скворцов-Степанов находятся в Бутырской тюрьме.

— Давайте литературу! Без нее нам зарез. Связей с рабочими мало, да и Зубатов сидит у них на шее, и кое-кто верит ему. Не собираются ли дать по этому охраннику крепкий залп в «Искре»? Первая-то заметка показалась нам слабоватой.

— Обещали дать в восьмом номере. Так говорил Владимир Ильич. Но ждут от вас хоть несколько фактов.

— Напишу сегодня же. Долго ли сможете пробыть у нас?

— Боюсь, что недели три, не меньше. Мне нужны деньги и паспорт. Да и экипировка. — Ногин оглядел свой костюм и смутился.

— Ну, костюм еще хоть куда! Скрываться да закоулками ходить — лучше и не надо! И договоримся так: мы устроим вам две-три встречи с рабочими Рогожской заставы. Сам я слишком там примелькался. Примкнут рогожцы к нам, мы сообщим Ленину, что искровцы оформили в Москве свою организацию. А если бы и Богдану помочь —

он сейчас под Владимиром, — тогда и вся область наша.

— Я непременно встречусь с Богданом.

За кладбищем старообрядцев в пустом дровяном сарае собралось человек тридцать. Виктор сумел сразу овладеть вниманием слушателей. Он сказал, что символично уже само место сбора — у знаменитой Владимирской дороги, по которой еще сорок лет назад гнали в Сибирь этапом ссыльных, закованных в кандалы.

По дорожке большой, что на север ведет,
Что Владимирской древле зовется,
Цвет России идет, кандалами звенит,
И «Дубинушка» громко поется...

— А когда-то шло тут оживленное торговое движение в село Рогожь, ныне городок Богородск, где я восемь лет назад начинал работать красильщиком.

Живой посланец далекой «Искры», бывший мастеровой у Морозова и Паля, сразу пришелся по душе. А мысли Ленина о партии, о предстоящем съезде поновому открыли рогожцам смысл классовой борьбы.

Виктор достал из кармана четвертый номер «Искры» и прочитал статью Владимира Ильича «С чего начать?». Один рабочий взял у него газету, и она пошла по рукам. И только легкий шелест ее страниц слышался в настороженной тишине.

Потом разговорились — разом, дружно. И молодой металлист с Гужона крикнул:

— «Искра» — свет нашей правды, товарищи! Грачу скажите: мы с ней, другого пути у нас нет!

Его поддержали котельщики Дангауэра и Кайзера, литейщики завода Николаева. Рогожцы высказались за активную поддержку «Искры».

— Ну, знаете, Виктор Павлович, у вас какой-то особый дар брать людей за душу! — Бауман потирал руки. — Идите на Пресню. Там, у четвертого пруда, в препараторской зоологического сада, соберется человек двадцать. В успехе не сомневаюсь!

Пока одиночками подходили товарищи, Виктор потолкался в людной толпе мастеровых, кухарок, пожарных, модисток, мелких чиновников и нянек с детьми, которые глазели на диковинных зверей и птиц. В саду публика была простая, совсем не та, какую описали на великосветском катке Лев Толстой в «Анне Карениной» и Иван Тургенев в повести «Клара Милич». В летнем театре у этого пруда когда-то пела актриса Кадмина, покончившая жизнь самоубийством. Ее портрет и выписал Тургенев. «Публика опростилась, — размышлял Виктор, — но далеко еще до того времени, когда и здесь подлинным хозяином станет народ».

И на Пресне Ногин принес удачу «Искре».

Варвара Ивановна, мельком повидав сына, за один день переменила адрес, чтобы Виктор смог заходить к ней и чувствовать себя в безопасности. Из дома у Яковлевской церкви она перебралась на другой конец Москвы, к Новинскому бульвару, и сняла маленькую квартиру в доме Лебедева в Прогонном переулке.

Сюда приходил брат Павел, он уже освободился от иллюзии быть счастливым под эгидой Викулы Морозова и жадно ловил каждое слово Виктора. Тут бывали Андрей Сергеевич Бубнов, Елизавета Нестеровна Уварова, Николай Эрнестович Бауман. Бубнов взялся создать два-три очага «Искры» в центральном районе и у Девичьего поля. И они скоро были связаны с другими группами неугомонного Грача.

Павел Ногин согласился устроить новую явку по связи с Грачом в конторе Викула Морозова на Варварской площади.

— Только для мужчин! — Павел заметно волновался. — Дамы к нам не ходят. И в студенческой форме не нужно, это вызовет подозрение.

Явка сложилась так. Посетитель находил Павла и наедине говорил ему:

— Позвольте получить по счету Леопольда.

Для мужчин и для женщин создали еще один явочный пункт, в «Русском страховом обществе от

огня», напротив магазина Трынкина, у Мясницких ворот. Там надо было спросить Марью Ивановну Стелецкую и показать ей записку, в которой содержалась просьба дать рекомендацию к Францу Францевичу. Связанный с Павлом Ногиным и Марией Стелецкой, Грач становился доступным для новых групп искровцев, создаваемых Виктором Ногиным и Андреем Бубновым. Но, к сожалению, и эти явки были расшифрованы охранкой, как только она перлюстрировала письмо Крупской к Конкордии Ивановне Захаровой из Мюнхена в Одессу от 1 ноября 1901 года.

Конкордия Захарова по пути в Одессу заезжала на один день в Москву и повидалась с Яблочковым. Она привезла томик стихов Тана от Сергея Цедербаума, с которым недавно обручилась в Вильно.

Виктор слыхал о ней и раньше: она поддерживала связи с товарищами, привлеченными в 1897 году по делу столичного «Союза борьбы», с Виктором Катиным-Ярцевым и с другими. Знаком ей был и лондонец Николай Алексеев — в те годы студент Военно-медицинской академии. Она отбыла два года ссылки в Вятской губернии, и томашний губернатор дал ей лестную характеристику: «Поведения подозрительного и весьма неблагонадежна в политическом отношении». В Полтаве она жила, когда Виктор сбежал в Цюрих. При ней Мартов получил книгу, из переплета которой извлек первый номер долгожданной «Искры».

Теперь пути Конкордии и Виктора пересеклись. Она уехала в Одессу, чтобы ждать там Ногина. Сверили явки, решили встретиться на квартире у Шемшелевича, который симпатизировал «Искре».

Виктор раскрыл томик Тана. На полях и между строк первых страниц оказалось длиннейшее послание. Почерк принадлежал Крупской, а нотация, — несомненно, Ленину: в выражениях довольно резких он резюмировал позицию редакторов «Искры» о плане «завоевания» Питера.

«Только что получили письмо с планом брата Пахомия, Яблочкова и Брускова. Не можем скрыть, что

мы не только не можем согласиться ни с одной частью этого плана (хотя о первой еще можно спорить), но были прямо-таки удивлены им, особенно второй частью: 1) ехать всем в Питер, 2) устроить районный орган русской организации «Искры». Настолько поражены, что наперед извиняемся, если в дальнейшем изложении проскользнет слишком резкое слово.

Это что-то невероятное! После целого года отчаянных усилий удается только-только начать группировать для этой громадной и самой насущной задачи штаб руководителей и организаторов в России (этот штаб еще страшно мал, ибо у нас, кроме упомянутых трех лиц, еще два-три человека, а для общерусского органа требуется не один десяток таких энергичных сотрудников, понимая это слово *не только* в литературном смысле), и вдруг опять рассыпать храмину и возвращаться к старому кустарничеству! Более самоубийственной тактики для «Искры» я не могу себе и представить! Районный орган подобно существующему «Южному Рабочему» — это значит опять затратить сызнова массу средств и людей на редакцию, технику, экспедицию и проч., и ради чего? Ради пяти номеров в 1½ года! Да и этого теперь он ни за что не достигнет в 1½ г., ибо «Южный Рабочий» имел то преимущество, что его создавал стоявший в апогее развития, сложившийся уже Комитет, т. е. целая организация. Вас пока только трое. Ради того, чтобы вместо борьбы с той узостью, которая заставляет питерца забывать о Москве, москвича о Питере, киевлянина о всем, кроме Киева, вместо приучения людей (их надо годами приучать к этому, если мы хотим образовать заслуживающую этого названия политическую партию) к ведению общерусского дела, — вместо этого поощрять опять кустарническую работу, местную узость и развитие вместо общерусской — какой-нибудь пошехонской социал-демократии, — это будет ничем иным, как пошехонством, это не может быть ничем иным. По опыту убедились, как у нас мало сил для образования действительно политического органа, как мало сотрудников, репортеров, ма-

ло людей с политическими связями, мало практиков техники и экспедиции.

Их *мало* на всю Россию, а мы еще будем раздроблять их и бросать начатое уже и нуждающееся во всесторонней поддержке общерусское предприятие ради основания нового местного предприятия. В лучшем случае, в случае блестящего успеха этого нового плана, это приведет к принижению типа русской социал-демократии, к принижению ее политического значения, потому что «местной» политической газеты быть не может, так как в местном органе всегда будет страдать общеполитический отдел. Вы пишете: «массовый» орган. Мы совершенно отказываемся понять, что это за зверь. Неужели и брат Пахомия стал уже думать, что нужно спускаться пониже, от передовиков к массе, писать попроще и поближе к жизни?? Неужели наша цель приближаться к «массе», а не поднимать эту уже зашевелившуюся массу до степени организованного политического движения? Неужели нам недостает писем с фабрик и заводов, а не политических обличений, политического знания, политических *обобщений?* И вот для расширения и углубления наших политических *обобщений* давайте дробить общее дело на районные дела! И кроме политического принижения они неизбежно технически принизят дело планом районного органа. При *соединении* всех сил на «Искре», мы можем поставить (это уже теперь *доказано* после годового опыта) ежемесячную газету, с действительно политическим материалом, а при районном органе нельзя думать сейчас и о 4 номерах в год. А если не бросаться нетерпеливо от одного плана к другому и не смущаться временными неудачами и медленным ростом общерусского предприятия, то вполне возможно было бы добиться через $^1/_2$—1 год и двухнедельного органа (о чем мы уже настойчиво думаем). Мы предполагаем, конечно, что брат Пахомия, Яблочков и Брусков стоят на прежней дороге, одобряя и направление и организационный план «Искры», — если же они переменили взгляд на эти вопросы, то, конечно, разговор совсем особый. Вообще, мы положительно недоумеваем, от-

чего эти лица изверились в этом плане и так скоро? (потому, что не могут же они не видеть, что новый план разрушает старый). Из-за транспорта? Но устроить свой путь пытались до сих пор только *один раз* и эта попытка не привела еще к полному краху, — а мы и после 2—3 *неудач* не должны бросать дела. Не стали ли эти лица сочувствовать больше изданию в России, а не за границей? Но ведь они же знают, что для первого *все* сделано и до 1000 рублей затрачено, а результатов пока нет. Должны сказать, что вообще всякий план издания какого бы то ни было районного или местного органа российской организацией «Искры» мы считаем безусловно неправильным и вредным. Организация «Искры» существует для поддержки и развития последней и для *объединения* этим партии, а не для *дробления* сил, которого и без этой организации больше чем достаточно».

Виктор перечитал еще раз эту часть письма, доводы Владимира Ильича его убедили. Когда-то — в Полтаве и в Лондоне — мысль о своей газете довлела себе. И желание послужить *делу* с помощью печатного органа было таким острым, что отодвигало в сторону иные задачи. Но ведь тогда не существовала «Искра». А теперь действительно к чему дробить силы? Да и где сыскать литераторов, которые хотя бы в сотую долю заменяли бы такой триумвират, как Ленин, Плеханов и Мартов?

Конечно, жаль утраченных иллюзий. Но жизнь никогда не поддержит их, коль ощущается такая острая нужда в будничном трудном и благородном деле. И по размышлении он решил, что нет смысла поддерживать ту часть плана Сергея Цедербаума, которая касалась издания районного органа «Искры» в Санкт-Петербурге.

Но как быть со столицей? Или все же ехать в Одессу?

Письмо Ленина прямого запрета не устанавливало: «Относительно поездки всех в Питер скажем только, что у нас таких работников как П., Б. и брат Пахомия совсем мало и их надо беречь. А опас-

ность общего провала при жизни в одном месте в сто раз больше. Если они находят, что одного там мало (это уж им виднее), то пусть присоединят к нему того, кто освобождается осенью (брат Пахомия), а не обоих. И потом, как в целях их безопасности, так и в целях объединительной работы, пусть они не забывают о крайней желательности менять от времени до времени место жительства. Если бы, наконец, удалось бы завоевать Комитет в Питере, то, конечно, надо заставить его обеими руками взяться за «Искру», и за ее учащение, и бороться против всяких новых кустарных предприятий».

Виктор вздохнул с облегчением: значит, ему и Андропову разрешалось ехать в Питер, пока Сергей Цедербаум не закончит свои дела в Вильно.

Но концовка письма задела за живое — ему приписывалось то, чего он еще не сделал: «Кустарничество гораздо более злой враг, чем «экономизм», ибо глубочайшие *жизненные* корни экономизма по нашему глубочайшему убеждению лежат именно в кустарничестве. И никогда не будет политического (не на словах только, а на деле политического, т. е. прямо влияющего на правительство и подготовляющего общий штурм) движения, пока мы не преодолеем это кустарничество и не подорвем всякий кредит к нему. Если СПБ. закупал 400 экземпляров «Южного Рабочего», то группа «Социалист» бралась распространить 1000 экземпляров «Искры». Пусть устроят распространение такого количества экземпляров, пусть устроят, чтобы в ней был обстоятельный петербургский отдел (в случае надобности он составит особое приложение) и тогда будет достигнута та же задача, которая перед Вами заслонила все прочие задачи завоевания Питера. Считаем нужным напомнить, что все «практики» согласны, что «Южный Рабочий» по доступности для рабочих не имеет преимущества перед «Искрой», так что и этот довод отпадает. Нелепо и преступно дробить силы и средства, — «Искра» сидит без денег, ни один русский агент не доставляет ей ни гроша, а между тем, каждый затевает новое предприятие, требующее новых средств. Все это сви-

детельствует о недостатке выдержанности. Надо быть терпеливее: посредством нашего плана мы достигнем своего, хотя бы и не скоро, а на что можно рассчитывать при осуществлении предлагаемого плана, видно из плачевной памяти опыта «Рабочего Знамени». Наши знакомые так скоропалительно взялись за свой план, что Яблочков вопреки условию поехал в СПБ., бросив Одессу, пребывание в которой нашего агента необходимо. Мы требуем, чтобы новый план был брошен. Если наши доводы кажутся неубедительными, пусть отложат всякие новые планы до нашего съезда, который мы в случае надобности созовем, когда дело как-нибудь наладится. Что касается популярной литературы, то ведь имеется в виду расширить издание популярных брошюр. Это письмо выражает мнение не только нашей группы, но и группы «Освобождение труда».

Кто-то ввел в заблуждение Владимира Ильича: в Питер заезжал Брусков, а не Яблочков. И тот собирался днями уехать в Бирск, куда Виктор и хотел послать ему копию ленинского письма.

Закончив дела в Москве, Ногин предпринял поездку в Тверь, в Ярославль и под Владимир, где встретился с Богданом и передал ему часть привезенной из Мюнхена литературы.

Ничего утешительного он не обнаружил: отдельные искровцы и маленькие группы новой организации еще не имели серьезного влияния на рабочих.

В Москве снова пришлось задержаться: не клеилось дело с паспортом, да и деньги из Мюнхена не поступали. А после сердитого письма Ленина, из которого усматривалось, что у редакторов «Искры» финансов мало, рассчитывать на быструю помощь из-за границы не приходилось.

Андропову он написал в Бирск 5 августа 1901 года в адрес Надежды Васильевны Смирновой. Строки короткого письма были приложены к посланию из сборника стихов Тана: «Дорогой друг, прочитавши письмо от друзей, вы, я думаю, удивитесь не менее

моего. Мне очень печально, что причина изменения моего решения была объяснена так неправильно. Вчера я написал друзьям письмо, в котором объяснил истинную причину. Прощаясь со мной, вы обещали написать друзьям об этом, но должно быть вы не сделали этого, иначе не произошло бы недоразумения.

Говоря правду, я очень колеблюсь, какой город выбрать мне. Не зная общего положения дел, я чувствую большое затруднение. Друзья пишут, что поездка в Одессу необходима, следовательно, то предприятие, о котором вы говорили, осталось только в проекте? Если так, значит мне надо ехать туда. Но с другой стороны то, что я увидел здесь, говорит мне, как трудна работа одному. Вам одному будет трудно в Питере, а мне в Одессе; соединенные вместе, мы может быть достигнем «завоевания». Следовательно, надо ехать к вам, но — наши бумажки не для Питера. Что же делать? Я пока решил попытать счастья, достать лучшего товара, *и еду в один город за этим.* Так же мне важно теперь знать, в каком положении дело, о котором вы говорите, поэтому прошу вас написать мне как можно скорее. Всего вам лучшего. *Ваш Яблочков*».

Видимо, Андропов подтвердил, что намерен не позднее конца августа заехать за Виктором и вместе с ним двинуться в Питер.

Виктор побывал в Калязине. Там он достал паспорта — мещанский на имя Дементьева, для Андропова, и крестьянский на имя Назарова, для себя. И переслал новый «вид» в Бирск. А 17 августа написал туда, что намерен все же ехать в Одессу — «приобрести все необходимое», а затем уже направиться в Питер. «Советую вам сделать то же. Я пробуду здесь, вероятно, еще дней пять. Буду очень, очень рад, если вы застанете меня здесь. Если буду знать, что вы приедете днем, двумя позже — останусь: телеграфируйте в таком случае».

Оживленная переписка между Москвой и Бирском попала в поле зрения охранки. Все письма прошли перлюстрацию. 21 августа Зволянский телеграфиро-

вал в Уфу начальнику губернского жандармского управления: «Какое-то лицо получает подозрительную корреспонденцию по адресу Бирск, Надежде Васильевне Смирновой, до востребования. Ввиду имеющихся указаний, что брат Смирновой Сергей Андропов (циркуляр прошлого года № 137) тайно прибыл из-за границы, представляется возможным, что означенная корреспонденция предназначается для него. Благоволите принять меры тщательной проверке, не находится ли Андропов в Бирске и в случае обнаружения поступите согласно циркуляру».

Через четыре дня из Уфы пришло донесение, что «подозрительное лицо» 23 августа выехало пароходом из Бирска в Казань. Приметы: теплое пальто, шляпа. Багаж — два чемоданчика, маленькая корзина белья и узел.

Полетели телеграммы в Казань, в Москву. 26 августа 1901 года Сергей Андропов был арестован в Казани, как только сошел с камского парохода на пристани. Его доставили под конвоем в Санкт-Петербург и поместили в Петропавловскую крепость.

Виктор ждал две недели известий от друга. Молчание встревожило его не на шутку: времена чудес давно прошли, с Андроповым беда!

Одному ехать в Одессу? Он не решился. В Мюнхене давно считали, что он в Питере. В Питере мог днями появиться Сергей Цедербаум. Все говорит за то, что надо ехать в столицу. Да и в ленинском письме намечались основные тактические ходы по отношению к питерским товарищам из комитета. Итак, в Питер! Иного выхода нет!

Он сообщил в Вильно, что выезжает немедленно, и 2 сентября 1901 года благополучно прибыл в столицу.

Но Цедербаум не появился ни на другой день, ни через неделю. Он не попал в лапы охранки. В Вильно неожиданно вспыхнула забастовка кожевников, и он ввязался в нее: писал воззвание к солдатам, двинутым в район Лукишки на усмирение бастующих. И Виктору Ногину, одному, без поддержки старых

испытанных друзей, пришлось идти на героический штурм Питера, чтобы завоевать его для «Искры».

День-другой Ногин осматривался в городе своей юности. Провал Андропова — а в этом он не сомневался — стал печальным, но важным уроком его жизни: нужна строжайшая конспирация! Менять адреса два раза в неделю. Общаться только с теми людьми, которые известны Ленину в Мюнхене, Мартову — в Берлине.

Эти предосторожности оказались кстати: полиция уже установила, что Новоселов и Ногин — одно лицо. И подбиралась к тому, чтобы расшифровать Яблочкова.

По империи разлетался телеграфный приказ Зволянского: искать всех Яблочковых в Москве, Питере, Одессе и Нижнем Новгороде. Нашли одного в Одессе — Михаила Константиновича, из родовитых дворян; нашли другого в Нижнем Новгороде — Георгия Алексеевича. Этот показался сомнительным, и начальник губернского жандармского управления генерал Шеманин допросил его с пристрастием.

Но уже 5 сентября 1901 года отпала необходимость этих проверок. Виктор 3 сентября отправил письмо Ленину (Мюнхен, Габельсбергштрассе, 20а, Карлу Леману). Оно было скалькировано в «черном кабинете» почтамта, и полиция сейчас же убедилась, что Яблочков — это Ногин и Новоселов. Зубатову телеграфировали: Ногин «приехал в Петербург 2 сентября и теперь находится здесь». Всем околоточным поручили проверить лиц, прибывших в меблированные комнаты с крестьянским паспортом; всех филеров снабдили приметами и фотографическими карточками Ногина «ввиду возможности случайной встречи на улице». Надо удивляться тому, как он сумел продержаться в Питере целый месяц!

Первые дни жил он у Натальи Руфовны Штейнгер (Васильевский остров, 6-я линия, дом 17, кв. 19), которая 23 августа приехала от Мартова — из Берлина — с дочерью Натальей фон Бах.

Виктор отправил фон Бах в Одессу для связи с Конкордией Захаровой и послал письмо в Мюнхен

в адрес Лемана. Для отвода глаз шло маленькое письмецо с приветом и извинениями за долгое молчание. Химический текст гласил: «Оба письма получил. Спешу вывести вас из заблуждения. Я приехал сюда только вчера, т. е. 2 сентября. Быстро выехать из Москвы и т. д. было немыслимо за отсутствием денег, адресов и, главиое, паспорта и т. д. такого, который бы гараитировал успех. А мне хотелось ехать лишь во всеоружии, но мои ожидаиия оказались напрасными. Я не буду вам описывать, кто и что мне обещал, и скажу только, что я приехал сюда лишь с вымышлеиным крестьянским. Я снял комнату и жду результатов на днях. Адрес, присланный вами, был невереи, но мне удалось сегодня найти их. Оии меня ждали страшно долго и уже написали в Берлин об этом. Кроме них, оказывается, ждут еще люди, адреса которых, к сожалению, не известны мне. Обязательно напишите в Берлии, чтобы немедля сообщили мне адреса.

За эти два дня я, конечно, не успел найти чего-нибудь путного, но все-таки эти дни показали мне, что *людей здесь нет*. Каждый день выхожу встречать Якова, но его все нет. Он писал мне о каких-то переговорах с «Союзом». Напишите, пожалуйста, в чем дело? И вообще очень прошу сообщить мне все, объясняющее положение наших дел в этом городе. Напишите и о «генерале». Я давно из письма Брускова знал, что его здесь нет, и не надеялся на него. Прошу вас поставить меня в определенные отношения к нему. Брусков застал его здесь, но он не сделал для него решительно ничего. Кстати, от Брускова я уже давно не имею никаких сведений, думается мне, что он погиб.

Проживши два месяца в России, я увидал, как мы преувеличивали ту встряску, которую будто бы произвели мартовские события. Люди так же трусливы, как и прежде, и всюду нужно все начинать самим и делать самим.

Даю вам адрес до половины октября: Васильевский остров, шестая линия, дом семнадцать, квартира девятнадцать, Наталье Руфовне Штейнгер. Письма

обязательно начинайте со слов «Дорогой друг». Перешлите этот адрес и в Берлин и сообщите им, что я не могу понять систему их ключа (сам ключ я знаю), и поэтому прошу пользоваться ключом, употребляемым вами со мною.

Жму крепко руки *Ваш Яблочков».*

Скоро Виктора экипировали с иголочки. Он мог менять пальто, шляпы, пользоваться тростью или зонтом, а иногда и изящным портфелем Штейнгер. Бороду он сбрил. Все это облегчало ему передвижение по Питеру.

В глаза бросались всякие строгости. Постоянно проводились «чистки» «неблагонадежных»: это орудовал подполковник Мочалов, сменивший в охранке покойного Пирамидова. Во всех садах и парках шныряли жандармы и городовые. И многие столичные «вольнодумцы» обратились в дрожащих «премудрых пескарей» из сказки Салтыкова-Щедрина.

Уже через неделю вокруг Виктора объединились девушки и молодые дамы, связанные с Берлином: Августа Минская, Ревекка Рубинчик, Елизавета Мандельштам, Екатерина Гуро и Софья Кублицкая-Пиотух.

Все они отлично выполняли технические функции. А для атаки на «Союз борьбы» требовались люди более крупного калибра.

Удалось Виктору разыскать «генерала» — Степана Радченко через брата Павла и Баумана, которые поддерживали в Москве связь с другом «генерала» — Германом Красиным. Но Степан Радченко, изрядно затравленный охранкой, не мог рисковать собой на шумных встречах с вожаками союза.

Яблочков начал переговоры один. В тайниках его памяти сохранился адрес двух нужных людей из «Союза борьбы» — Павла Смиттена и Николая Аносова. Они работали химиками на заводе Жукова. Там их и нашел Виктор. А горячие разговоры до полуночи развернулись в Свечном переулке, дом номер два, где квартировал Смиттен.

Задорно и убежденно говорил Виктор:

— «Союз борьбы» должен стать проводником идей

«Искры». Только она представляет сейчас лучшие силы революционной России. Ленин создал ваш союз, Ленин требует пересмотра ваших позиций. Экономизм мертв, он вырождается в зубатовщину. Надо очистить союз от инертной массы, которой даже охранка не интересуется, и сплотить организацию на новой платформе, изложенной в статье «С чего начать?». Читали, надеюсь?

— Читали и удивлялись. В Мюнхене проще простого сочинять всякие реляции. А где люди, о которых там пишут? Вас, что ли, числить одного со стороны «Искры»? Маловато, Яблочков! Может, у вас есть люди? Покажите, мы посмотрим! — начинал горячиться Смиттен.

— Вот-вот! — поддакивал Аносов. — Явился Аника-воин, один-одинешенек, и ломай из-за него всю организацию! Где ваша армия, генерал? Давайте доказательства!

Три вечера не сдавался Виктор и старался держать себя в шорах, хотя эти химики довели его до белого каления.

— Хорошо, я представлю вам доказательства! Но вы, вы... просто недоразумение! — злоба душила его. — Вы погрязли в мелочах и забыли о главном! Я еще хлопну кулаком по столу!

От полемики в Свечном переулке пошел шум по Питеру. И Анна Барш, тоже связанная с Ногиным экспедицией «Искры», поспешила поделиться этой новостью с госпожой Кюль в Берлине (Наусбаумаллея, 45): «Рыжий на днях приехал сюда и начал воевать со своими тезками».

В войне действительно нужна армия, и Яблочков стал сколачивать искровскую организацию, которая немедленно заявила о себе распространением крупного транспорта «Искры» за Невской заставой, на Петербургской и Выборгской стороне.

Минская, Рубинчик, Мандельштам и другие составляли костяк новой организации. Кроме них, Виктор вовлек Эстер Лапину, братьев Соловьевых, сестер Мажаровых, Ксению Милорадович, Виктора Классена и заручился поддержкой группы студентов-

технологов во главе с Николаем Скрыпником, по кличке «Лохматый». Он мог теперь ссылаться на «генерала» — Степана Радченко, который работал для «Искры», и на его жену Любовь Николаевну, недавно прибывшую из Харькова.

Огромной работы потребовало это собирание сил: десять суток кряду не знал Яблочков ни покоя, ни отдыха.

На другой день приезда Сергея Цедербаума, 16 сентября, Виктор смог написать Ленину, что дело сдвинулось с мертвой точки. «...на прошлой неделе, отыскивая преданных нам лиц, я составил с ними группу, назвав ее «СПБ отдел «Искры», и начал вести переговоры от ее лица с «Союзом». Узнавши, что Яков здесь и тоже ведет переговоры, я отложил свои до встречи с ним. Когда эта встреча произошла, мы пошли на назначенное мне свидание, где и пришли к некоторому соглашению с представителями «Союза». Соглашение для нас очень выгодное, позволяющее нам делать все, что касается Искусства, и в то же время мы получаем все права членов «Союза». Спорным пунктом является пока денежный вопрос. Но, вероятно, и он будет улажен. Проект соглашения изложен письменно, и Яков, вероятно, пошлет его сегодня вам. Я не думаю, чтобы он был принят в этой форме, и нам придется сделать кое-какие уступки им. Очень хочется узнать поскорее ваше мнение. Генералом я зову Радченко. Я виделся с ним два раза, и мы уже стали в определенные отношения, которые будут очень хорошими...»

Это донесение в Мюнхен, писанное «химией», было размещено среди строк игривого письма:

«Бедные вы, бедные — тащиться опять этакую даль! И охота вам слушать этих шарлатанов-докторов. Ишь, что выдумали: — Отправляйтесь в Ниццу! — Плюньте вы на них и поезжайте обратно домой. Как раз вместе бы и приехали в Березовку, к тетушке. Она ведь вас очень ждет на крестины (как я вам уже писал, ей бог дал пятую дочку). Я думаю через недельку двинуться отсюда с разными подарками и, уж чего греха таить, с довольно тяжелой го-

ловой от столичного веселья. Ну, решайте, и — айда домой, к пирогам. Весь ваш *Яблочков*».

Но ни «крестины», ни «пироги», ни «столичное веселье» не обманули мастеров из «черного кабинета»: копии обоих писем Виктора улеглись в досье у господина Зволянского. А через три дня приехала из Одессы Наталья фон Бах и привезла на «хвосте» двух шпиков.

Шеф полиции Зволянский недоумевал: на поиски Ногина брошены лучшие филеры, а он, «видимо, чувствует себя вне всякого подозрения, совершенно свободно занимается революционной деятельностью и успел уже завязать сношения с представителями здешнего «Союза борьбы».

Да и начальник столичного жандармского управления генерал-майор Секеринский поддавал жару. Он исследовал паспорт Андропова на имя Д. П. Дементьева и убедился, что «писан он рукой Ногина». И уже вынес постановление о привлечении к дознанию «сего опасного преступника» в качестве обвиняемого.

А он — неуловим!

«Власть предержащие» дали команду теснее смыкать круг. Но и Виктор не убавлял энергии. Вместе с Сергеем Цедербаумом он оформил, наконец, соглашение между «Санкт-Петербургским отделом «Искры» и «Союзом борьбы».

В письме, заготовленном для Ленина, это соглашение выглядело так: «1) Находя нежелательным одновременное существование в С.-Петербурге двух организаций, входящих в Российскую социал-демократическую партию и работающих на одном и том же поприще, члены С.-Петербургского отдела организации «Искры» вступают в С.-Петербургский комитет партии, несмотря на наличие некоторых принципиальных, тактических и организационных разногласий.

2) Члены С.-Петербургского отдела организаций «Искры» принимаются в С.-Петербургский комитет на общих основаниях и, как прочие члены последнего, пользуются одинаковыми с ними правами и несут те же обязанности.

3) Вступая в С.-Петербургский комитет, члены С.-Петербургского отдела организации «Искры» сохраняют вместе с тем свою принадлежность к организации «Искры» и право исполнять ее поручения (технического характера, собирание сведений, сношения с провинцией, отделами организации «Искры» и за границей).

4) С.-Петербургский комитет Русской социал-демократической партии сносится с редакцией «Искры» через входящих в его состав членов организации «Искры» и приобретает у них издания последней. В случае возникновения недоразумений С.-Петербургский комитет может обращаться непосредственно к редакции «Искры».

5) Члены С.-Петербургского отдела организации «Искры» обязуются не распространять в Петербурге литературы без ведома и одобрения С.-Петербургского комитета.

6) С.-Петербургский комитет из своих сборов отчисляет семь с половиной процентов в пользу «Искры». Пожертвования в стачечный фонд, в пользу арестованных и специальные пожертвования отдельных лиц в пользу «Искры» и С.-Петербургского комитета от 75 рублей не подлежат % отчислению.

7) В целях объединения деятельности местных организаций распространение издания «Искры» в С.-Петербурге идет через Петербургский комитет, к которому и обращаются за ними все прочие с.-петербургские организации.

8) Со вступлением С.-Петербургского отдела «Искры» в С.-Петербургский комитет партии прекращается существование первого, как местной организации.

9) Настоящее соглашение подлежит опубликованию в изданиях обеих договаривающихся организаций.

С.-Петербургский отдел организации «Искры».

С.-Петербургский комитет Российской социал-демократической рабочей партии.

30 сентября 1901 года. Петербург...»

Итак, по внешности сохранялась в столице одна

организация, но фактически из двух автономных частей. Однако и такое соглашение было шагом вперед.

В этом же письме Ленину Ногин спрашивал, не знают ли в Мюнхене человека, который был в Швейцарии, а сейчас разыскивает искровцев в Петербурге.

Речь шла о провокаторе М. И. Гуровиче, который погубил дело, начатое Ногиным с таким большим трудом. А дело было так.

Сергей Цедербаум встретился с Эстер (Татьяной) Лапиной. Она сказала, что его хочет видеть товарищ, прибывший из-за границы. И подтвердила, что знает его.

На другой день она назвала место встречи: ресторан Палкина. В отдельном кабинете там надо было спросить Смирнова.

Сергей явился, лакей проводил его в небольшую комнату, куда вскоре пришел Гурович.

Они виделись полтора года назад. Цедербаум получил тогда от него литературу для Полтавы. Но сейчас Сергей не подал виду, что знает его. Тот тоже пошел на игру и стал объяснять: мол, недавно приехал, желал бы завязать связи с искровцами (о них говорили ему за рубежом). Обещал достать литературу, деньги, паспорта.

Сергей спросил его адрес, чтобы найти при первом случае, Гурович уклонился:

— Вашего брата — нелегального — на пушечный выстрел опасно подпускать к своей квартире.

— Ну что ж, тогда прощайте!

— Что вы, что вы! Нам надо встречаться. Принесите, пожалуйста, последние номера «Искры», я дам денег. Хотите, в кафе Федорова, на Малой Садовой.

Денег не было, пришлось согласиться на вторую встречу. Сергей пригласил с собой Ногина, и они пришли в кафе, когда Гурович уже сидел там на самом видном месте. Виктору удалось сесть спиной к залу, а Цедербауму Гурович предложил стул у окна, где освещение было очень ярким.

Вскоре Сергей заметил устремленный на него

взгляд из противоположного конца зала: провокатор демонстрировал его охранке!

И Ногину и Цедербауму весьма не понравился развязный тон Гуровича: выкрики и болтовня никак не вязались с обстановкой. Они решили, что надо уходить немедленно, и бесцеремонно напомнили о деньгах. Гурович достал туго набитый бумажник, вынул приготовленные двести пятьдесят рублей.

— Это мелочь, — сказал он небрежно. — Я вам гарантирую и более крупные суммы. Но где же обещанная «Искра»?

— Пока не достали.

— Придется нам встретиться еще раз.

Друзья проблуждали много часов по Питеру, но слежки за собой не заметили. Однако уже через день «хвост» к ним прилепился. Заметая следы, они на двух извозчиках разъехались в разные стороны, а дома постарались «очиститься» от опасных документов. Решили немедленно уехать из Питера, хотя бы на время, и Сергей отправился в Двинск. А Виктор не успел.

В делах полиции сохранилось подробное описание, как филеры охотились за Ногиным. 29 сентября он посетил дом № 14 по Большой Зелениной улице, где жили родители Цедербаума — секретарь страхового общества «Нью-Йорк» Иосиф Александрович с женой Ревеккой Юльевной. В пятом часу дня Виктор и Сергей вышли из квартиры и направились в сквер при церкви св. Владимира. И там сорок минут «имели конспиративное свидание с Ревеккой Рубинчик».

30 сентября Ногин и Цедербаум в последний раз встретились на Петербургской стороне. В 23 часа 50 минут Цедербаум выехал по Варшавской железной дороге в Двинск, «где поселился у мужа своей сестры врача Канцель. Его сопровождали два филера: Гаврилов и Лоткин».

30-го же, днем, после свидания с Цедербаумом Ногин посетил дом № 27 по Екатерининскому каналу. Сюда через десять минут явился Павел Смиттен, встреча продолжалась около двух часов. Затем Ногин приехал на квартиру к Рубинчик (Кронверкская ули-

ца, дом № 13, кв. 31, рядом с Петропавловской крепостью). Вслед пришли Августа Минская и Наталья фон Бах. Вечером Ногин встречался с Софьей Николаевной Мотовиловой — слушательницей женского медицинского института — у нее на квартире (ул. Ивановская, № 24, кв. 5).

1 октября Ногин снова посетил квартиру Рубинчик, которая только что вернулась от Цедербаумов с Большой Зелениной. С Ногиным была Минская. Она осталась у Рубинчик, а он поехал с фон Бах к ней на квартиру (Васильевский остров, 6-я линия, дом № 17, кв. 19). Там пробыл два часа. А вечером отправился в дом № 65 по Среднему Проспекту, где проживали братья Соболевы: Иннокентий Александрович, врач 8-го стрелкового полка, и Лев Александрович, 20 лет, сын надворного советника.

2 октября в 10 часов 20 минут Ногин появился в Ботаническом саду: там свидание с Рубинчик продолжалось два часа. Вечером на Петербургской стороне два филера и околоточный схватили Виктора за локти прямо на улице...

...В полночь захлопнулась за ним тяжелая кованая дверь Трубецкого бастиона Петропавловской крепости.

ПЕТРОПАВЛОВКА — СИБИРЬ — ЖЕНЕВА

Вокруг Заячьего острова, занятого крепостью, жил город, великий и родной, почти завоеванный для «Искры».

Но от его проспектов и улиц, от Большой Посадской, где филеры скрутили руки и усадили в пролетку, от явочных квартир, раскиданных по дальним закоулкам, от друзей и товарищей, еще державшихся на воле, отгородили массивные серые стены. И только под покатым подоконником, в малом проеме, трижды зарешеченном ржавыми прутьями, проецировался жалкий кусок черного неба в звездах.

Жуткая людская молва шла об этом бастионе. Когда-то Петр I «любезно» предоставил его своему фавориту Трубецкому. Затем сидели тут самые опасные враги двух Александров Романовых: Кропоткин, Морозов, Фроленко, Фигнер, Александр Ульянов. Мария Федосьевна Ветрова сожгла себя в соседней камере. Какой зловещий синодик!

И не храбрился Виктор и не показывал себя беспечно веселым, когда остался один в большом каменном мешке. Но огляделся и подумал с гордостью: «Выходит, не зря ты живешь, человек! И страшен

тем, кто возвел этот каменный склеп. И просидишь не вечно: рабочий класс приходит в движение, глядишь, и вызволят тебя до срока!»

Все было обставлено помпезно, с расчетом на страх, когда из лап охранки Виктор попал к жандармам из крепости.

Везли сюда в карете на резиновых шинах, с алой атласной обивкой внутри. Усатый жандармский ротмистр сидел рядом, сложив руки на эфесе шашки, два унтера — напротив. А третий поместился на козлах, с вещами, рядом с возницей. Зашторенное окно, города не видать. Только на колдобинах, когда занавески тряслись, где-то мелькали далекие огни во дворцах набережной.

В канцелярии тюрьмы — как в крикливом вестибюле небогатой гостиницы: широкий ковровый диван, пальма в кадке, мягкий шелковый пуф возле письменного стола дежурного офицера, старинное резное кресло для допроса арестованного. И широкие цельные стекла в высоком узком окне.

Первый допрос окончился в пять минут:

— Ногин?

— Да.

— А паспорт на имя Назарова?

— Подложный.

— Где взяли?

— Долгая история. Еще успеем поговорить.

— Успеем, — усмехнулся жандарм. — А кто писал на этом томике стихов господина Тана?

— До сих пор ломаю голову, понять не могу!

— А кому писали вот это письмецо: «Мюнхен, Кайзерштрассе, 53, Георгу Ритмейеру»?

— Георгу и писал. Немец один, встречались мы.

— Тэк-с, проводить арестованного! — бросил офицер.

«Берут за живое, улики неопровержимы, как ни отпирайся», — подумал Виктор. И пожалел, что замешкался в тот день и не успел вручить письмо штатскому генералу Неудачину, согласившемуся доставить его в Мюнхен.

Даже пристав в тюрьме носил погоны полковника.

Он и повел Ногина по длинной мягкой дорожке первого этажа, а за ним шли конвойный жандарм и ключник, он же присяжный.

На этом и закончилась вся показная комедия тюремного благородства. В камеру втолкнули. Там раздели догола, перещупали по швам всю одежду, гребенкой покопошились в волосах, заставили раскрыть рот. А потом обрядили в длинный синий халат, как на картине Ильи Репина «Отказ от исповеди», в шерстяные носки и желтые туфли — настоящие арестантские коты.

Все это делалось привычно и молча. Ключник поставил стеариновую свечу в жестяном подсвечнике на железный стол, привинченный к стене. Показал на стульчак, в котором наглухо было спрятано ведро. Глянул на оконце и решетку печного душника, где, по людской молве, вешались заключенные на длинном жгуте из простыни.

Стража взяла костюм Виктора и вышла, звякнув ключом и прогремев засовом.

Тишина! Холодная, неживая. Но скоро грохнули где-то в вышине два удара колокола, и куранты заиграли «Коль славен». Звук этот был приятным на воле, а сейчас показался зловещим...

Уже через день-другой Виктор мог сравнивать свой мрачный склеп с камерой в многолюдной и шумной тюрьме на Шпалерной. Там был «подготовительный» класс, тут — классический каземат Российской империи.

Порядок, заведенный Николаем I, соблюдался строго, традиции чтились свято: нормальный сортир и электрическая лампочка исключались начисто. В ночь сменили четыре свечи: на полу, у изголовья кровати, где и полагалось быть огню. Молчаливые, как рыбы, как тени, жандарм и ключник не давали забыться сном: четыре раза шастали они по камере, гремя каблуками, подсвечником. Сменялись они шесть раз в сутки и снова появлялись на дежурстве у камеры в том же составе не чаще, чем через десять дней.

Когда рассвело, старый ключник с трясущейся

головой убрал подсвечник в коридор, занес чайник, оловянную кружку и кусок хлеба.

Так все и пошло. Но каждый день приносил что-то новое. Положили мягкий поперечный коврик у амбразуры двери через три камеры — значит, и там появился жилец, и стража может подбираться к его «глазку» неслышно. Убрали коврик — значит, человек исчез. Подсвечники стоят в коридоре на лавках: их двенадцать, значит, и заключенных столько же. Принесли по ошибке чужой подсвечник, на нем нацарапаны незнакомые клички. Можно бы и свою пометить, да нечем.

Пробовал стучать костяшками пальцев по глухой, неподатливой стенке до острой боли в суставах. Появился ключник у двери, с жандармом за спиной, и сказал грубо:

— Не положено! За это в карцер!

Выводили во двор близко к полудню, не в халате, а в своем платье: один унтер позади, другой — спереди. Прогуливали одного мимо бани, вдоль тюремных стен минут тридцать. О времени справлялись по курантам Петропавловского собора: они давали знать о себе каждые пятнадцать минут. А в середине зимы бастион забили питерскими товарищами и большой группой эсеров, причастной к убийству министра Сипягина. Гулять позволяли минут десять, да и то когда придется.

Только с третьего месяца стали давать раз в неделю маленький лист почтовой бумаги. Виктор писал матери, брату Павлу, один раз — Ольге Звездочетовой в Нарву. Она жила там с мужем, но могла и пропасть, потому что ввязалась в необычную стачку... извозчиков. В Мюнхен писать опасался, не желая афишировать свои связи с теми самыми дорогими людьми. Но верил, что они о нем думают. И не ошибался. Крупская уже сообщила Грачу в Москву и Захаровой в Одессу, что «оба лондонца взяты».

Чернила и перо не полагалось держать в камере. Их приносил ключник. Он стоял за спиной, пока писалось письмо, и все уносил с собой, видно, боялся, что Виктор отольет чернил в маленький наперсток из

хлебного мякиша, кстати давно уже заготовленный им. А для всяких занятий, по языку например, и для мелких записей выдавалась черная аспидная дощечка и кусок грифеля. Этим грифелем и нацарапал Виктор на подсвечнике еле заметную подпись «Яблочков». И весной увидал на каком-то подсвечнике «Яков»: Сергей Цедербаум сидел где-то рядом. И Андропов был здесь, но вестей о себе не подавал. Раз в неделю водили в баню, с «церемонией». Рядом сидели на скамье голый жандарм, а в предбаннике — вечные два охранника: унтер и ключник. Семь раз мылся, пока не попал на жандарма «с понятием». Тот явно тяготился своей собачьей должностью в бастионе. Ему-то Виктор и шепнул доверительно:

— Встретишь тут Андропова или Цедербаума, скажи, я держусь здесь, молчу на допросах и верю в их дружбу!

Нашел доступ к книгам: библиотека в тюрьме была большая. Каждый мог приобретать только новые тома, неразрезанные и сдавать их в общий фонд бастиона. Но стоило подчеркнуть слово или фразу ногтем, книга уже никому не выдавалась. Это не то что на Шпалерной, где удавалось с успехом шифровать в журналах!

Пробовал покупать беллетристику. Но она слишком волновала, а сцены любви просто истязали. Мог читать лишь Салтыкова-Щедрина: язык его веселил — соленый, умный, злой.

Снова появились самоучители трех европейских языков. И — в оригинале и в переводе Ленина — объемистая книга Беатрисы и Сиднея Вебб «Теория и практика английского тред-юнионизма».

Побывала в камере Ногина и книга Иммануила Канта «Всеобщая естественная история и теория неба» и знаменитые диалоги Платона: «Пир», «Парменид» и «Государство».

Иногда вспоминалась крылатая фраза Федора Достоевского: «Ко всему подлец человек привыкает». Так и было. В первые дни раздражал заведенный в тюрьме порядок отпирания двери после прогулки, бани или допроса. Жандарм и ключник стояли позади

и заставляли Виктора отодвигать засов. Видно, кому-то из них дали в свое время увесистым кулаком по загривку, вот они и завели эту процедуру. Безуспешно пытался Виктор сопротивляться этому, не помогло, привык. И голый жандарм в бане и беспрерывная «игра» в молчанку со стражей — со всем свыкся, словно так и надо.

Знал ли он хоть малейшие радости в каземате? Да! Состояли они в умственной работе. Подвести хороший итог дня, отметить новые знания — это уже было счастье. Да и радовали мысли о том великом деле его жизни, к которому он хотел скорее возвратиться на воле.

Кошмаров не испытывал: он был здоров и телом и душой и трудился как экстерн в горячую пору экзаменов. Но угнетала таинственность этого петровского здания, скрытая от всех людей с воли жизнь в нем и полная невозможность достучаться до соседа и услыхать хоть одно теплое слово друга.

А вздыхать и грустить пришлось позже летом. В раскрытую фортку доносилось дыхание иной жизни: отдаленный гудок парохода на Неве, приглушенная расстоянием маршевая музыка в зоологическом саду, шелест листьев и дробный перестук крупных капель дождя по жестяной крыше Монетного двора. Днем сжималось сердце, потому что лучик солнца скользил по серой шершавой стене, а ночью изрешеченный свет луны падал на изголовье.

В бессонные ночи Виктор утешал себя:

«Я ждал этого. Я на это решился. Я не одинок. Разрушится этот проклятый мир каземата. И мой кирпич полетит с баррикады!»

А небо было таким маленьким в узком оконце! И Виктору шли в голову слова, которые много лет спустя пришлось сказать в тюрьме поэту Джо Уэллесу:

Размер тюремного окна:
Пять дюймов с чем-то — вышнна,
Шесть с чем-то — ширнна
Прнмерно.

Но сквозь железный переплет
Я вижу звездный небосвод
Безмерный.

А небо — судя по окну —
Шесть с чем-то дюймов в ширину,
Пять дюймов с чем-то в вышину
Примерно[1].

За тюремным окном жизнь не затихала ни на миг. Шеф полиции Зволянский распорядился провести экспертизу: кто написал из Мюнхена директивное письмо на томике стихов господина Тана? Эксперт Алабышев — из экспедиции заготовления государственных бумаг две недели сличал почерки Юлия Цедербаума, Александра Потресова и Владимира Ульянова. Но не догадался, что писала Крупская под диктовку Ленина. Ногин это сразу сообразил по бестолковым вопросам следователя на допросе.

Зубатову дали команду немедленно изъять московских искровцев: Николай Бауман и Павел Ногин с товарищами отбыли в Лукьяновскую тюрьму в Киеве, где уже сидели Виктор Крохмаль и Конкордия Захарова, доставленная из Одессы. В Киеве затевался большой процесс искровцев.

Из Ковно привезли Сергея Цедербаума: он с Ногиным и Андроповым должен был проходить по процессу в Питере.

Охранка решила вырвать с корнем и столичный «Союз борьбы»: Павел Смиттен и Николай Аносов с большой группой товарищей угодили в тюрьму на Шпалерную.

Их захватили в те дни, когда они пытались прозреть под натиском передовой части своей организации. Накануне ареста Виктора Ногина был оглашен приговор участникам Обуховской обороны. Лучшие питерские рабочие требовали ответить на этот акт произвола массовой стачкой. Вышли на улицу рабочие Батума: войска убили пятнадцать, ранили более пятидесяти человек. Забастовки докатились из Нижнего Новгорода в Екатеринослав и Ростов. А сто-

[1] Перевод С. Маршака.

личный «Союз» еще не провел в знак солидарности с товарищами по классу ни одной крупной уличной демонстрации.

Смиттен и Аносов согласились, наконец, созвать митинг в «Народном доме императора Николая II», а шествие — на Невском проспекте. «Народный дом» был избран по той причине, что «это место с его увеселительными сборищами для народа есть не что иное, как огромный публичный дом, развращающий неинтеллигентную публику и подбором зрелищ и легкостью нравов огромного штата женской прислуги, из числа коей половина недавно была отправлена в специальные больницы для излечения сифилиса». Именно так мотивировал Смиттен свое предложение в «Союзе».

Но ни у него, ни у Аносова не было целеустремленной воли и революционного темперамента. Появились сомнения: не дорого ли заплатят они арестами рабочих и студентов за эту акцию? И уже стали поговаривать о переносе демонстрации на первое мая. А когда увидали, что наиболее решительная часть «Союза» согласна поддержать лозунг «Искры» о восьмичасовом рабочем дне и свержении самодержавия, отказались идти вперед, как старые кони перед болотом.

Охранка изловила в феврале 1902 года и колеблющихся и решительных. И одновременно захватила тех, кто держал связь с Ногиным, включая Степана Радченко, Николая Скрыпника, Якова Калинина и Михаила Затонского.

Околотки забили конфискованной литературой. Тут были и «Искра», и «Заря», и запретные стихотворения: «Поток», «Нагаечка», «Голуби-победители», «Песнь торжествующей свиньи», и боевая песня Леонида Радина «Смело, товарищи, в ногу»; и статьи Горького — «Перед лицом жизни» и «О писателе, который зазнался», и свободный от цензурных помарок роман Толстого «Воскресение», и письмо С. А. Толстой «По поводу отлучения графа Л. Н. Толстого», и ответ духовным дельцам из синода самого Льва Николаевича, и памфлет «Штатские упражне-

ния военного генерала Ванновского. История одного гуся».

Тюрьмы были переполнены.

Ротмистр Сазонов, сменивший в столичной охранке Мочалова, писал Зволянскому, что столь много захвачено «политических», что «девать людей некуда. Четыре общие камеры, предоставленные в распоряжение градоначальника в Пересыльной тюрьме, заняты 78 студентами, арестованными 8 и 19 февраля. Особенно негде помещать лиц, требующих одиночного заключения». И просил выделить ему 100 камер в одиночной тюрьме в «Крестах» и несколько камер в Литовском замке для арестуемых женщин.

Через две недели просто взвыл питерский градоначальник Клейгельс. Он просил Зволянского дать в его распоряжение четырех опытных офицеров из Отдельного корпуса жандармов. И мотивировал это тем, что его охранники сбились с ног: «непрекращающиеся волнения учащейся молодежи, в связи с напряженной агитацией подпольных революционных организаций, затем непрерывные обыски и аресты вызвали положительно безостановочную деятельность подведомственного мне охранного отделения, чины коего ежедневно заняты с утра до поздней ночи, следствием чего уже замечается полное переутомление служащих, препятствующее обычному ходу занятий и, тем самым, лишающее отделение возможности своевременно выполнять предъявленные к нему требования».

А тут еще Степан Балмашев убил егермейстера его величества министра внутренних дел Сипягина. Да пошли в столице и другие выстрелы всякого рода: пятой мужской гимназии ученик шестого класса выпалил из пистолета в учителя физики; в инженерном училище портупей-юнкер первой роты застрелился из винтовки и оставил загадочное письмо: «О самоубийстве знает убийца». Пополз слух, что революционеры собираются порешить Клейгельса. И когда на Трубном заводе узнали, что слух ложный, раздались голоса:

— Все равно не сегодня, так завтра его прикончат!

И «прокурора Святейшего Синода Победоносцева убили бы давно, если бы он не был настолько осмотрителен и осторожен», — доносил Сазонов.

Появились сообщения о тяжелой болезни Льва Николаевича Толстого, и в охранке ждали неизбежных волнений, если граф сейчас скончается.

И нашумело громкое дело Максима Горького, всколыхнувшее всю передовую Россию: царь отменил решение об избрании выдающегося писателя в Российскую академию наук. Сазонов информировал Зволянского, что надо ждать внушительной демонстрации студентов на премьере Горького «Мещане». И предлагал запретить показ пьесы 26, 28 и 30 марта 1902 года в Панаевском театре. Этим запретом удастся сорвать «бурную торжественную овацию по адресу автора пьесы для выражения сочувствия «отвергнутому академику» и протест тех правительственных органов, которые воспрепятствовали избранию писателя Пешкова, как неблагонадежного лица, в члены Императорской Академии наук...»

Промышленный кризис, охвативший Россию, никак не сменялся деловым оживлением. Гребень революционной волны вздымался выше. Рабочие стали основными узниками тюрем и казематов. И даже либералы не смогли удержаться в стороне от движения: хлесткий буржуазный журналист Алексей Амфитеатров разразился в газете «Россия» фельетоном «Господа Обмановы». В Нике-Милуше читатель узнал Николая II, а в его родовом селе Большие Головотяпы — обнищавшую матушку Русь. И хотя фельетонист сочувствовал безвольному царю, которому не дают проводить реформы немецкие родственнички, его упекли в Минусинск.

А в охранке шло ликование: погибло бесповоротно дело «Искры» в России. Только невдомек было охранникам, что нельзя заткнуть кляпом неиссякаемый родник революционного подвига!

Ленин напечатал гениальную книгу «Что делать?». А это был гимн партии нового типа, призванной

революционизировать, организовать и направить силу революционного движения. «Дайте нам организацию революционеров — и мы перевернем Россию!» — писал Ленин. И эти слова оказались пророческими.

И примерно в это время появился в Петербурге с полномочиями Владимира Ильича брат Степана Радченко — Иван Иванович, известный под кличками «Аркадий» и «Касьян». Он и стал повторять то, что начал, но не довершил Виктор Ногин: сплотил новую группу искровцев и продолжал переговоры с оставшимися на воле членами «Союза».

В «Союзе» все изменилось к лучшему. Его возглавляли люди «политического» направления: Елена Стасова и Владимир Краснуха. Они и заявили, что «Союз» переходит на платформу «Искры», и выпустили знаменательное воззвание «Ко всем российским социал-демократическим организациям».

Пора кончать со старым, с «экономизмом», писали они. Нельзя больше затягивать ликвидацию периода кустарничества, местной раздробленности, организационного хаоса и программной разноголосицы, как говорит об этом автор брошюры «Что делать?». Мы солидарны с теоретическими воззрениями, тактическими взглядами и организационными идеями «Зари» и «Искры», которые «Союз борьбы» признает руководящими органами русской социал-демократии.

«Мы не можем пассивно ждать одного только формального восстановления всероссийской партийной организации, мы должны немедленно активно взяться со всех сторон за ее созидание, чтобы оказаться на высоте своей задачи: руководить решительным натиском масс на русское самодержавие.

СПБ комитет РСДРП

Союз борьбы за освобождение Рабочего Класса

С.-Петербург, июль 1902 года...»

Большой шаг вперед сделали Радченко, Стасова и Краснуха. Но и это еще не было окончательной победой «Искры» в столице. «Экономисты» из «Союза борьбы» не сложили оружия. Под видом рабочей «оппозиции» группа их выступила против «Искры».

На собрании «оппозиции» 8 сентября 1902 года они заявили, что объединяться с «Искрой» не хотят, так как у них своя программа, свой устав. И скатились в топкое болото зубатовщины.

Но свет «Искры» уже не угасал в Питере. Да и по всей стране ширилось ее влияние. Иван Бабушкин создавал группы «Искры» в Екатеринославе и после ареста бежал за границу, к Ленину — в Лондон. Николай Бауман, Максим Литвинов, Иосиф Таршиц (Пятницкий) и еще восемь товарищей совершили дерзкий побег из Лукьяновской тюрьмы в Киеве 18 августа и снова взялись за пропаганду идей «Искры».

Из Восточной Сибири бежал Николай Скрыпник и привез в Самару тысячу рублей, полученные от одного друга «Искры» в Саратове. А в Самаре уже действовал Глеб Максимилианович Кржижановский. Он был у Ленина в сентябре 1901 года и получил поручение встретиться в Питере с Виктором Ногиным и Степаном Радченко. Но не застал их. Тогда он перебрался в Самару и в феврале 1902 года созвал за городом конференцию представителей крупнейших искровских организаций. На конференции были З. П. Невзорова, В. П. Арцыбушев, К. К. Газенбуш, С. И. Радченко (его арестовали в Питере по возвращении с конференции), Ф. В. Ленгник, Д. И. и М. И. Ульяновы. Конференция избрала Центральный Комитет (он известен как «Самарское бюро «Искры»). В него вошли все присутствовавшие агенты «Искры» и шесть ее редакторов.

На Кавказе активно действовали Ладо Кецховели, в Ревеле — М. И. Калинин. В Иваново-Вознесенске развернул деятельность «Северный союз РСДРП»; его влияние среди рабочих Владимирской, Ярославской, Костромской и Тверской губерний было неоспоримым.

Охранка взялась за насаждение провокаторов в искровской среде. Именно в это время перешел к ней на службу врач Яков Житомирский и начал за 260 марок в месяц «освещать» берлинскую организацию «Искры».

«Искра» же победно шла по стране. Газета прибывала в империю Романовых в чемоданах с двойным дном, в коробках с дамскими шляпами, в потайных карманах пальто и костюмов, в детских игрушках и аляповатых фигурах из гипса, в красочных проспектах торговых фирм, в переплетах книг и журналов, в рабочих баулах кондукторов, кочегаров, машинистов и матросов. Крупные транспорты шли в мешках и контейнерах — сушей и морем — через связных и контрабандистов.

Через три недели после приезда Виктора Ногина и Сергея Андропова в Енисейскую губернию (В. Ногин и С. Андропов были выпущены из Петропавловской крепости 29 августа 1902 года и отправлены в ссылку до вынесения приговора по их делу) ростовские искровцы Я. Драбкин (С. Гусев), И. Ставский и другие подняли на забастовку рабочих железнодорожных мастерских. Через два дня — 7 ноября — она стала всеобщей и приобрела ярко выраженный политический характер. И еще через четыре дня, на митинге за городом, в Камышевахской балке, где собралось народу до 30 тысяч человек, произошло кровавое столкновение с казаками: шесть человек было убито, семнадцать ранено. «Пролетариат впервые противопоставляет себя, как класс, всем остальным классам и царскому правительству», — писал Ленин о событиях в Ростове.

Так начался в Батуме и так завершился в Ростове этот героический искровский 1902 год.

Виктор, узнав в ссылке о побоище на Дону, сказал Андропову:

— Истинная жизнь там, Сергей Васильевич! Будем думать, как скорей вырваться из этих палестин!

«Искра» никогда не забывала о своих агентах. В номере 27 (1 ноября 1902 года) появилось в ней извещение: «Сосланы в Восточную Сибирь... Виктор Ногин, раб., и Сергей Андропов, быв. студент (оба нелегальные, из СПБ) — до приговора».

А в 39-м номере (1 мая 1903 года) сообщалось: «Бежали из Восточной Сибири... 2) бывш. студент Серг. Андропов и 3) раб. Виктор Ногин — нелегаль-

ные, арестованы в 1901 г. по петербургскому делу «Искры» и сосланы до приговора после годичного заключения».

Эти шесть месяцев, отделяющие одну заметку от другой, и были этапом жизни в Сибири.

До Ачинска друзей везли в арестантском вагоне. Потом — за свой счет — можно было следовать в Балахту, на Чулыме, или в Назарово, расположенное в двухстах верстах на северо-запад от Шушенского. Они выбрали село Назарово: и к Ачинску ближе, и была там маленькая колония ссыльных.

По осенней «черной тропе» добирались туда не долго. И поселились в большой хате у старовера. Виктора никак не стесняли кондовый дух и традиции этой семьи: он не пил, не курил. Сергею же приходилось туго: с папиросой надо было выходить на крыльцо, а в крепкий сибирский морозец это сущая мука.

Жизнь скоро вошла в привычную колею: чтение до обеда, прогулки по вечерам до околицы да тихие сборы у кого-либо из ссыльных. И совсем стало сносно, когда прикатила по зимнему первопутку верная своему слову Варвара Ивановна Ногина — с теплым бельем, с материнской заботой и лаской. И вторая ссылка, так сказать обласканная доброй и любящей матерью, не тяготила, как первая, полтавская. Но сидеть в Назарове «премудрым пескарем» и пассивно ждать, что придумает для него царь, куда ушлют по «высочайшему повелению», не было в характере Виктора.

Он наладил связь с Ачинском и держал ее постоянно. Его выбрали кассиром окружной колонии ссыльных. Он отправил письмо Николаю Алексееву в Лондон — просил дать верный адрес мюнхенских друзей и переслать деловую записку П. Б. Аксельроду:

«Многоуважаемый Павел Борисович! В Ачинске существует касса политических ссыльных, преследующая как цели взаимопомощи, так и цели помощи товарищам, проходящим через Ачинскую тюрьму. На все это требуются большие деньги, а в кассе их не-

много. На днях мы прочитали объявление Цюрихской Сибирской кассы, из которого видно, что эта касса сможет помочь Ачинской. Будьте любезны передать нашу просьбу в Цюрихскую Сибирскую кассу выслать для Ачинской кассы сумму денег, которую она найдет возможной, и не один раз, а регулярно. Прислать деньги можно по моему адресу.

Теперь я вам напомню о себе. Вы знали меня под фамилией Новоселова, я был у вас два раза, со своим товарищем. Рекомендация у меня была от Владимира Ильича. Наши общие друзья должны знать мою историю, и если вы ею интересуетесь, то они смогут вам ее сообщить. Кстати, ввиду того, что я до сих не могу получить от них ответа, или хотя бы адреса на свои три или четыре письма к ним, я прошу вас передать им мою просьбу выслать мне их адрес».

В «черном кабинете» начальника главного управления почт и телеграфов Российской империи генерала Петрова к письмам Ногина отнеслись с большим вниманием. И это письмо, конечно, было перлюстрировано в числе других 16 тысяч, в которые охранка совала свой нос в 1902 году.

Варвара Ивановна не мешала занятиям сына. Виктор читал по утрам все, что попадало в Ачинск и в Назарово. А по вечерам Ногины жарили картошку, варили кашу или рыбу для тех товарищей, которые нуждались не только в тепле, в задушевном слове, но и в обычной пище.

Брат Павел вернулся из Лукьяновской тюрьмы в Москву и ожидал решения по своему делу. Он хотел схитрить и принял охранную медаль, чтобы прослыть благонадежным. Виктор отругал его: «Напрасно ты принял охранную медаль. Мне было бы очень противно иметь ее; неужели ты не испытал ни малейшего чувства брезгливости, когда тебе принесли ее? Ты, может быть, скажешь, что хотя тебе и было противно, но не принять ты не мог, не рискуя поплатиться за это. Я не думаю, во-первых, чтобы риск был большой, а во-вторых, всегда мы лгать не должны. Ведь ты был арестован, и они тебя не счи-

тают за благонадежного, ты уже купил тюрьмою право высказывать свои убеждения, да и они за одно и то же не могут наказывать дважды».

В других письмах Виктор благодарил брата за присылку новостей и за «Известия Московской городской думы», где содержалось смехотворное решение отцов города о коечно-каморочном строительстве квартир для рабочих. И просил прислать ему новые книги, в том числе «Очерки по истории русской культуры» П. Милюкова.

Но в каждом письме был один лейтмотив: самое важное сейчас — «это проявление своей собственной активности. Мертвечина, инертность — тоже обычные вещи, ибо настоящих деятелей очень немного: как говорится, раз, два — и обчелся. Действительно, я рекомендую начинать с себя, так как надо же хоть кому-нибудь начинать...»

Ранней весной 1903 года ачинские товарищи прислали связного: получен приговор из столицы — Ногина и Андропова отправить в ссылку в Иркутскую область.

Был последний ночной разговор с Варварой Ивановной и друзьями в Назарово. Выходило одно: бежать, немедленно, этой же ночью, чтоб отмахать до рассвета хороший отрезок пути по морозцу, по весеннему насту.

На примете был верный мужичок с отличным крытым возком. Варвара Ивановна подняла возчика с горячей печки и уговорила его догнать сына с Андроповым и доставить их в Ачинск. А потом сказала на прощание сыну и Сергею:

— Сама уж выберусь позже. Вот грех-то: сундук везла громадный, думала, поживем тут хоть с год. Ну, трогайте, дорогие, припасов больших не даю — наспех все, да и не велик путь. А в селе всем скажу: заболели вы, из дому не выходите. Отведу глаза уряднику, коль сюда сунется. А уж вы в дороге не мешкайте. Бог с вами!

С тем и ушли трое в ночь — со связным. И добрались хорошо. А через две недели получили в Харько-

ве у Л. Н. Радченко адреса и явки. И перешли вполне удачно границу возле Каменец-Подольска.

Но каково же было удивление Виктора, когда он обнаружил в Женеве Варвару Ивановну! Она уехала из Сибири следом за сыном и появилась в Швейцарии раньше его.

— Мама, ну зачем?! — спросил он, обрадованный неожиданной встречей.

— Не брошу я тебя! Слово такое дала. Живи как знаешь, а я повсюду с тобой...

Ленин и Ногин встретились во второй раз. Это было в рабочем предместье Женевы Сешерон, в квартире Ильичей на улице Шмэн дю Фуайте, 10. Ульяновы еще не успели оглядеться по приезде из Лондона, и на всем их быте лежал отпечаток бивачной жизни.

Заметно изменились оба за двадцать три месяца: Владимир Ильич длиннее и шире отрастил бороду и пощупывал ее, когда слушал или вставлял остроумную реплику в разговор. Он осунулся, резче стал его голос, а жесты выдавали в нем человека, у которого нервы напряжены до предела. И Виктор стал иным: он зарос в сибирской глуши, как бирюк, и возмужал. На молодом лице кустилась купецкая борода, движения стали медленнее, с пенсне он не расставался — две тюрьмы и Сибирь сказались на зрении.

Но Ленин изменился лишь внешне. Как и прежде, он наклонился при встрече, протянул согнутую в локте руку, пожал крепко, встряхнул. Пристально поглядел в глаза, с лукавинкой, озорно, лучисто и горячо, порывисто обнял:

— Первый агент «Искры» из Петропавловки! А ведь недурно, Виктор Павлович! Значит, дорого мы стоим господам в голубых мундирах. Садитесь, прошу вас. Ну, а как в ссылке?

— Уныния нет, но повсюду какой-то умственный разброд. Мутят воду эсеры: они идут в Сибирь воблой и тащат с собой шум и интриги. Иногда и наши

попадают на их приманку. А от случайных людей надо очищаться, Владимир Ильич.

— Тысячу раз вы правы! Очищаться, конечно, очищаться! Только тех возьмем с собой, кто примет программу эсдеков безоговорочно. К сожалению, разброда и в эмиграции вдосталь. Кто занят делом, тот еще терпит пребывание в этой женевской дыре, как мы терпели и в Мюнхене и в Лондоне. А безделье здесь — хуже доброй ссылки: кипят в собственном соку, интригуют, разносят слухи. Эх, эмиграция, эмиграция! Вы думаете долго пожить у нас?

— Скорей бы домой, Владимир Ильич!

— Я ждал такого признания. На съезд не зову, хотя он и не за горами. Сейчас очень, очень необходимы люди в России — агитировать за съезд, выбирать делегатов, отправлять их за границу. Побольше бы рабочих, твердых искровцев. А после съезда — убедительно рассказать о нем на местах. Это вы умеете, мне говорил Бауман. Кстати, он здесь, и мы недавно устраивали его свадьбу... Так как, по душе вам работа?

Виктор кивнул.

— Вероятно, «Искру» давно не видали?

— Номеров двадцать пять пропустил.

— Читайте, вот вам и занятие. Посмотрите и эту книженцию. — Ленин достал с полки брошюру «К деревенской бедноте». — Я попытался популярно рассказать крестьянам о нашей аграрной программе. И — о задачах партии вообще. Это — удар по эсерам. И в «Искре» найдите все статьи против этой крикливой компании: «Террор! Стреляй не в царя, а в министров, царь не доведет дело до крайности!», «В борьбе обретешь ты право свое!» — Ленин явно передразнил кого-то. — Экая чушь! Никаких устоев — ни социальных, ни теоретических! Имейте в виду, Виктор Павлович, что эта компания сейчас опаснее «экономистов»: тех мы, кажется, доставили на кладбище по третьему разряду.

— И «Рабочее дело» прикрылось?

— В феврале были поминки!.. Так вот, за месяц

справитесь. Потом получите паспорт, деньги. Обрядим вас с иголочки — и с богом!

Ленин рассмеялся азартно, громко.

— Хорош эсдек, а? Бога приплел! А все привычка, висит, как гиря на ногах. Скажется еще этот боженька, и не один раз!.. С кем успели повидаться?

— Еще не искал встреч. Ну, а как Юлий Осипович? Плеханов?

По оживленному лицу Владимира Ильича скользнула тень. Он не скрыл этого. Помолчал, потер рукой высокий лоб, глаза стали жестче.

— Все здесь. Было время, я старался держать «Искру» подальше от милейшего Георгия Валентиновича. Он скрупулезен в мелочах; назойлив, упрям, и отдаленное расстояние мешало ему ежедневно будоражить газету. Теперь — споры с ним, едва ли не каждый день. А недавно был бой по самому главному в марксизме, с трудом я отстоял в проекте программы важнейший пункт о диктатуре пролетариата. Появилась у него какая-то обтекаемость формулировок, словно он мягкотелый интеллигент, а не редактор «Искры».

Юлий Осипович вдруг впрягся в одну колесницу с Плехановым и Аксельродом и кричит, что не согласен с разделом о национализации земли... Так что держите компас, Виктор Павлович! В литературном океане эмиграции легко пойти ко дну: эсеры, анархисты и прочие путаники! Кстати, вы устроились сносно?

— Да, у Веры Михайловны Величкиной, жены Бонча.

— Это на авеню дю Майль, 15? Там пансион какой-то?

— Морхардта.

— Знаю, знаю, я бывал там. Бончи — это хорошо, они люди наши. Но пансион забит креатурой Мартова. Остерегайтесь, Виктор Павлович, особенно Юлия Осиповича. Человек он хваткий. Но я за него опасаюсь: он ведет со мной пустые разговоры, избе-

гает серьезных споров, прячет душу. Не встречали таких?

Виктор задумался. Хотел умолчать о своих сомнениях. Но Ильичу надо было говорить только правду.

— Бывает, Владимир Ильич. Я вот с удивлением приглядываюсь к своему лучшему другу — к Андропову. Стал он замыкаться. И иногда мне кажется, то ли устал, то ли тянет его в науку от политической жизни. Сам еще не разобрался. Но вижу, хоронится человек и, как вы сказали, прячет душу. Но в Россию он поедет, дал слово.

Все дни Виктор проводил в партийной библиотеке имени Куклина. Там хозяйничал почти его одногодок Вячеслав Карпинский — один из организаторов Харьковского «Союза борьбы».

Карпинский увлекался экономикой, был близок Виктору в его исканиях и направлял его читательский порыв.

Случались и оживленные застолья в небольшом кружке друзей. то ли за чашкой кофе, то ли за стаканом чаю. Заходил однажды Николай Бауман со своей женой Капитолиной Медведевой: молодая не скрывала семейного счастья и не сводила глаз с бравого русого и голубоглазого мужа.

В последний раз вот так беззаботно провели вечер два первых агента «Искры» — Ногин и Бауман. Им удалось встретиться еще раз. через полгода, осенью 1903 года, на даче во Владыкине, под Москвой, впотьмах и наспех. Но запомнился Ногину Николай Бауман именно в тот вечер: русский клуб в Женеве, круглый стол, дымящийся кофе, яркий электрический свет и — на виду у всех — красивая молодая пара. А Сергей Гусев, привалившись к стенке стула, мурлычет вполголоса арию тореадора из оперы Бизе.

Сергей Гусев был в ореоле — герой двух замечательных выступлений в Ростове: в ноябре 1902 года и в марте 1903-го. Он прибежал в Женеву недавно: ему грозила виселица. Человек в душе музыкальный,

поэтический, песенник и заводила, он очень живо рассказывал, как в марте 1903 года он с товарищами снова поднял ростовчан на стачку.

— Утро, день воскресный, над городом и над Доном — малиновый звон колоколов. А наши парни толкались среди верующих и раздавали листовки, звали на митинг в Камышевахскую балку. Мы не промахнулись — пошел народ в балку после богослужения. Конечно, были и зеваки — им бы поглядеть, как развернется весенний кулачный бой, он там бытует издревле. Собрались, расселись. Васильченко крикнул: «Споем, товарищи!» — и затянул Сабинин: «Отречемся от старого мира, отряхнем его прах с наших ног». Подхватили сперва наши ребята, потом все! И встали! А мы уже развернули красное знамя и повели народ в город, на Садовую. Там сунулись полицейские с приставом. Боевые хлопцы похватали их и заперли во дворе. Потом — казаки! Им преградили путь проволокой: ее протянули поперек проспекта. А когда конники стали ковыряться да лететь через голову на мостовую, боевики накидывали на них лассо из проволоки. Все обошлось как надо: и знамя спрятали и людей спасли. Но встряску дали властям, никогда не забудут!..

Заходила в клуб Цецилия Бобровская-Зеликсон с мужем. И Бонч-Бруевич — он тогда ведал экспедицией «Искры». Но, пожалуй, ближе всех стал Ногину Виктор Радус-Зенькович, по виду богатырь, человек молчаливый, решительный. Он бежал из сибирской ссылки осенью 1902 года, изучал типографское дело и работал наборщиком «Искры». Два Виктора подружились. И скоро судьба свела их снова — и на воле и в тюрьме.

Обстановка в Женеве раздражала Ногина: крикливые собрания, закулисные разговоры, скрытая, но дающая знать о себе междоусобица. Эти невеселые впечатления отразились в письмах Виктора к брату Павлу, который со дня на день ждал приговора по своему делу и очень тревожился.

10 июня 1903 года Виктор писал ему: «Дорогой Паша, все твои письма получил... Некоторые сообще-

ния использованы. Письма пока посылай нашей общей знакомой Вере Михайловне.

Очень рад, что твоя тревога была напрасной и что ты теперь здоров.

Собрание-протест, о котором я писал тебе, состоялось; социал-демократов было более 150 человек, но когда они увидали, что устроителями являются анархисты, прославившиеся пьянством, то ушли с криками протеста. Потом оставшиеся приняли резолюцию, порицающую искровцев».

По совету Владимира Ильича Виктор переехал с Варварой Ивановной из пансионата Морхардта в деревушку на берегу Женевского озера. Но и там нашел его Мартов.

Встреча эта произвела неприятное впечатление: Юлий Осипович обвинял Ленина в диктаторстве и в каком-то заговоре против редакторов «Искры».

— Он верит в свою непогрешимость, «ортодоксия» — его любимое слово. Но нельзя же мнить себя марксистом бо́льшим, чем сам Маркс. Послушать его, так партия — это лишь кучка избранных, а не широчайшая масса и профессионалов вашего склада и всех, кто сочувствует ее идеям. — Мартов ходил по комнате, сутулясь и волоча ногу, и беспрерывно гасил и зажигал папиросу. — Грустно все это, Виктор Павлович! Ведь какая чудесная дружба связывала нас восемь лет! Но вижу, что дни ее сочтены!..

Было что-то театральное, злое, глупое в этих словах Мартова, словно играл он роль оступившегося героя и никак не мог найти простой и ясной реплики, которой и суждено схватить за душу зрителя. С тем и ушел он. А Виктор промучился весь день, и перед глазами стоял этот шатающийся вчерашний кумир, готовый свалиться с гранитной скалы в пропасть. Да неужели и к Мартову применимы слова Фердинанда Лассаля из письма к Марксу, которые Ленин поставил эпиграфом к книге «Что делать?» (Ф. Лассаль 24 июня 1852 года писал К. Марксу: «...Партийная борьба придает партии силу и жизненность, величайшим доказательством слабости партии является ее расплывчатость и притупление резко обозначенных

границ, партия укрепляется тем, что очищает себя...») Это же трагедия! Это потеря вождя, товарища, друга. Потеря учителя наконец! Ведь именно он открыл вчерашнему красильщику от Паля пламенную «Искру». В тот памятный весенний день он явился к Виктору в Полтаву из туруханской ссылки и заявил гордо: «Мы с Ильичем начинаем это огромное дело. И это дело всей нашей жизни!» А на поверку и «жизнь»-то оказалась куцая — всего каких-то восемь лет!

Наступил день расставания и с Сергеем Андроповым: он уезжал агентом Оргкомитета по созыву съезда в Россию. А Виктора отправлял Владимир Ильич в Лондон ликвидировать последние дела по типографии «Искры» и договориться с Николаем Алексеевым о создании в Лондоне крепкого представительства «Заграничной лиги русской революционной социал-демократии».

Прощались с тяжелым чувством. Сергей был взволнован, словно выбит из колеи.

— Снова будет тюрьма, ссылка. Так и проживешь в бегах да с клопами. И боюсь потерять вас, когда-то свидимся? — вздыхал Сергей.

— Россия велика, но и дороги широкие. И человек не иголка, всегда его найти можно. А вот что надломились вы, вижу, и мне это совсем не по душе. Сами вы добровольно избрали этот тернистый путь, он смысл нашей жизни. Тюрьма и ссылка — только досадный штрих в биографии. Да и не вечно им быть — сломаем! Мужайтесь, Сергей Васильевич! Так хочется верить в вас! А рассвет не за горами, глядите, как «Искра» все ярче зажигает огни!

На многие годы расстались друзья в тот день. Через неделю в пограничном австрийском местечке пришлось Андропову два дня поджидать контрабандиста. Кто-то донес местной полиции, та дала знать русской пограничной охране. И едва Андропов перешел вброд реку Збруч, его захватили стражники. Потом снова Петропавловка, судебный процесс в Каменец-Подольске и ссылка. Вышел он на волю в октябре 1905 года. Но революция уже шла мимо него.

А Виктор Ногин заехал из Лондона в Берлин, там получил хороший паспорт. И берлинский экспресс умчал его к русской границе.

В мягком купе сидел молодой человек, осанистый, статный. Красиво кустилась у него широкая каштановая борода, мягкими волнами лежали волосы на голове. Соседям по купе он назвался Ливановым Николаем Васильевичем, присяжным поверенным. И по всему было видно, что этот адвокат процветает. Только не знали соседи, что образцовый его костюм сшит в Лондоне на партийные деньги, а в потайном кармане хранились важные документы: партия направляла агента Оргкомитета в Екатеринослав — крупный промышленный центр на Днепре. И ехал он с кличкой «Макар». И надлежало ему сплотить вокруг «Искры» социал-демократические силы юга России.

Лишь у пограничной станции соседи с недоверием поглядели на молодого адвоката с каштановой бородой. Он раскрыл окно, схватил в охапку какие-то издания, которые читал всю дорогу, и выбросил их в кювет.

Но из всех окон летели газеты, журналы: россияне, хлебнув заграничного духа, обращались в благопристойных обывателей и умывали руки перед встречей с голубым жандармским мундиром.

И кто-то в купе последовал примеру Ливанова: воровато запустил в окно томик «Былого». И даже сказал в свое оправдание:

— Нищие духом сраму не имут!

Кто-то кричал в соседнем вагоне:

— Смотрите, смотрите!

Запретная литература белой полосой лежала вдоль полотна. А за поездом мчались шустрые ребятишки и подбирали ее в большие корзины.

ОТ ДНЕПРА ДО ВАРЗУГИ

Шеф полиции Зволянский шестой год держал на примете Виктора Ногина. И снова написал о нем в циркуляре № 5200 от 1 июня 1903 года: «Обыскать, арестовать и препроводить в распоряжение енисейского губернатора».

На границе Виктора не поймали: охранка даже не подозревала, что он так смело, дерзко переступил рубеж Российской империи. И для приманки держала теперь на воле брата Павла в Москве. «Видный член российской социал-демократической организации «Искры» Виктор Павлов Ногин ныне нелегально проживает в России, — сообщал шеф полиции московской охранке 8 декабря 1903 года. — Надлежит следить за Павлом Ногиным и через него попытаться взять Виктора Ногина, коли тот будет сноситься с братом».

Виктор виделся с братом еще до этого указания из столицы. Свидание состоялось на квартире Варвары Ивановны. Она же, как вернулась из Женевы, переменила адрес и жила теперь на 2-й Сокольнической улице, в доме Брянцева.

— Папаша шутил, что я, как цыганка, мызгаю с квартиры на квартиру. Ан пригодилось, дети мои! —

она хлопотала по хозяйству и любовалась статными сыновьями.

Виктор не задержался в Москве. Он объехал все Подмосковье, навестил и свой Богородск, где едва узнали в нем бывшего конторского мальчика и красильщика. Старые друзья слушали его так, словно он с неба свалился: провинциальные текстильщики еще не так разбирались в партийных делах, как металлисты в крупных промышленных центрах. Но и в Богородске и в округе уже появились люди, которые слыхали об «Искре». А такие мастеровые, как Игнат Буров, Сергей Леонов, Александр Сущенко и Михаил Петухов, тянулись в искровские кружки.

Однако и Богородск и Владимирщина снова были лишь перепутьем для Ногина: он продвигался к Днепру, в город Екатеринослав.

Там — в Кайдаках, на Чечелевке и за Амуром — давно сложились революционные традиции, но сейчас никто не направлял их крепкой рукой. Искровцы на заводах и среди ремесленников первенства не имели. Городской комитет РСДРП, смирившись с такой неразберихой, никак не отличался смелостью мысли.

Виктор не знал даже, с чего начать. Партию здесь зачинали В. А. Шелгунов и И. В. Бабушкин. Кто остался от тех времен? В разные годы здесь бывали Ю. Мартов, Г. Петровский, Р. Землячка, В. Таратута.

Попался Виктору Бушуев. От него уходил с Нагорной улицы Иван Бабушкин год назад, когда бежал из кордегардии четвертого полицейского участка.

Через Бушуева нашел Виктор дорогу к Никифору Вилонову — Мише Заводскому. Этого боевого, дерзкого парня очень любили металлисты. От Вилонова — к Василию Чиркину: тот получил ранение на заводе, пока не работал и располагал свободным временем. Да и вырвал толику денег с хозяев за увечье и согласился передать их для тайной типографии.

К типографии пристроили Сашу Городского. И он уже через две недели печатал в ней листовки.

Постепенно был завоеван городской комитет РСДРП, и Ногин стал его руководителем под кличкой «Макар».

Макар составил программы для занятий в кружках двух типов. В одних — курсом повыше — знакомили товарищей с программой партии. В других — курсом пониже — обсуждали заводские будничные дела, знакомили с азами искровских требований. Такие кружки называли летучками, а агитаторов — с легкой руки Макара — стали звать «летаторами».

Для них Макар сделал вырезки из легальных газет о произволе хозяев, о рабочих землянках, о забастовках на Кавказе и на Дону, о полицейской расправе над учениками Ленина, о жизни в ссылке. Он наклеил вырезки в тетрадь с клеенчатым верхом, снабдил их своими острыми комментариями. И тетрадь вручалась «летатору» накануне занятий.

Собирались на кладбище. И Виктор однажды очень удачно напомнил товарищам рассказ о том, как оратор-студент выступал на сходке в Казани с могильной плиты жандармского полковника.

— Ведь никто не будет возражать, чтобы все жандармы — от унтера до генерала — покоились под такими плитами, — сказал он.

Собирались в «Сокольниках», в саду за Чечелевкой, на острове «Старуха» в русле Днепра и в Монастырском саду.

Занимались и просто за чертой города, в балке. Выходили в ковыльную степь, словно на прогулку, с гитарой. А говорили об очень важных делах: как готовиться к съезду партии, который должен начаться на днях в Брюсселе, какие выдвигать политические лозунги. И вдруг запевали песню и парами, тройками разбредались по степной равнине: на горизонте маячил казацкий объезд.

Первая же листовка, отпечатанная в типографии, призывала рабочих Чечелевки, Кайдаков и Амура немедленно создать стачечный комитет и развернуть выступление в поддержку товарищей, бастующих по всему югу России. Макару очень хотелось, чтобы это выступление было приурочено ко II съезду РСДРП.

Почва для стачки оказалась благодатной. Макар ежедневно выступал на нелегальных собраниях, призывал ко всеобщей стачке, ибо только она могла носить ярко выраженный политический характер.

В первые дни августа 1903 года обстановка накалилась до предела. Все ждали лишь сигнала стачечного комитета.

7 августа в восемь часов утра загудели паровозы, стоявшие на ремонте в мастерских. Бросили работу доменщики, прокатчики. Однако на Амуре и в Нижнеднепровске еще дымили трубы. Туда направились двенадцать ораторов. Они митинговали два дня и сломили сопротивление отсталых рабочих. Но дорогое время было утеряно: полиция уже стянула свои силы к заводам.

9 августа стачка парализовала все предприятия в Екатеринославском районе. Только на Брянском и Трубном заводах кто-то хотел работать. Однако к станкам не пошел: мы, мол, не знаем, что и делать. И завтрака не взяли. А как без него?

Администрация мигом прислала не один воз арбузов и сотни сельдей. Нашлись и такие, что порасхватали даровое угощение, но от забастовщиков не отбились.

Что-то новое отличало в эти дни металлистов, готовившихся к демонстрации. Они шли как в бой, как на праздник. Привели в порядок свое рабочее место, почистили котлы, станки. Словно появилась у них вера в то, что не сегодня, так завтра будет принадлежать им все это добро, захваченное капиталистами. А ведь всего пять лет назад рабочие Брянского завода поджигали заводские строения, громили кассу, разносили монопольку и растаскивали товар в жалких еврейских лавчонках.

Теперь, подхватив лозунг «Долой самодержавие!», тысячи людей собрались у ворот Брянского завода, чтобы отправиться в центр города, на проспект.

Но инициативу перехватил губернатор граф Келлер: он двинул навстречу демонстрантам пехоту и казачий отряд. От первых же залпов упали на землю одиннадцать рабочих.

Товарищи хотели похоронить их на другой день с почестями. Но полиция воровски предала их земле ночью, тайно, в большой спешке.

Горячие головы в стачечном комитете предложили взяться за оружие. Макар не согласился: слишком свежи были в памяти героические, но и печальные дни Обуховской обороны.

— Я снова призываю вас на демонстрацию, — сказал он. — Но выходить надо немедленно; всякое промедление ставит вас в невыгодное положение!

Стачечный комитет призвал бастующих выйти на демонстрацию. Его поддержали даже приказчики города, которые еще вчера стояли в стороне.

Однако демонстрация — эта «репетиция революции», как выразился один из подручных графа Келлера, — не состоялась в том масштабе, как задумал Макар. Войска успели оцепить предприятия и выставить патруль на мосту через Днепр.

И все же рабочие вышли на проспект с боевой революционной песней. На площади возле городского сада завязался бой со стражниками. Полиция и охранка хватали демонстрантов, те отбивались врукопашную. На Екатеринославском проспекте в облаву попали мирные обыватели, которые неосторожно вышли в тот день на прогулку с тросточками.

В полицейских участках и в околотках началась жестокая расправа. Вдохновлял ее полицмейстер Машевский, антисемит и палач. Год назад он стоял возле ворот городского сада и кричал во все горло:

— Лови жидов! Это их работа! Бей!

Этот отпетый негодяй переловил тогда десятки студентов и рабочих-подростков. И в тюрьме сказал им:

— С политической стороны вы нам неизвестны. Мы вас отпустим, но предварительно высечем, чтоб в другой раз вы не лезли в драку с полицией.

И высек, сукин сын!

Машевский поощрял всякое издевательство над арестованными. Его приводило в восторг, что пристав четвертого участка так усердно свирепствует: ставит рабочих на колени перед портретом царя и раздает

направо и налево оплеухи. И пристав, обласканный начальством, так вошел в раж, что приказал пороть бастующих розгами...

Стачка и волнения прекратились в понедельник, 11 августа. Но в тюрьму было брошено до трехсот человек, и почти все рабочие.

Филеры и предатели сеяли смуту. И уже появились крикуны из отсталых рабочих, которые пели откровенно с чужого голоса:

— Пусть эта ведьма Макар либо Мишка Заводской сюда сунутся да заикнутся: «Долой царя!» Мы их мигом на руках доставим в участок!

Одновременно начали противоборствовать и эсеры. И стали навязывать дискуссию о «путях революции». Макар долго сопротивлялся: есть ли время спорить, когда дорог каждый час! Но в дискуссию пришлось ввязаться, так как кое-кто из кружковцев жадно слушал болтовню эсеров о терроре и личном геройстве боевиков.

24 августа, в воскресенье, из разных концов города собрались люди на остров «Старуха» в русле могучего Днепра. Сначала шли разговоры, которые не задевали личностей, и каждая из сторон держалась корректно. Но когда эсеры распалились и начали кричать, что революции ждать нечего, пока рабочих водят за нос Ленин и Мартов — обманщики и лицемеры, отрицающие личный террор, «наши молодые сердца не выдержали, и мы схватились за палки. Каюсь, что одним из первых был я», — вспоминал об этой драке на острове Виктор Ногин.

Вскоре приехал Сергей Гусев — представитель нового ЦК РСДРП, избранного на съезде. И он подробно рассказал Макару о событиях в Брюсселе и в Лондоне. Макар заявил о своем согласии с точкой зрения большинства съезда, с Лениным и после острой дискуссии убедил в своей правоте Екатеринославский комитет РСДРП. Большевики победили в городе на Днепре. А скоро они добились победы и в Бахмуте и в Донецком бассейне. Ленину была направлена резолюция: «Екатеринославский комитет выражает свою солидарность со всеми постановле-

ниями съезда, подчиняется всем центральным учреждениям, избранным съездом, приглашает товарищей объединиться и выражает свое порицание всяким дезорганизаторским попыткам, нарушающим цельность и единство работы».

Два месяца назад, когда приехал Макар сюда, едва ли тридцать пять человек объединялись вокруг «Искры». Теперь платформу Ленина разделяли триста пятьдесят рабочих, ремесленников и интеллигентов.

Радостно было сознавать, что революционная работа принесла богатые плоды. Но за Макаром началась назойливая слежка. Провокатор Бакай, фельдшер из больницы на Чечелевке, возле Озерного базара, вчерашний ученик и товарищ, попал в сети к филерам и дал им слово накрыть своего учителя на первом же собрании. А в Кайдаках стал тащить за собой филеров провокатор Батушинский.

Друзья раздобыли паспорт на имя Николая Петровича Соколова. Они устроили прощальную вечеринку, сказали Макару много теплых, сердечных слов, перед расставанием запели «Варшавянку».

И под эту песню Ногин отправился на вокзал.

— Труден ты для нелегальщины, товарищ Макар, — шепнул ему Василий Чиркин, когда они в пролетке ехали по людному и шумному Екатерининскому проспекту. — Заметен больно, красив. Да и бородища эта и очки.

— Эх, Василий Гаврилович! Сам не раз думал. Бороду можно подкоротить. Росту, конечно, не убавишь, а без пенсне я и тебя не увижу, когда будем прощаться...

Перебрался Виктор в Ростов-на-Дону.

На улице дули вдоль реки декабрьские ветры, а от разброда в организации было душно, жарко. Стоило собраться двум-трем эсдекам в укромном месте, как начинался крик:

— Большевики! Меньшевики!

Никто толком не знал, что случилось с «Искрой». Одни говорили, что там остались Плеханов и Ленин. Другие — что, кроме Плеханова, никого нет, а Ленин

совсем не у дел. И все сходились на том: нельзя выкинуть за борт Веру Засулич, Павла Аксельрода и Александра Потресова. И каждому хотелось дознаться, почему отказался быть в редакции Мартов.

На первом же большом собрании Макар категорически заявил, что он стоит на позиции Ленина.

— Я и слышать не хочу о той партии, про которую говорил мне Мартов в последнюю встречу. Это «беспартийная партия». Ее будут тащить в болото прекраснодушные обыватели, готовые болтать о чем угодно, но непригодные к делу. Да разве может быть такая аморфная партия костяком, авангардом рабочего класса?

На этой же первой дискуссии Макар получил афронт. А немного спустя меньшевики захватили руководство в Ростове и устроили Макару такую обструкцию, чтс ему пришлось срочно уезжать из города.

Еще в Екатеринославе он получил сообщение, что Ленин рекомендует ему, кроме Ростова, Николаев или Москву.

Ногин отправился в Москву. Он хотел встретиться с Бауманом: до него дошли слухи, что Николай Эрнестович активно выступал на съезде в поддержку Ленина.

Но Бауман еще не возвратился. И Владимир Обух, замещавший его в Московском комитете, находился на казенных харчах в Бутырках.

Кое-что делали студенты-пропагандисты. Появилась в Москве и Любовь Радченко, но она, к удивлению Виктора, несла на собраниях всякий меньшевистский вздор.

Бить старого товарища, да еще публично, Виктору не приходилось. Но против Радченко он ополчился со всей силой. И правда была за ним: у него еще сохранились крепкие связи с рабочими Рогожского района, которые безоговорочно поддержали Ленина. Ногин стал во главе Московского комитета РСДРП и помог ему заявить о своих симпатиях к большевикам.

«Достаточно нам было зашевелиться, как очень скоро мы стали получать со всех концов Москвы из-

вещения о необходимости принять в лоно Московского комитета ту или иную группу организованных рабочих, — вспоминал позднее Виктор Павлович. — Но встреча на одном из собраний с А. С. Серебряковой, оказавшейся потом провокатором, привела к усиленной слежке за мной; она велась достаточно грубо, я ее заметил и уехал из Москвы, передав работу товарищу Бауману, который к тому моменту вернулся из-за границы».

Встреча с Бауманом произошла под Москвой. Ни Виктор, ни Николай даже не подозревали, что видятся в последний раз: через два года Бауман был убит черносотенцем.

Николай был взволнован в тот вечер: Ленину тяжко, он мучительно переживает разброд в партии, вернее — раскол. Он вышел из редакции «Искры», где задают тон Плеханов и Мартов. Да еще новоявленный Троцкий — человек весьма крикливой фразы.

— Вы только вдумайтесь, Виктор Павлович, «Искра» перестала быть нашей! Такое не вдруг уложишь в голову! Ленин теперь пытается укрепить свои позиции в ЦК, куда его кооптировали на днях, и с этой позиции намерен бить по оппортунистам. Кстати, вот открытое письмо Ильича «Почему я вышел из редакции «Искры», вам это надо знать. И сейчас он требует созыва Третьего съезда. Но боюсь, что съедят его в ЦК: один не больно повоюешь против такой рати. Но Ленин не сдастся. Как видно, ни о каком блоке с меньшевиками говорить не приходится. У нас теперь своя партия, для нее и надо работать. Работать, черт возьми, да так, чтоб подпереть Ленина плечом в каждом крупном городе России... Вы куда теперь? — вдруг спросил Бауман.

— В Николаев. Так передавала мне Нина Львовна Зверь.

— Ильич тоже говорил об этом. Ну, до скорой встречи, Виктор. Хорошее у вас имя, оно означает победу. К победе и придем, нужно только верить в нее и — воевать, воевать!

Макар уехал в Николаев. По дороге он вспоминал об этой встрече с Бауманом. Трижды пересека-

лись их пути — и в Москве и в Женеве. Где снова встретится этот голубоглазый русый Николай, наделенный удивительной энергией борца? И как хорошо бы поработать с ним рука об руку!

Виктор не любил начинать и ставить новое дело один, без друзей. В чужом городе это напоминало поиски человека впотьмах. И понапрасну растрачивалось дорогое время, а его всегда не хватало — ведь редко держались нелегалы на воле больше трех месяцев. Да и не с кем было перекинуться теплым словом, пока шли поиски нужных людей. И до крайности напрягло нервы вечное опасение провала.

Но в Николаеве нашелся надежный товарищ, знакомый по Женеве, Виктор Алексеевич Радус-Зенькович.

Радус жил по паспорту Петра Никитича Федякина. Сам Ногин для друзей по партии значился Макаром. А в околотке прописался как Николай Петрович Соколов. Вид на жительство не вызвал подозрений, первый шаг оказался удачным.

В городе рьяно действовал меньшевик Бовшеверов со своей группой. Но рабочие порта и крупных заводов не поддавались агитации «эластичных» политиков, которые широко распахнули двери партии перед всеми сочувствующими. Металлистам и портовикам была гораздо ближе суровая правда Макара и его друга. А они отбирали в партию только тех передовых рабочих, которые могли поддерживать в ней строжайшую дисциплину.

На заводах появились подпольные кружки. И скоро в них сложилось крепкое ядро, способное развивать традиции екатеринославских «летаторов». Павел Сафронов, Иван Чигрин, Митрофан Федосеев и братья Макаровы — Игнат и Сергей — стали надежной опорой комитета, где Макар и Федякин задавали тон. И комитет распространил свое влияние не только в Николаеве, но и в Кривом Роге и в Севастополе.

Худже было с интеллигенцией. Присяжные поверенные, чиновники, врачи, педагоги переживали разброд и не могли взять в толк, из-за чего «шумят витии». О событиях в партии они судили весьма поверхност-

но, доверчиво относились к меньшевистской болтовне о диктаторских замашках Ленина и при каждом случае заводили бесконечные философские споры.

Пожалуй, впервые Макар ощутил, что партийному работнику надо хорошо знать философию и остро реагировать на все явления в литературе. Раньше он читал философские книги, но к ним не приходилось прибегать в рабочих кружках. А самому казались достаточными выводы из «Капитала» и других книг Маркса. Теперь практическая работа требовала крепкой философской закалки.

И в ранней юности и в тюремных «университетах» Макар с большим желанием читал беллетристику. Она доставляла ему эстетическое наслаждение, увеличивала запас слов и несла какие-то элементы познавательного. Теперь литература стала оружием. И это оружие могло быть обращено в интересах партии и — против них.

Неустойчивая молодежь прикрывалась именем Чехова. Но видела в этом писателе лишь идеолога бессильного интеллигента. Да и Леонид Андреев сильно стращал ее своей «бездной». Более смелые поднимали на щит Горького. Но и у него находили лишь идеализацию босяка и романтику буревестника.

На два лагеря раскололись и местные философы. Одни превозносили до небес пресловутый сборник «Проблемы идеализма», где Булгаков, Бердяев, Трубецкой и другие ополчались против марксизма. Другие пускали в ход сборник Богданова, Луначарского и Фриче «Очерки реалистического мировоззрения».

Но истинная правда была у Энгельса, в его книге «Анти-Дюринг». Эту книгу и начал штудировать Макар. А в свободные часы перечитывал Чехова, Горького, Андреева. И его выступления в частных собраниях интеллигенции производили сильное впечатление. Он призывал мыслить без боженьки, исходить во всем из практики революционной борьбы, которая неизбежно приведет к победе рабочего класса и к коренному переустройству мира после свержения самодержавия.

Но в самый разгар работы пришла беда. Неждан-

ная, негаданная: совсем случайно провалилась типография.

Была она поставлена смело, дерзко — прямо за стеной у околоточного. Конспираторы слыхали по вечерам, как приходил домой полицейский чин, обычно навеселе, звенел шпорами, вешал на гвоздь шапку и долго, нудно ругался с женой.

Охранка неделей раньше напала на след Макара и Федякина, но не хотела брать их без типографии. А оба Виктора туда не заходили и держали связь с наборщиками в строгом секрете.

В типографии работали и проживали трое. Старшие, Миша и Фира, значились мужем и женой, младший, Леня, — братом Фиры. Миша был портным, но всем говорил, что он безработный приказчик, Леню выдавали за экстерна, который готовился к экзаменам. Жили трое на средства комитета.

Однажды Миша получил деньги в золотых десятках. Фира не раз расплачивалась золотом в лавочке, где обычно покупала продукты.

Лавочник поговорил с надзирателем: мол, откуда такие деньги, не фальшивые ли они? Тот решил нагрянуть к подозрительным господам как снег на голову. И накрыл типографию.

В городе это произвело сенсацию. Раскрыта под самым носом у околоточного типография большевиков! На обыск явились прокурор, начальник жандармского управления и градоначальник адмирал Энквист. Шарили в типографии ровно сутки.

Утром 8 марта 1904 года наборщиков отвезли в тюрьму. Охранка, полиция и жандармы кинулись прочесывать город. К вечеру бросили в тюрьму человек тридцать. С первой партией арестованных прибыли Соколов и Федякин.

Виктору Ногину на этот раз могла грозить каторга: на нем «висели» два побега и переходы через границу. Он держал с Радусом тайный совет в камере, и оба они пришли к выводу — тюремщикам своего имени не открывать...

Российской охранке подвалило работы.

В Новгородской мещанской управе проверили

паспорт на имя мещанина Николая Петрова Соколова, он оказался подложным. Но Макар не назвался Ногиным.

Подполковник Ратко, сменивший в московской охранке Зубатова, доносил шефу полиции, что он давно перлюстрирует письма Соколова из тюрьмы и скоро раскроет его настоящее имя.

Письма эти шли к Варваре Ивановне и брату Павлу. И всегда за подписью «твой Коля». Но не мог писать такие письма рядовой эсдек. Он решительно осуждал войну с японцами и рассказывал, как сотни призывников убегают от набора за границу; он обвинял мартовцев в расколе партии и просил прислать известия: что слышно о новом съезде и что происходит в Женеве?

Пока охранка изучала эти письма, Виктор Ногин старался вести свою обычную работу, на этот раз в тюрьме.

Он дал товарищам формулу ответа при допросах: «Я член РСДРП. От дачи показаний отказываюсь до назначения над собой суда гласного, с участием свободно избранных рабочими заседателей. На таком суде надеюсь доказать не только необоснованность предъявляемых мне обвинений, но и виновность моих обвинителей».

Это произвело на жандармов и на прокурора весьма сильное впечатление. «Формула» казалась им дерзкой, наивной и фантастичной. Но на время их обескуражила. А резонанс от таких показаний покатился не только по Николаеву — в листовках, но и в заграничных нелегальных изданиях.

Этот самый Леня Краснобродский — брат Фиры, экстерн и наборщик — оставил свои воспоминания о днях, проведенных с Ногиным в тюрьме. Его подкупил прекрасный характер и неиссякаемый запас энергии в Макаре: «Он вливал жизнь, давал содержание нашему маленькому мирку — в двух камерах. Высокий, красивый, стройный, он счастливо умел располагать к себе людей, подчинять своей воле — без труда, одной обаятельностью».

Макар подчинил себе даже начальника тюрьмы,

добродушного и бесхарактерного старика, которому хотелось казаться грозным начальником. Заключенные получили возможность держать двери в камерах открытыми до поверки, ходить друг к другу и пользоваться другими льготами.

Все отмечали в Макаре общительность и отзывчивость. От долгого сидения люди стали раздражительны и заводили споры и ссоры по каждому ничтожному поводу. Он снисходительно относился к «причудам» и сглаживал недоразумения.

В тюрьме даже работал кружок. И Макару приходилось давать ответы на самые разнообразные вопросы: и по эстетике, и космографии, по древней истории, и даже по проблемам пола. Сам он учился ежедневно: физика, математика, французский и английский языки.

Таким он остался в памяти товарищей по Николаевской тюрьме: кипучая энергия и ледяное спокойствие; трогательная нежность к товарищам и ненависть к царским слугам; отзывчивость и порывистость; и железная выдержка.

В один из дней все эти качества раскрылись, как в капле воды. Кто-то увидел в борще червяка. Борщ вылили в плевательницу, вызвали прокурора. Макар с ним объяснился. Прокурор горячился и все доказывал, что был на кухне сам, осматривал пищу и нашел ее приличной.

Все ждали, что скажет Макар. В наступившей тишине отчетливо прозвучал его голос:

— Вы осматривали борщ — это хорошо. Так будьте любезны его попробовать, — и указал рукой на плевательницу.

Прокурор побагровел. Макар сказал, как отрезал:

— Повторится такое безобразие — объявим голодовку!

В тюрьме Макар распропагандировал многих надзирателей. Они оказывали услуги арестованным: передавали «на волю» письма, приносили литературу.

Казалось, все складывается так, что можно помочь Макару и Федякину устроить побег. Кое-что сделали: остригли Макара под гребенку, на голове выбрили

лысинку, сняли бороду, усы перекрасили в огненный цвет. Уже достали пилку, чтобы разрезать решетку на окне, но кто-то выдал или проболтался.

Федякина увезли в Воронеж, Макара — в Ломжу.

7 июня 1904 года заключенные высадились на станции Малкин. Построились и прекрасным столетним сосновым бором тронулись к Ломже. Город — вдали от железной дороги, рядом граница, стражников и жандармов — хоть пруд пруди. И оттого, что в бору было красиво и тихо, на сердце щемило еще сильней.

Ногин продолжал обструкцию и в Ломжинской тюрьме. Он отказался подчиниться требованию снять карточки и описать протокол его примет.

На старых фотографиях, которые были в тюрьме, узнать его не смогли. Он прибыл из Николаева в такой необычной «форме» и, как доносили тюремщики, «выглядел лет на тридцать пять, хотя ему едва минуло двадцать шесть».

Тюрьма была похожа на питерские «Кресты». Сидел он в одиночке, какая-то болезнь желудка подтачивала его силы, да и одолевала скука: не приходили сюда письма из Москвы. Он не знал еще, что брата Павла угнали в Чердынь, за Пермь. А Варвара Ивановна на время выехала в Богородск — совсем ее доняли шпики, осведомители и старший дворник, словно она сама, а не ее сыновья интересовали полицию.

Скоро появился в тюрьме подслеповатый, заросший Сергей Цедербаум. Он увидел Ногина на прогулке. Подбежал, обнял. И насмешил:

— Чудеса, Виктор Павлович! Едем мы сюда, где-то на остановке между Белостоком и Ломжей вбегает в вагон унтер и кричит: «Поздравляю, господа! Плеве убит!» Ну, прямо как в оперетте! Постарались эсеры, выполнил акт Сазонов. Второго министра за два года прикончили.

Ногин, Цедербаум и Бовшеверов постепенно расшатали режим в тюрьме. Они писали протесты, грозились голодовкой и произносили такие крамольные речи перед стражей, что администрация пошла на

уступки. Сидели они порознь, но гуляли часа по четыре в сутки. И как только встречались во дворе, заводили словесную драку. Бовшеверов обвинял Ленина во всех смертных грехах, Ногин накидывался на Мартова, Аксельрода, Дана и Троцкого. За Бовшеверова вступался Цедербаум — сначала робко, затем активнее и резче. Кончилось тем, что в одно зимнее утро Виктор Ногин не подал руки Сергею Цедербауму. Это был разрыв — окончательный, на всю жизнь, потому что Цедербаум стал типичным меньшевиком.

Много лет спустя Сергей Цедербаум писал: «Встреча с Ногиным, моим старым товарищем и другом, доставила мне большую радость, но вскоре она оказалась омраченной острыми разногласиями между нами. Он был уже вполне сложившимся большевиком, прямолинейным и последовательным».

11 декабря московская охранка точно знала, что Соколов — это важный государственный преступник Виктор Павлович Ногин. На другой день в камеру пришел начальник Ломжинского губернского жандармского управления полковник Ваулин в сопровождении прокурора окружного суда.

— Господин Ногин, прошу вас в контору на допрос, — сказал Ваулин.

Виктор понял, что скрывать свое имя уже нет смысла.

— Я готов, господин полковник, — и взял шляпу.

— Почему же так долго не открывались?

— Я не назывался Соколовым. Так вы звали меня по паспорту. А я действительно Ногин. Окликнули как положено, я и отозвался.

Жизнь научила Виктора соблюдать строгую конспирацию и не держать при себе документов, которые могли бы служить явной уликой при очередном аресте. В Николаеве ничего не нашли у него. В тюрьме придирчиво осмотрели тетрадь. Но в ней содержалось лишь изложение книги об английском судопроизводстве, перевод с французского трех глав повести Франсуа Шатобриана «Атала» и первые уроки по стенографии. На допросах он все отрицал, в слу-

чае суда хотел вызвать какого-либо выдающегося адвоката, к примеру Карабчевского, товарищи по Николаеву и Ломже его не выдали.

Через семнадцать месяцев после ареста ни прокурор, ни охранка не смогли состряпать против него громкого процесса. Да они и боялись его: «Россия Николая II день за днем теряла престиж в грязной войне с японцами, дело шло к позорному мирному договору в Портсмуте, страну лихорадили массовые революционные выступления рабочих после расстрела мирной демонстрации в Санкт-Петербурге 9 января 1905 года.

Власти ограничились тем, что инкриминировали Ногину побег из енисейской ссылки и в последних числах июля отправили его под гласный надзор полиции в село Кузомень на Кольском полуострове, в устье реки Варзуги. В Кузомени он увидал Игната Бугрова из-под Богородска. Игнат уже обжился здесь, дружил с рыбаками и иногда выходил с ними на промысел.

Виктор Павлович в одну неделю сумел убедить рыбаков, как важно перебросить его из Кузомени на Большую землю, где его ждут неотложные партийные дела.

Ночью 9 августа 1905 года беглеца спрятали под брезентом в рыбачьем баркасе. А на рассвете он уже видел край кольской земли, где жили смелые люди, готовые помочь большевику.

Две недели скитаний по России и Европе, и Ногин снова встретился в Женеве с Владимиром Ильичем Лениным.

— А я совсем недавно справлялся о вас, — сказал Ленин. — Узнавал у товарищей, куда сейчас движется наш Макар: «туда» или «обратно».

ПОБЕДНЫЙ ШАГ РЕВОЛЮЦИИ

— Революция началась! Владимир Ильич и его женевские товарищи жили только этим лозунгом.

— От всеобщей политической стачки — к вооруженному восстанию против самодержавия! — говорили на всех митингах женевские ораторы большевиков.

— Цель восстания — создание временного революционного правительства! — шли призывы со страниц большевистской газеты «Пролетарий».

— Это правительство должно явиться органом революционно-демократической диктатуры пролетариата и крестьянства! — заявлял Ленин.

Именно так решил III съезд РСДРП, на котором победили большевики. И все пропагандистские силы ленинцев были брошены на то, чтобы каждый передовой рабочий мог руководствоваться этими постановлениями в дни решающей схватки с царизмом.

Все лето приходили из России обнадеживающие известия. В июне восстали матросы на броненосце «Князь Потемкин-Таврический» и привели свой мятежный корабль в Одессу, охваченную всеобщей стачкой. Следом восстали рабочие Лодзи и трое суток ожесточенно сражались на баррикадах.

Семьдесят два дня бастовали текстильщики Ива-

ново-Вознесенска, и руководил ими Совет уполномоченных — первый Совет рабочих депутатов России.

Массами выступали крестьяне, и уже шли донесения, что они захватывают землю у помещиков.

Столичная верхушка уже не могла опираться только на штыки. Она решила пойти на незначительные уступки либеральной буржуазии. И вскоре появился манифест царя о Государственной думе, сочинённый министром внутренних дел Булыгиным.

И с Дальнего Востока грянул гром: царь проиграл позорную войну. Японские империалисты отторгли у Николая II половину Сахалина и Квантунский полуостров с Порт-Артуром...

Оторванный надолго от всех дел партии, Виктор Ногин был оглушен лозунгами революции и теперь старался впитать все, чем жили его друзья.

Давно закончилась та мрачная полоса, которая безмерно угнетала Ленина.

— Посмотрели бы вы на него прошлым летом, — рассказывал Ногину Пантелеймон Лепешинский. — Все цитадели у меньшевиков. Ильича еще не устранили окончательно из ЦК, но отдали под надзор цекисту Носкову. А тот переметнулся к меньшевикам. По части литераторов и ораторов мы были бедны, как испанский гидальго по части золотых монет. А у Мартова — и партийные центры и большая литературная братия во главе с «тамбовским дворянином» Плехановым. И полно всяких молодых людей, которые тысячами сбегались на крикливые сборища меньшевиков. А наш вождь замкнулся в своем женевском предместье, ушел в себя, не хочет выступать публично. Я уж сказал ему: «Ну как же так, Ильич, многие даже забудут, есть ли у вас голос!» — «Но тих был наш бивак открытый».

К осени дело изменилось. Вокруг Владимира Ильича образовалось крепкое ядро. И эта «женевская группа большевиков» так расставила силы, что с открытым забралом ринулась в бой против фирмы оппортунистов «Мартов и К°» и завоевала в России все крупные комитеты.

Анатолий Луначарский целиком оправдывал свою

кличку «Воинов». Он воевал как ленинский маршал и на страницах печати и с трибуны. И никогда еще не было среди помощников Ильича такого блистательного оратора. Вацлав Воровский (он же Шварц и Орловский) писал статьи и фельетоны как одержимый — и с боевой страстью и с великолепным сарказмом. Михаил Александров (Ольминский, Галёрка тож) издевался над меньшевиками в острых памфлетах, выхватывая из их же арсенала убийственные характеристики и реплики. Мартын Мандельштам (Лядов), Фридрих Ленгник (Курц) и Петр Красиков (Павлович) исполняли роли партийных организаторов в Женеве и по всей Европе. Розалия Залкинд (Землячка) и Яков Драбкин (Сергей Гусев) были правой рукой Н. К. Крупской по связи с Россией.

Пантелеймон Лепешинский (Олин) состоял секретарем Совета партии, пока Ленин держался там. А теперь ведал хозяйственными делами партии. Вместе с женой — О. Б. Протопоповой — он держал столовую и гардероб, где голодающая и плохо одетая эмигрантская братия могла получать питание и кое-какую одежонку.

Столовая была и клубом: там занимались кружки и шли оживленные дискуссии в тесном кругу единомышленников. По вечерам иногда собирались и без всякой видимой цели — посидеть с приятелями, выпить чаю, сыграть в шахматы. А появлялся Сергей Гусев, его заставляли петь, и все подпевали ему кто как мог.

И вдруг Лепешинский блеснул серией карикатур, которые привели в бешенство Плеханова и всех прочих меньшевиков. Широкую известность в эмигрантских кругах получили карикатуры «Как мыши кота хоронили» и «Полицейский участок». Первая возникла потому, что Мартов разразился статьей «Вперед или назад?». Направлена она была против книги Владимира Ильича «Шаг вперед, два шага назад». И докатился в ней Мартов до того, что обозвал Ленина политическим мертвецом. А вторая — раскрывала нравы в редакции новой «Искры», где Плеханов заявил тоном урядника:

— Кто хочет у нас печататься, непременно должен раскрыть свой псевдоним или партийную кличку!..

Была в ленинской женевской группе и еще одна семейная пара — старые друзья Ногина Владимир Бонч-Бруевич и его жена Вера Величкина. Бончи организовали партийную библиотеку, хранили архив и управляли экспедицией литературных изданий.

Ленин оставался идейным оружием главного калибра, дирижером всего женевского ансамбля, учителем и вождем.

Когда приехал Ногин, товарищи накинулись на него с расспросами. И ему было о чем рассказать: вместе с Иннокентием Дубровинским, Иваном Бабушкиным и Николаем Бауманом признавался он в начале века одним из самых выдающихся практиков и организаторов партии. Никакой другой жизни, кроме жизни в партии и для партии, у него не было. И о нем нельзя было сказать, что он примкнул к рабочему движению. По велению сердца он встал в шеренгу передовых борцов своего класса и повел их за собой.

Говорить о своих подвигах он не любил и отвечал на вопросы скупо. И больше спрашивал сам: ведь так много было упущено за время отсидки в Николаеве и в Ломже! Да и нужно было перечитать то, что написали друзья в газетах «Вперед» и «Пролетарий», и познакомиться с решениями III съезда. И Владимир Ильич дал ему рукопись своей книги «Две тактики социал-демократии в демократической революции».

Он по праву мог бы воспользоваться кратковременным отдыхом и пожить хоть неделю в глухой деревушке: последние две тюрьмы подорвали его здоровье. Но он отказался. И уже с первых дней пребывания в Женеве слышали товарищи его спокойный голос и в кружках и на митингах. Он помогал партийным организаторам и Надежде Константиновне Крупской и держал корректуру статей в газете «Пролетарий», которая стала центральным органом большевиков после III съезда РСДРП в Лондоне.

Меньшевики начали охотиться за ним. Они хотели перетянуть его в свой лагерь, и Мартов писал в эти дни к Аксельроду: «Быть может, к вам заедет Ногин — большевик... Вы постарайтесь на него повлиять. Он хороший работник». Но Виктор Павлович — а в Женеве он значился Хлебниковым — не искал встреч с отцами русского оппортунизма.

Жизнь среди друзей была полна событий. Он жадно учился, потому что не хотел отставать от лучших интеллигентов партии. Да и в личном плане нашлись, наконец, интересы, которые наполнили эту жизнь сподвижника новым содержанием.

То в большевистском «вертепе» на набережной реки Арвы, где проживали «колонисты», то в столовой у Лепешинских, то в кружке, где вел занятия Виктор, стала попадаться ему на глаза молоденькая курсистка из Саратова Ольга Ермакова.

Она приехала в Женеву учиться, и Лепешинские оказывали ей покровительство. Но кто мог усидеть в швейцарской дыре, когда в России, говоря словами Маркса, «кипел костер чародейки-истории»? И Виктор услыхал, как она сказала подруге:

— Не могу тут, надо собираться домой!

И почему-то эти слова огорчили Хлебникова. Возможно, он успел разглядеть в этой курсистке человека интересного, ищущего, с доброй душой. Но признаться себе боялся, что дело не только в этом. И она не скрывала, что по душе ей этот добродушный богатырь в пенсне, недавно бежавший из ссылки.

Он иногда желал открыться ей, хотел сказать, что в суматошной его жизни был случай однажды, когда он мог полюбить женщину и она ответила бы ему взаимностью. Однако тюрьма и ссылка помешали даже их серьезному разговору о семье. И он все еще один, и сердце его свободно. Но постеснялся: мимолетным было это знакомство с девушкой из Саратова, а он ничего не делал в жизни с кондачка, без обстоятельных и долгих раздумий.

И однажды Оленька Ермакова не появилась. Она уехала домой, но записала адрес Бончей, по которому можно было отыскать Виктора Хлебникова...

В Женеву приходили вести одна лучше другой. Революция в России шла вперед, шире, глубже, к самой крайней точке.

19 сентября забастовали в Москве типографские рабочие, стачка скоро сделалась общегородской, политической. 24—25 сентября на улицах Москвы в кровавой схватке столкнулись рабочие с полицией. 6 октября смело выступили транспортники Московско-Казанской железной дороги. Они выставили требования: восьмичасовой рабочий день и немедленный созыв Учредительного собрания. Почти два миллиона наемных рабочих России подхватили этот призыв — металлисты, текстильщики, почтовики, приказчики, домашняя прислуга. На баррикадах дрались рабочие Харькова и Екатеринослава. Дрогнули войска. Царь укрылся в Петергофе и подумывал бежать на яхте за границу.

Петербургский генерал-губернатор палач Трепов кинул клич по войскам и полиции:

— Холостых залпов не давать и патронов не жалеть!

Но придворная камарилья уже не верила в одни патроны. Так появился на свет божий манифест Николая II от 17 октября о «даровании» политических свобод населению и о созыве Законодательной думы.

Меньшевики немедленно ринулись в столицу. Вскоре уехали с поручением Ленина Мартын Лядов, Розалия Землячка, Сергей Гусев. Стала собираться в дорогу и вся женевская группа большевиков. Но ее обескуражила чудовищная телеграмма из Москвы: черносотенцы убили Николая Баумана.

Ленин написал некролог о своем ученике и друге: «Вечная память борцу в рядах российского социал-демократического пролетариата! Вечная память революционеру, павшему в первые дни победоносной революции! Пусть послужат почести, оказанные восставшим народом его праху, залогом полной победы восстания и полного уничтожения проклятого царизма!»

А одновременно Ленин высказал мысль, что этот манифест 17 октября — ловушка и поведение прави-

тельства после манифеста — провокация. И чего стоят все эти обещанные свободы, пока власть и вооруженная сила остаются в руках правительства? И о какой «амнистии» может идти речь, когда выходящих из тюрьмы революционеров убивают на улице?..

Однако выбор был сделан: в конце октября Владимир Ильич уехал через Стокгольм в революционный Питер. Вслед за ним двинулась другая колонна большевиков вместе с Ногиным. Ликвидацию дел женевской группы поручили Елене Стасовой, недавно появившейся в Швейцарии.

Уже в Питере телеграф принес новое известие: двенадцать кораблей черноморской эскадры во главе с крейсером «Очаков» подняли знамя восстания в Севастополе. Весь мир облетело имя героя — лейтенанта Шмидта.

Не узнать было чопорную столицу России. Все сдвинулось с места, бурлило и пенилось. Митинговала буржуазия во всех крупных залах и формировала свои партии: появились «октябристы» и кадеты.

Толпы рабочих и студентов валили по Невскому. Магазины закрылись. Полиция не попадалась на глаза или робко жалась к воротам, к парадным. За Невской заставой, куда отправился Виктор, в рабочих кружках открыто спорили о большевиках и меньшевиках, а в трактире «Бережки» напропалую кричали анархисты и эсеры, и дело часто кончалось потасовкой.

Но филеры шныряли по-прежнему и отмечали каждый открыто сделанный большевиками шаг. Владимир Ильич поселился легально на Греческом проспекте, в доме № 15, но скоро заметил слежку и ушел в подполье. Встречаться с ним удавалось лишь на Невском, неподалеку от вокзала, когда он заходил в редакцию газеты «Новая жизнь».

На деньги Горького газету удалось купить у декадентов Минского, Бальмонта, Гиппиус и у представительницы литературной богемы Тэффи. С этой публикой и был оформлен договор: вся политическая

линия находится у большевиков, а все литературные «мелочи» — у декадентов, которых Ленин окрестил «шпаной».

И разнес же Владимир Ильич своих литературных помощников, когда впервые побывал в редакции! У входа встретил его шикарный швейцар, который отражался во всех зеркалах вестибюля. В богатых комнатах — с коврами и мягкой мебелью — восседали старые и молодые большевики из конторы и редакции.

— Как вам не стыдно сидеть в такой роскоши! И какой же рабочий корреспондент придет к вам в этот барский будуар? — Владимир Ильич не скрывал гнева. И только присутствие Горького заставило его отложить на другой день расправу со всей этой роскошью и со «шпаной».

Мария Федоровна Андреева — жена Горького — вспоминала, как начиналась «расправа». На квартире у издателя Пятницкого сидели за столом с дорогими яствами и серебряным самоваром «поэт Минский — ответственный редактор «Новой жизни» — и члены редакции — Петр Петрович Румянцев, Александр Александрович Богданов и Василий Алексеевич Строев. Покашливая и покуривая, то садился за стол, то вставал и большими легкими шагами ходил по комнате Алексей Максимович... И как-то бочком, будто на минуту, присел Владимир Ильич. Чуть-чуть улыбаясь уголком рта, он поглядывал то на Алексея Максимовича, всем своим видом так не подходившего к тяжелой и безвкусной роскоши большой темноватой комнаты, то на Минского, которого решено было под каким-нибудь благовидным предлогом убрать из «Новой жизни». В сущности, для этой последней цели и собрались все у Пятницкого.

Минский вел двойную игру. С одной стороны, он выполнял довольно неудобную роль — редактор для отсидки, — за что и получал солидный гонорар; с другой стороны, он исподтишка начал вести подкоп под «Новую жизнь» и ее линию.

Было интересно наблюдать, как по-разному действовала окружающая обстановка на присутствую-

щих. Минский чувствовал себя как рыба в воде, много ел, пил, и мне казалось, что в другой обстановке он был бы менее сговорчив. Румянцев и Богданов просто ничего не замечали и всю свою энергию направили на то, чтобы убедить Минского. Строев как будто себе и другим хотел доказать, что никакая обстановка его смутить не может. А Пятницкий был преисполнен гордым сознанием того, что он владелец и хозяин всего окружающего».

Минского уговорили. С декадентами ушел и пышный швейцар и весь внешний лоск. И рабочие перестали чураться вчерашних барских апартаментов, где создавалась газета большевиков.

Газета заявила о себе с блеском. К первому же номеру приложением была дана программа РСДРП. Восемнадцать тысяч экземпляров разошлись мгновенно. И уже к вечеру перекупщики требовали за номер три рубля.

Горький, Луначарский, Воровский, Ольминский, Богданов, Десницкий (Строев) с первых же дней определили боевое лицо газеты. А статьи Ленина стали откровением для тех, кто никогда не читал его книг и замечательных корреспонденций в «Искре».

Владимир Ильич печатал статьи в «Новой жизни» почти ежедневно: о задачах партии в революции, о Совете рабочих депутатов, об отношении к крестьянству, о партийной литературе, об анархистах, о религии. Он выступал на заседаниях ЦК и Петербургского комитета РСДРП, на массовых митингах и в исполкоме Совета.

Кипучая деятельность вождя заражала энергией всех его друзей, помощников, товарищей.

Но далеко не все шло так, как намечал Ленин. В Совете витийствовали меньшевики, выбить их оттуда не удалось. Этот орган политического сплочения масс шумно шел на холостом ходу. Он бы мог подготовить восстание и превратиться в зачаток новой революционной власти. А говорливые оппортунисты хотели превратить его в своеобразный «муниципалитет» при буржуазном правительстве.

В решительной схватке с царизмом приходилось

рассчитывать лишь на мужество и героизм собственной партии. И на те отряды стойких рабочих, которые способны были идти с большевиками до конца — до победоносного восстания.

Виктор Ногин — член Петербургского комитета РСДРП — стал во главе его военной организации. Собрать все силы вооруженных рабочих в один кулак, добыть и сохранить оружие для восстания — такая задача легла на его плечи.

Он создавал рабочие дружины для отпора черносотенцам. Лабазники, торговцы, кабатчики, дворники, провокаторы — все эти главные кадры «черной сотни» уже толпились на мостовых с хоругвями, с портретами Николая II и распевали «Боже, царя храни». Они хватали и избивали рабочих, охотились за студентами и грозились расправой со всеми инакомыслящими. Но там, где дружинники уже получили револьверы, «черная сотня» не появлялась.

Виктор Ногин распечатывал склады с оружием, где удавалось склонить охрану на сторону большевиков, и отправлял оружие на Невскую и Нарвскую заставы и в боевые дружины выборжцев. Он выступал в поддержку солдатских требований — освободить арестованных товарищей или предоставить отпуска тем, кто рвался в деревню, на родину, где крестьяне жгли помещичьи усадьбы и захватывали у барина землю и инвентарь.

В эти дни Ногин сблизился с Леонидом Борисовичем Красиным, который стоял во главе боевой технической группы ЦК и был, по словам Владимира Ильича, «ответственным техником, финансистом и транспортером» партии.

С Леонидом Красиным удалось решить три важных вопроса. Во-первых, наладить выпуск специальной газеты для солдат и матросов в столице. Такая газета — она называлась «Казарма» — вскоре стала выходить и просуществовала нелегально до 1907 года. Во-вторых, о самодельных бомбах. Группа Красина (Николай Буренин, Любовь Пескова и другие) начала выпускать такие бомбы для отпора «черной сотне», для баррикадных и уличных боев, для разру-

шения мостов и железнодорожных сооружений. Ногин посетовал, что нет хороших оболочек для бомб: их делали из труб и всяких коробок из жести — от консервов до ландрина. Красину удалось передать заводу «Парвиайнен» большой заказ на отливку чугунных муфт. Эти муфты и послужили оболочкой для бомб после небольшой обработки на токарных станках. Наконец у Леонида Борисовича нашлись и деньги на закупку вооружения. Да еще какие деньги — от фабрикантов Морозовых! Для питерской военной организации были использованы суммы, полученные от Саввы Тимофеевича Морозова, для московской — от мебельного фабриканта, внука Викула Морозова — Николая Павловича Шмита.

— Деньги с трагической окраской, если можно так выразиться, — сказал Красин. — Савва Тимофеевич вручил мне их на французском курорте Виши, а через день застрелился. Довели его родичи — отстранили от управления фабриками в Орехово-Зуеве, обвинили в симпатиях к Горькому, к революции. Жаль этого русского крепыша!.. А Николай Павлович субсидирует нашу газету «Новая жизнь» и помогает МК. Боюсь, что и ему придется пережить серьезные неприятности: история никому не дозволяет сидеть между двух стульев!

Ногин задумался. С Морозовыми у него были свои счеты.

— Только не смейтесь, Леонид Борисович, — сказал он. — А в этой пачке кредиток малая толика и моих денег: я ведь гнул спину на династию Морозовых. А мой брат Павел — он только вернулся из ссылки — и сейчас служит у сыновей Викула Морозова!

— Это же замечательно! Пусть хоть десяток бомб будет изготовлен на деньги, присвоенные Морозовыми у династии Ногиных!..

На окраинах столицы рабочие обучались стрельбе и уличным боям. Руководители дружин уже присматривали мешки, ящики и бочки, чтобы пустить их в дело на баррикадах. Виктор назначал караулы кав-

казцев для охраны «Новой жизни», Центрального и Петербургского комитетов РСДРП, для охраны Ленина.

День за днем ходил теперь Ногин по острию бритвы: любая оплошность грозила виселицей. Ленин предложил партийцам уйти в подполье: он сохранял кадры для грядущих боев. Перешел и Виктор на положение нелегала. Теперь он появлялся то под фамилией Рукина, то Самоварова, то Радоновского.

Энергия его не иссякала, но почва в Питере уходила из-под ног. 26 ноября был арестован председатель Совета рабочих депутатов Георгий Хрусталев (Носарь). Этот присяжный поверенный чудом держался полтора месяца на таком высоком посту — человек крикливый и невежественный. Дутая эта фигура никак не соответствовала той роли, которую довелось ему сыграть в столице. А легендарную популярность доставляла ему падкая на сенсацию буржуазная пресса. Широкому читателю преподносили его фигуру в искаженном свете. Он объявлялся человеком вне партий. Но это был секрет полишинеля: весь рабочий Питер прекрасно знал, что идейной дамой его сердца был Троцкий. (Кстати, Хрусталев-Носарь после ареста и приговора к пожизненной ссылке на поселение проявил «признаки раскаяния». В марте 1907 года он бежал, участвовал от меньшевиков на V съезде РСДРП. Затем занялся аферами: французский суд слушал его дело о краже часов и белья и приговорил условно к году тюрьмы. Во Франции он поливал грязью всю политическую эмиграцию, которая, по его словам, на 95 процентов состояла из евреев. В 1919 году он состоял во главе «Переяславской республики» и стал бандитом. Его расстреляли при ликвидации восстания григорьевцев на Украине.)

Председателем Совета избрали Льва Троцкого. Этот великий путаник, топивший в хлесткой фразе любое важное дело, решил показать когти и опубликовал «Финансовый манифест». Питерские рабочие и все граждане столицы призывались не платить на-

логи, не вносить иные казенные платежи и забирать золотом вклады из сберегательных касс.

Руководство Совета угодило в тюрьму, власти закрыли восемь газет, в том числе и «Новую жизнь».

Ногин вошел во второй состав Совета от столичной организации большевиков. Но Совет уже заканчивал свою роль в Питере. Он обслуживал теперь безработных, открывал для них столовые и пытался выступить посредником между трудом и капиталом. Но хозяева продолжали локаут. Они закрыли предприятия, когда Совет узаконил введенный рабочими восьмичасовой день, и не хотели слышать ни о каком посредничестве.

Центром революционной борьбы стала в те дни Москва. 7 декабря там началась всеобщая стачка, и большевики призвали рабочих к восстанию. Город покрылся баррикадами, нужно было посылать на помощь восставшим оружие. И Ногин две недели занимался транспортировкой опасного груза.

Но отгремели бои на Пресне. Ленин был занят подготовкой к объединительному съезду. На местах надо было добиваться победы во всех крупных комитетах России. И старого подпольщика Ногина — организатора и практика — партия отправила в Баку, где меньшевики свили крепкое гнездо.

Оформлял документы по поручению Центрального Комитета Иван Адамович Саммер (Любич).

— Знаю, Виктор Павлович, вы предпочитаете работать на новом месте с хорошим товарищем, — сказал Саммер. — Я разделяю вашу точку зрения и позаботился об этом. Думаю, вас устроит уже привычная комбинация: два Виктора.

— Радус?

— Он самый. Кажется, вы еще больше сдружились в здешней военной организации. И одобряете его кандидатуру?

— Да.

— Итак, вы — Макар, Радус — Егор Длинный. Такие имена мы и сообщаем в Баку. По приезде войдете в комитет. Ну, а где работать, на месте договоритесь с Алешей Джапаридзе.

Бесснежный кавказский февраль 1906 года.

Из вагона вышли два Виктора — Ногин и Радус-Зенькович. И в полукружье большой бухты открылся им город нефтяников на лазурном берегу Каспия.

В природе начиналась весна: с голубого высокого неба щедро разливало тепло яркое солнце; легкий бриз шевелил ветви деревьев: почки уже набухли, и первая зелень собиралась пробудиться от зимней спячки.

И не кончилась еще «весна политических свобод»: на каждом перекрестке экспансивные южане покупали газеты любых направлений и шумно обсуждали последние новости с севера.

На широких просторах России многим казалось, что все безвозвратно погибло в обеих столицах: Декабрьское вооруженное восстание в Москве подавлено, Петербургский Совет рабочих депутатов разогнан, каратели не жалеют патронов, в тюрьмах и ссылках гибнут люди, чья жизнь была отдана революции. И старый, мудрый Плеханов сердито поучал тех, кто дрался на баррикадах: «Не надо было браться за оружие!»

Но Макар и Егор Длинный не дрогнули. Да и обстановка в Баку вселяла уверенность, что дело революции будет жить: рабочее движение не шло на убыль, конференции и собрания проходили легально. Власти держали оружие наготове, но в ход его не пускали: бурлила масса, а не «зачинщики», против которых реакция всегда знала одно испытанное средство — тюрьма и нагайка, Сибирь или виселица.

Встретил двух Викторов Прокофий Апрасионович Джапаридзе, которого друзья ласково называли Алешей. Похожий на цыгана — с пылающим огнем в агатовых глазах и с бородой, черной как уголь, — был он радушен, приветлив и не скрывал радости: в помощь ему прибыли два друга, способные проявить неиссякаемую энергию, преданные Ленину, наделенные геройской непреклонностью и апостольским даром служения революции.

И Алеша был им вровень: с умом ясным и с крепким большевистским сознанием.

Он сказал, что работать придется в трудных условиях. Среди нефтяников очень популярна весьма активная семейка Шендриковых: Лев, Илья, Глеб и балаболка Клавдия, прозванная «всечистой». Эта четверка образовала «Союз бакинских рабочих», от которого за версту несет полицейским социализмом. Охранник Зубатов подвизался в Москве, поп Гапон — в Санкт-Петербурге. Им унаследовали Шаевич в Одессе, Шендриковы — в Баку.

— До прошлого года златоуст Лев Шендриков «спасал» рабочих... от большевиков с наивной философией Барона из пьесы Горького «На дне»: «Господа, если к правде святой мир дорогу найти не сумеет, честь безумцу, который навеет человечеству сон золотой!» — говорил Алеша. — И «навевали» сны, уводили движение в ничто: выдвигали самые незначительные цеховые лозунги, требовали частичных уступок, восхваляли «примирительные камеры», где хозяева обманывали рабочих. А пока Лев и Клавдия шумели на митингах, Илья старался подкрепить свою политику делом. Затеял он получить субсидию от местных властей под свой «социализм». И, кажется, получил. Иначе на какие шиши построил бы он «образцовый» заводик, где должен царить мир между трудом и капиталом? Тем временем Глеб переметнулся от эсеров к меньшевикам, и те признали союз Шендриковых своей партийной организацией. И показали господа свое лицо: они сорвали лозунг о вооруженном восстании!

Закипела горячая кровь южанина — Алеша страстно обличал врагов:

— Ломать им хребет — вот что надо! У меня будут завтра документы: писал Илья Шендриков господину Джунковскому. Хитрый это человек, Джунковский, далеко пойдет! Он сейчас чиновник особых поручений при кавказском генерал-губернаторе, он и деньги давал: тридцать тысяч! Купил всю эту шайку! Провокаторы, продажные твари! Начинай, товарищ Макар, следствие! Под суд их, под суд! Пускай рабочие объявят им приговор.

Макар согласился, хотя впервые выпадала на его

долю такая роль. До сих пор обвиняли его то в Питере, то в Ломже и дотошно допрашивали следователи в жандармских мундирах. Теперь следствие надо было вести ему.

Радусу поручили постановку нелегальной и легальной газет большевиков в Баку.

Оба Виктора вошли в Бакинский комитет РСДРП, где Алеше Джапаридзе и Ивану Санжуру (он же Тихон и Мышкин) особенно досаждали два меньшевика из литераторов — Сеид Девдариани (Сандро) и Андрей Вышинский. Вокруг большевистской части комитета вскоре объединились такие агитаторы, как Мешади Азизбеков, Ной Гванцеладзе (Апостол) и Лидия Бархатова, и такие рабочие парни, как Ваня Фиолетов. И влияние большевиков в комитете заметно окрепло.

Примыкали к большевикам и «старики», которые не вели активной партийной работы, но составляли, так сказать, литературный центр и доставляли средства. Среди них был знакомый Ногину по полтавской ссылке Н. Флеров, И. Гуковский, Н. Соловьев и один из давних друзей Ленина еще по петербургскому «Союзу борьбы», В. В. Старков. Старков служил директором завода «Электрическая сила» и устроил у себя Ногина на должность конторщика. Это была маленькая и очень удобная синекура. Макар появлялся в конторе лишь в дни получки, все остальное его время проходило на промыслах и в городе.

Как член комитета, он был партийным организатором в Балаханах. И опорным пунктом служила ему библиотека «Электрической силы», где Лидия Бархатова, Смирнов-Саратовец, Миша Балаханский и Иван Фиолетов создали крепкое ядро большевиков.

«Следователь» Макар в сопровождении толмача день за днем навещал Белый город и ходил по промыслам, разматывая клубок, который накрутили демагоги Шендриковы. Баку был городом кричащих контрастов: средневековая строгость минаретов и башен, роскошь дворцовых сооружений династии Ширваншахов; броская безвкусица белых особняков нуворишей — королей нефти, и покосившиеся лачуги

мелких торговцев, замызганные чайханы, заезжие дворы, убогие меблированные комнаты и какие-то невообразимые коробки из самана и жести — жалкое пристанище разноязычного рабочего люда.

Коляски, кружева дам, яркие наряды офицеров из кавказских и казачьих частей. Рядом — шумные базары, где прямо на мостовой брили головы персам и тюркам, жарили шашлык и рыбу, распивали белое, розовое и красное вино из бурдюков и закусывали соленым сыром, формованным в небольших круглых корзинах. А за городской чертой — голые чумазые ребятишки на фоне черного леса нефтяных вышек и рабочие промыслов — в отрепьях и рубищах — на мокрой земле, словно насквозь пропитанной мазутом и нефтью.

По городским улицам и промыслам — в поисках свидетелей — Ногин передвигался свободно: Баку еще оставался крепостью революции. Поиски «следователя» увенчались успехом, и через месяц состоялся над Шендриковыми торжественный рабочий суд. Виктор Павлович Ногин весьма убедительно доказал, что эти господа действительно получили тридцать тысяч рублей будто бы на борьбу с безработицей. Но безработные не видали ни гроша. Деньги были вложены в тот завод, который превозносился до небес как новый тип трудовой артели, где мирно могут уживаться хозяева и рабочие и где нет места классовой борьбе.

В притихшем зале Виктор Ногин сформулировал обвинение: Шендриковы — внутренние и самые опасные враги пролетариата. На деньги охранки они насаждали в Баку полицейский социализм. Они предали классовые интересы рабочих, везде и всегда сеяли смуту и компрометировали стачечную борьбу. Они враги революционного действия, наймиты нефтепромышленников и царской власти.

Суд длился всю ночь. Страсти нарастали волнами — от оратора к оратору. Несколько раз разбирательство прекращалось, потому что приходилось разнимать драчунов, которые «голосовали» пощечиной или кулаком. Адвокат Шендриковых Сандро Девда-

риани в исступлении разломал на части свою трость — так он колотил ею по столу. Не однажды за ночь блеснул ораторским искусством Вышинский. Но ничего не помогло: за Ногиным стояли большевики и мусульманская рабочая партия «Гуммет» («Энергия»), недавно созданная Алешей Джапаридзе. Да и рядовые рабочие, шедшие за меньшевиками, не могли простить Шендриковым открытого предательства их классовых интересов.

Это был первый в истории РСДРП торжественный и публичный суд над демагогами и провокаторами.

Под утро Льва Шендрикова — главного идеолога бакинских зубатовцев — исключили из партии. Илья, Глеб и Клавдия отделались испугом, но и их политическая карьера в Баку бесславно закончилась.

Виктор Ногин создал кружки, вел занятия, но каждый день сталкивался с такими трудностями, о которых не было и слуху в Москве или в Питере. Открыто враждовали армяне и азербайджанцы, их рознь поддерживали дашнаки — армянские эсеры — и другие националисты. И сколько ни старался Макар объединить рабочих в кружке или на сходке, ничего не получалось. Собирать их удавалось только по племенному или религиозному признаку. И там, где мог существовать один кружок, их возникало два или три.

Настроение становилось особенно тревожным, когда национальная рознь, наветы или родовая месть приводили к убийству. В колодце нашли однажды труп армянина. Мастер-армянин стал гоняться с винтовкой по промыслу за тюрком, большевиком Мешади Азизбековым. Правда, Азизбекова успели укрыть в надежном месте. Но вся его «вина» состояла в том, что сумел собрать на сходку и армян, и тюрок, и персов, и русских и горячо призывал их сообща выступать против Нобеля.

Забастовки не прекращались. Однако носили они локальный характер: то у Ротшильда, то у Нобеля, Мирзоева, Шибаева или Мухтарова. Алеша Джапаридзе, Макар и Егор Длинный решили, что для все-

общей стачки надо использовать «мазутную конституцию» 1904 года, почти начисто забытую хозяевами.

Бакинцы называли так первый в России коллективный договор между рабочими и нефтепромышленниками. Он был итогом победной стачки в декабре 1904 года.

Макар написал острую прокламацию «А где же декабрьский договор?» «Где же 8-часовой рабочий день, господа Ротшильды, Нобели и Мирзоевы? — спрашивал он. — Почему не увеличена заработная плата? Когда же кончится вакханалия со штрафами? Увидим ли мы обещанные школы и клубы? Где отпуска с сохранением содержания? Где квартирные деньги?»

К этому времени закончился IV объединительный съезд РСДРП. Ряд решений на этом съезде носил меньшевистский характер. Бакинские меньшевики воспрянули духом. Они поддерживали прокламацию Макара, поскольку «мазутная конституция» не выдвигала политических требований. Большевики же не могли согласиться с тем, чтобы новая стачка шла под знаком лишь экономической борьбы. Они стали собирать сходки, чтобы придать движению четкую политическую окраску.

На первой большой сходке — в глубокой сухой балке возле потухшей сопки — Макар во время речи услыхал, как просвистели пули над его головой. Полиция, еще вчера смотревшая на все собрания и дискуссии спустя рукава, сегодня обстреляла издали многолюдное собрание балаханских рабочих. Люди разбежались, убитых и раненых не было. Но Макар правильно воспринял эти выстрелы: «весна политических свобод» заканчивалась и в Баку.

Так и случилось: через день-два пришло известие о разгоне I Государственной думы в Санкт-Петербурге. Забастовщики снова собрались, на этот раз в большом зале электрической станции у Нобеля. Макар был председателем собрания. Он сказал:

— Большевики уже давно разъяснили, что всякие конституционные иллюзии в отношении царской Думы — пустая игра в бирюльки. Мы с вами глав-

ная сила истории, дорогие товарищи! А историю надо делать так, как учит Ленин: долой Думу, долой царизм! Нам ли ждать милостей от Николая Кровавого? Выше знамя революции, в которой гегемоном надлежит выступить пролетариату!

И только произнес Макар эти слова, как из глубины зала протиснулся вперед какой-то тип в замызганной спецовке и прицелился в него из маузера. И лишь случайно не успел выстрелить: стоявший рядом рабочий сильным ударом сбил его с ног и отобрал пистолет.

Провокатора хотели тут же прикончить. Но Макар вступился за него: по всему было видно, что этот жалкий подонок исполнял чью-то злую волю.

Джапаридзе, опасаясь новой провокации, предложил большевикам покинуть зал. А Макару сказал:

— Хорошо жить, Виктор Павлович, не помня о смерти, забывая, что она может прийти. Но уж коль начинают грозить нам пулей, рисковать вами комитет не вправе: придется на время отсидеться в городе, благо у нас на очереди газета.

Радус собрал материалы для первого номера. И нелегальная типография, год назад поставленная Авелем Енукидзе, еще не была под угрозой. На квартире у Алеши Джапаридзе долго обсуждали, как назвать новый орган большевиков. Так родился «Бакинский рабочий».

В газете шла передовая Радуса «Дума и пролетариат». Выводы этой статьи были подкреплены боевыми заметками об октябрьской всеобщей стачке 1905 года и о героическом Декабрьском восстании в Москве. Интернациональная тема получила отражение в материале «Мусульманские рабочие пробуждаются». Широко была представлена хроника местной жизни. Газета взяла верный прицел на решающий штурм царизма, за гегемонию пролетариата в революции.

Но рабочие уже устали от стачечной борьбы. А меньшевики продолжали их запугивать: мол, всякая нелегальщина — пожива для карателей; всякая

всеобщая стачка — политическая стачка. А за это тюрьма или каторга.

Радус стал редактировать легальную газету «Призыв», Мешади Азизбеков — ее тюркское издание «Коч-Девет». Шесть номеров «Призыва», в котором писали Макар, Джапаридзе, Радус, Санжур и «старики» из литературного центра, сыграли значительную роль в пору создания первых профессиональных организаций. Номер седьмой не увидел света: его арестовали из-за заметки, обращенной к казакам, — не стрелять в своих братьев — рабочих.

Реакция пошла в наступление. В городе круглосуточно разъезжали патрули, на промыслах появились военные посты, полицейский надзор сделался жестче. Как и в Екатеринославе в 1903 году, на каждой сходке приходилось выделять дозорных, и они следили, не покажется ли на горизонте казачий объезд. Круг замыкался, надо было активно использовать последние легальные возможности.

Весной 1906 года вышел закон о союзах. Различные общества и профессиональные союзы получили право легального существования, если их устав регистрировался правительством.

Макар и Джапаридзе создали первый в Баку профсоюз на промыслах. Через него и шло теперь боевое сплочение рабочих. Разговоры на собраниях не ограничивались узкими цеховыми рамками, а касались и вопросов о социализме и о политическом положении России.

Только много времени уходило на споры с меньшевиками. Те возражали против единого профсоюза и ратовали за отдельные союзы по профессиям. А это привело бы к дроблению сил и обострению национальной розни. Вся масса мусульманских рабочих открыто выразила свои симпатии большевикам. И к осени 1906 года меньшевики понесли поражение: бакинские нефтяники шли под влиянием большевиков в едином профсоюзе нефтепромышленных рабочих.

Охранка приставила к Макару филера. Мерзкий этот шпик едва не наступал на пятки: даже в конто-

ре «Электрической силы» он вел наружное наблюдение за своим подопечным. Горячие парни, сопровождавшие Макара по промыслам, особенно Ваня Фиолетов и Миша Балаханский, предлагали разделаться с ним по всем законам родовой мести. Но Макар согласился лишь на «темную», которую и устроили филеру, окунув его в яму с мазутом. Но появился новый филер, пришлось задуматься об отъезде.

Макара удерживала лишь давняя мысль о нелегальной типографии в Балаханах. Он понимал, что с одной легальной газетой работать здесь теперь не удастся. И когда в пристройке к бане на промыслах у Нобеля типография была налажена, подошла пора расставаться с городом нефтяников на берегу Каспия.

Два большевика провели вместе последний вечер — Макар и Алеша.

Расставание с другом всегда омрачало Макара. Он и не скрывал этого. Алеша был достойным человеком — горячим, пламенным сердцем бакинских большевиков. И они тесно сошлись за эти полгода. И хладнокровный на вид, рассудительный Макар был очень нужен Алеше, потому что умел направить вовремя неистощимую энергию своего друга.

Да и Алеша, пожалуй, лучше Андропова оценил отличные качества Макара: и то, что прекрасный он товарищ и человек большой душевной чистоты; и то, что он умел соединить с мужеством и непреклонностью революционного борца удивительную мягкость души, необыкновенную деликатность и терпимость в личных отношениях с товарищами. Да и что говорить: дружба с ним — открытая, без всякой фальши и лицемерия — была действительно в радость.

— Партия бережет вас, Виктор Павлович, и я более не могу рисковать вами здесь, — грустно сказал Алеша. — Поднимаю этот бокал за дружбу, геноцвале, и сожалею, что расстаемся! Слов нет, как сожалею! Но Ильич уже переслал указание — живым и невредимым отправить вас в Москву. Подходит пора готовить комитеты к Пятому съезду. И не обманывает меня предчувствие — от Москвы вы поедете на этот съезд.

— И я покидаю Баку без радости, Прокофий Апрасионович, и не скрываю этого: тут была последняя весна нашей свободы, я наговорился на митингах едва ли не на всю жизнь. Теперь каратели начнут наверстывать упущенное, берегите себя! Уходите в подполье, прячьте Ваню Фиолетова — он уже примелькался в Балаханах. Эх, и жизнь наша: только полюбишь людей, город — и уже надо сниматься с якоря... А относительно съезда — это была бы большая радость: я ведь ни на одном не был. Может, на съезде и свидимся?

— Не думаю. От нас будет Степан Шаумян. Он сейчас за границей, и ему проще. А после съезда он приедет сюда. Скажу откровенно, что одному мне — без вас и без Радуса — просто не по силам. А Степану передайте привет. Он мой верный кунак и вам станет другом. Кстати, расскажите ему о наших делах в профсоюзе. Да и с меньшевиками надо как-то решать. В одной партии нам не жить. Сами вы убедились, что полгода мы воевали на два фронта: с царизмом и с этими «товарищами». Наградил же всевышний такими соратниками! Особенно противны те — истые, которые меньшевизм считают кораном, себя — правоверными, а нас — гяурами. Не пора ли кончать?..

Поезд мчался на север.

Позади остался Ростов-на-Дону, где меньшевики устроили Макару обструкцию три года назад. Впереди был Днепр, и в стороне от столбовой дороги — город Екатеринослав, где с меньшевиками не было ладу. И остров «Старуха», где завязалась драка с эсерами, потому что они осмелились задеть Ленина и Мартова.

Макар усмехнулся: не полез бы он теперь в драку ради Мартова Юлия Осиповича, от которого расплодились все эти «правоверные», как метко выразился Алеша Джапаридзе.

Колеса вагона загрохотали на первом мосту через Днепр; за холмистым островом Хортица — на втором. Макар не мог оторваться от величавой красоты Днепра в этот ясный и ласковый вечер бабьего ле-

та. Он глядел и думал, и промелькнула в его сознании картинка, навеянная любимой рекой.

Большевики шли по жизни в русле, как струился прозрачный и могучий Днепр, древний источник бытия и счастья. Отклонялись большевики влево, забирали вправо — так казалось с той голубой высоты, где парили птицы. Но всегда устремлялись к заветной цели, как стремился Днепр к Черному морю. Гремел гром, полыхали в небе молнии, на берегах неистовствовали ливни и шквальные ветры, бури ломали вековые дубы и осокори, ощущались громыхающие раскаты подземных катаклизмов. А Днепр работал на благо людей и каждый миг нес свои воды к морю. И вечное движение вперед лишь подчеркивало его неизбывную силу жизни.

Меньшевики же раскидались полой водой по берегам могучей реки. Всякая грязь, смытая с плодородной почвы, болталась на просторах этого водополья: щепки, навоз, солома, выворотни подмытых кустов и деревьев, муть, пена. И мелководье, спокон веков обжитое лягушками.

Глубина осталась только в старицах, где вода застойная, заросшая желтыми кувшинками, белыми лилиями и зеленой ряской. Там нашел себе пристанище Плеханов, где-то рядом с ним плещется Аксельрод. И Мартов, видимо, там же. Какая ирония судьбы: мертвая, бывшая река, мертвые, бывшие люди!

«Всякое сравнение далеко от точности, — подумал Макар. — А картинка-то верная, стоит лишь пораскинуть умом... И если не похоронить мертвых, смраду не оберешься!..»

КАК УДЕРЖАТЬ ВОЛНУ?

В третий раз приехал Виктор Ногин в Москву. И все нелегально. Украдкой повидал Варвару Ивановну и брата Павла. Ушел на явку и словно растворился в широком московском подполье. Но ближайшие товарищи отлично знали, с какой энергией развернулся Макар — новый член МК РСДРП и организатор в Рогожском районе.

Две важнейшие задачи были в поле его зрения — перестройка низовых партийных звеньев и изменение взгляда всей партии на профессиональное движение. Именно он предложил создать на каждом предприятии подпольные партийные ядра, которые вскоре стали называться ячейками. И никто до него с такой ясностью не говорил о партийном влиянии на профсоюзные организации рабочего класса.

Пять лет назад, когда Виктор приехал сюда как агент «Искры», таких мыслей и не возникало. Партия делала первые шаги. Ее представлял в Москве один Бауман, который в шутку говорил о себе, что он «и центр и периферия в этом огромном деревянном городе». После встречи с Ногиным Николай Эрнестович теснее завязал связи с рабочими и начал кампанию против Зубатова и тех его соратников вроде профессора Дена, Вормса и Озерова, которые в Исто-

рическом музее, на публичных лекциях, дурачили рабочих всякими бреднями о полицейском социализме.

Да и в 1903 году условия были не те. Правда, уже работал МК с хорошим штатом пропагандистов. И все же Ногину и Радченко пришлось начинать почти с азов — нести свежее слово на предприятия и оживлять приток новых рабочих организаций в Московский комитет.

А теперь в древней русской столице сложилась стройная и сильная организация партии. Она выросла в революционные дни 1905 года и закалилась на баррикадах. В ней почти восемь тысяч членов. И это не меньшевистские хлюпики и всякие сочувствующие, а действительно эсдеки, строго соблюдавшие первый параграф устава партии: все они работали в низовых группах, в районах и в МК.

Большевики пользовались влиянием почти повсеместно. Только на Пресне «правили» меньшевики и эсеры. И от Пресни был в МК один-единственный меньшевик Хундадзе: его называли «заложником Мартова» в городском партийном центре.

Город был разбит на восемь районов: Городской (или Центральный), Замоскворецкий (с Симоновским подрайоном), Рогожский (с Сыромятниками), Лефортовский, Сокольнический, Бутырский, Пресненский и Дорогомиловский. В каждом районе — организатор, а у него — помощник и технический секретарь. МК избирался на городской конференции. Его секретари были вожаками масс, технический аппарат хранил кассу, ведал типографией и держал квартиры для нелегалов.

Демократическое начало соблюдалось полностью. МК предлагал резолюции. Их обсуждали и на заводских и районных конференциях. Выборность, отчетность и строгое подчинение низовых организаций центру — так строилась работа. Но с Центральным Комитетом РСДРП отношения не налаживались. После IV съезда им завладели меньшевики. А Москва была крупнейшим форпостом Ленина и директив ЦК не признавала.

Как-то нагрянул в Москву меньшевик Лев Хинчук — представитель ЦК. Он потребовал передать ему все партийные связи в районах, на заводах и в казармах. Московский комитет и его секретарь Лев Карпов не подчинились и выдворили цекиста ни с чем.

Это было естественно: ведь партийную жизнь в Москве определяла большая группа ленинцев. Почти одновременно работали в ней: Иннокентий (Дубровинский), Макар (Ногин), Лядов (Мандельштам), Землячка (Залкинд), Михаил (Вилонов), Гусев (Драбкин), Виктор (Таратута), Карпов, Любимов, Радус-Зенькович, Ходоровский, Савков и Влас (Лихачев). Да и в литературном московском центре действовали крупные силы: Покровский, Фриче, Обух, Скворцов-Степанов, Мицкевич, Шлихтер, Канель и Цейтлин. А техникой ведал старый искровский экспедитор в Берлине и прекрасный мастер «подпольных дел» Осип Пятницкий. Соединенными усилиями большевики Москвы действовали под стать женевской группе, которая сплотилась вокруг Ленина в канун революции.

Выборы во II Государственную думу прошли под лозунгами большевиков, и рабочая курия собрала почти треть голосов по Москве. И на V съезд были избраны от московской организации шестнадцать большевиков: одиннадцать — от города, пять — от области. Меньшевики получили лишь три мандата. Прав был Алеша Джапаридзе: Макар, Иннокентий и Домов (Покровский) шли первыми по списку большевистских делегатов на съезд.

Мысль Макара о партийных ячейках была воплощена на всех заводах и фабриках. Это еще более укрепило организацию. Теперь Макар мог отдать свою энергию работе с профессиональными союзами.

Но то, что ему и Алеше Джапаридзе казалось таким ясным в Баку, было подернуто туманным флером в Москве. Профсоюзы возникали, как грибы после теплого дождя летом. А МК стоял в стороне. И когда надлежало послать в новый профсоюз человека, он

оказывался меньшевиком. Даже Лев Карпов в недоумении разводил руками:

— Увольте, Виктор Павлович! Что там делать большевикам и как ставить работу — понятия не имею. А меньшевики давно якшаются с профсоюзами, вот им и карты в руки!

Это был еще рецидив «ортодоксальных» взглядов Виргилия Шанцера и Станислава Вольского, которые смотрели на профсоюзы свысока и заявляли, что там могут работать только оппортунисты.

Шанцера и Вольского в Москве не было. Но в областном комитете их сторонниками оказались Лядов и Ломов. Виктор Ногин решил опереться на Дубровинского. Он давно ценил этого бесстрашного человека и — в мыслях — ставил его в партии сейчас же вслед за Владимиром Ильичем.

В Москве Дубровинский стал особенно популярен после областной конференции летом 1906 года. Ждали тогда Ленина, приехал Инок. И показал все лучшие свои качества: ясность мысли, удивительную способность ориентироваться на новом месте, умение точно выдвигать лозунги Ильича и пламенно отстаивать их. И всем импонировали личное мужество и партийная смелость этого скромного человека, совсем ординарного с виду, даже квелого — его разъедала чахотка, — невысокого, с лысинкой и рыжеватым пушком на лице.

Инок был всегда в центре крупных событий. Старый агент «Искры» и один из организаторов партии, он стоял под пулями 9 января 1905 года на Дворцовой площади. А на Митрофановском кладбище, на похоронах жертв Кровавого воскресенья, перед десятками тысяч рабочих, в присутствии войск и полиции он сказал:

— Все мы видели зверства самодержавного правительства. Кто же направлял ружья и пули в рабочую грудь? Царь, великие князья, министры, генералы, вся самодержавная сволочь. Они — убийцы! К оружию, товарищи! Долой самодержавие!

Его арестовали на квартире писателя Леонида Андреева, когда там решался вопрос о созыве

III съезда партии. Он был на похоронах Баумана и страстно призывал к мщению за это подлое убийство большевика — из подворотни, ломом по голове. Он поднимал матросов кронштадтского форта «Константин», возглавлял «Симоновскую республику» в дни декабрьских боев в Москве, дрался на баррикадах Пресни.

Макар и Иннокентий встретились для разговора у Соломенной сторожки, на полпути между Бутырским хутором и Петровско-Разумовским. Добирались туда на паровичке с вагонами трамвайного типа.

Был осенний московский день, но теплый, сухой и тихий. Два большевика словно прогуливались по дорожкам среди высоких дубов. Один иногда поправлял пенсне, другой откашливался в большой синий платок с серой каймой. Разговаривали негромко. Когда кто-либо из прохожих нарушал течение беседы, Иннокентий разгребал тростью пожелтевшую дубовую листву, а Макар поднимал с земли и пристально разглядывал желудь с побуревшей шляпкой. И со стороны казалось, что в осенней роще прогуливаются два ученых-ботаника из соседней Петровской академии.

Ногин говорил Дубровинскому:

— Есть такая оценка текущего момента, Иосиф Федорович, — революция кончилась, всякая попытка оживить ее бесполезна. Выхода два: либо отходить от партийной работы вовсе, либо ограничиться одной легальной деятельностью.

— Хундадзе — меньшевик, это его песня, — заметил Иннокентий. — Желание работать только в Думе и профсоюзах наглядно подтверждает его оппортунистическую сущность.

— Хорошо. Мы говорим: не время складывать оружие, бороться надо легально и в подполье. Подполье — это ячейки на предприятиях, связанные конспиративной нитью с районами, это тайные склады оружия и партизанские выступления, это запрещенные политические сходки. А как быть с профсоюзами?

— Откровенно скажу: не задумывался, хотя и слыхал о ваших делах в Баку. Мысль интересная: у рабочих осталось право созывать свои профсоюзные конференции. И почему бы нам не использовать эту возможность для агитации?

— Об этом и речь. Но у нас еще любят звонкую фразу: это оппортунизм! Организации беспартийные, почти все легальные. Они — вотчина меньшевиков. И вдруг на трибуне у них — большевик!

— Говорят, слыхал. Но в прошлом году мы так рассуждали и о Думе. А теперь пошли в нее. И Ленин признал, что с первой Думой был у нас непростительный промах, когда мы объявили ей бойкот. Но признание ошибки отнюдь не означает уступку оппортунизму.

— Так и я смотрю. Однако надо помочь товарищам похоронить навечно раздутый миф о нейтральности профсоюзов. Товарищи заблуждаются. Нейтральным к политике, к общественной жизни может быть вот этот плод дуба, похожий на орех, на пулю, — Виктор Павлович поднял с земли желудь и подкинул его на ладони. — Даже беспросветный обыватель беспощадно вовлечен в политику, хотя он об этом и не догадывается. Хорониться под камнем, в норе, когда все кипит кругом, — какая это определенная, но жалкая политика!.. Я много думал о таких вещах, Иосиф Федорович, и пришел к выводу, что всякая подобная нейтральность — просто нонсенс. Разумеется, профсоюзы могут быть нейтральны к определенной политической партии, ну, скажем, к эсдекам или к их фракциям. Допускаю такое. Но и тут надо разобраться: а по какой причине, отчего? Суть же дела представляется мне так: профсоюзы — часть рабочего класса. И уж коль мы боремся за освобождение *всего* класса, нас обязаны поддерживать организации, представляющие лишь одну его часть!

— Логично, Виктор Павлович! Я очень рад, что мы завели эту беседу. Просчитаться сейчас с профсоюзами — ошибка большая. Просто не приходило

в голову, какую силу мы сдали на откуп меньшевикам. А что делать?

— Я ухожу на работу в профсоюзы. Радус заменит меня в Рогожском районе. Но мне далеко не ясна позиция Владимира Ильича.

— Начинайте, начинайте. Пойдет дело, Ильич согласится с вами. Я поговорю с Покровским: он как-то касался этой темы и поддержит вас наверняка. А если будет нужда, поедем к Ильичу: до съезда все равно надо повидаться с ним...

Через два-три дня Московский комитет РСДРП утвердил Ногина полпредом большевиков в профсоюзах, выделил ему толковых помощников. Через месяц-другой союз за союзом стали переходить в руки большевиков. «Мы оказались более правильными выразителями тех настроений, которые были у широких масс, и наши выступления на открытых больших собраниях стали пользоваться бо́льшим успехом, чем выступления меньшевиков», — вспоминал Ногин много лет спустя.

А когда МК добился решающего влияния в беспартийных рабочих организациях, Макар опрокинул синдикалистов в Центральном бюро профсоюзов. И стал его председателем. Господа из бюро заседали в квартире графини Бобринской, Ногин перенес заседания на явочные пункты партийных комитетов — в Высшем техническом училище, на Воробьевых горах, в Соломенной сторожке и в Измайловском зверинце.

В зверинце, рядом с большим рабочим районом, особенно много собиралось людей, в которых Ногин был заинтересован. Да и по далеким воспоминаниям детства это место было ему дорого. Когда-то Варвара Ивановна водила сюда своего Витеньку и рассказывала, как при царе Алексее Михайловиче тут поселился первый в России слон, присланный второму Романову в подарок персидским шахом. От Астрахани до Ярославля слона везли на барже, а потом он передвигался на своих ногах, и русские люди диву давались, разглядывая сказочного зверя — с клыками, огромными ушами, беспокойным хоботом.

Но Витенька не мог и помышлять тогда, что в этом обиталище первого слона и в охотничьем угодии Романовых, где много лет содержались их ловчие соколы, будет он собирать до тысячи человек в один раз и призывать их под знамя партии...

Профсоюзные собрания оказались широкой базой при выборах во II Государственную думу. Ногин привозил к рабочим Покровского, Скворцова-Степанова, Рожкова, доктора медицины Канеля. И они всегда добивались резолюции в поддержку депутатов-эсдеков.

В начале зимы был опубликован закон о нормальном отдыхе рабочих-ремесленников и торгово-промышленных служащих. Макар написал докладную записку о положении этих столичных пролетариев и изложил ее сам «отцам города» из управы. Это была яркая речь: в ней отразились раздумья оратора о своей «конторской» юности у старообрядца Арсения Морозова.

— Что изменилось с тех пор? — спрашивал он в притихшем зале. — На каждом углу в Москве видишь Ваньку Жукова — с судьбой раба, подхалима или стяжателя. Приходит мальчишка в услужение: спит где попало, ест что придется, мчится за водкой, щедро получает затрещины. Крутится с утра до поздней ночи, а придет воскресенье — боится высунуть нос на улицу, потому что и в этот день могут потребовать его по хозяйству. Подрастет человек, метит на место помягче, потеплей да поденежней. Вот уж и в года войдет, а на поверку — дуб дубом: просидел всю юность, как крот, за конторкой, как мышь, за верстаком. И так зажат своим благодетелем, что про отдых не думает и от книжки бежит. Не пора ли, господа, всколыхнуть эти самые широкие, самые отсталые слои трудящихся, создать им нормальный быт, направить их к свету? Не пора ли поднять их человеческое достоинство? А мы будем смело звать их в партию социал-демократов, ибо только она навсегда освободит их от хозяйской кабалы и научит бороться с самодержавием — источником всероссий-

ского горя, зла и насилия. Дай руку, товарищ Ванька Жуков!..

Речь Макара всколыхнула и ремесленников и приказчиков и едва ли не стоила ему ареста...

К новому, 1907 году «левые» теории Шанцера и Вольского заглохли. Московский комитет РСДРП считал достойной себя деятельность в профсоюзах, но никогда не ставил ее выше работы в партии. Ногин записал в своих воспоминаниях: «Основная позиция большевиков во взгляде на профсоюзы зародилась в московской организации и была подтверждена практикой Москвы. Очень скоро наши петербургские товарищи вступили на этот же путь».

В феврале 1907 года Владимир Ильич вызвал на совещание в Куоккалу представителей МК. Поехали Дубровинский, Ногин и Покровский. Одновременно прибыли товарищи из Санкт-Петербурга, из центрального промышленного района и от редакции газеты «Пролетарий». Это была трехдневная «репетиция» большевиков перед V съездом. Ильич предложил проекты резолюций. Они были приняты. Один лишь Алексей Рыков пытался говорить, что нельзя рассчитывать на оживление работы в массах, так как революция кончилась. Но получил резкий отпор.

Виктор Ногин заявил категорически:

— Говорить о каком-то упадке в настроении рабочего класса, ставить крест вообще над русской революцией на многие годы нельзя, нужно использовать всякую вспышку и попытаться удержать революционную волну на возможно большей высоте, необходимо прекратить всякие разговоры о том, что революция кончилась!.. Надо переменить наш взгляд на профсоюзы! Они — наша трибуна, Владимир Ильич, они — школа социализма. Вы убедитесь в этом, когда покажут себя московские текстильщики нынешним летом!

Ленин согласился включить в повестку дня съезда вопрос о профсоюзах.

— Но я прошу товарищей москвичей встретиться со мной еще раз, когда кончится совещание.

Ильич жил на даче «Ваза», которую снимал у шведа его старый друг — врач, большевик Гавриил Давидович Лейтейзен (Линдов). Так необычно называлась дача по той причине, что над ее входными воротами красовался деревянный барельеф вазы. А если вдуматься поглубже, так эта «Ваза» появилась лишь потому, что хозяин дачи назвал ее в честь шведской династии Вазов.

Домик был с мезонином, вернее — с башенкой, и с летней верандой, рассвеченной разноцветными стеклами. Ленин и Крупская жили внизу. Их комнаты разделял коридорчик, где всегда навалом висели чьи-то пальто. На втором этаже помещался Александр Богданов, а с ним еще человека четыре.

Заседания проходили в комнате у Ильича. Просторная и почти пустая — в ней была лишь простая железная кровать, два стула и небольшой столик в простенке, — она заполнялась толпой делегатов, которые рассаживались на табуретах и садовых скамейках.

А в день отъезда Виктора, когда он пришел к Ильичу с Покровским и Дубровинским, комната была необычно пуста. Подступал зимний вечер, одна стена была ярко освещена солнцем и искрящимся снегом. Топилась печь, похожая на камин, и Владимир Ильич сидел возле дверцы и помешивал поленья короткой кочергой.

Два собеседника были ему близки давно — Макар и Иннокентий. Михаила Покровского он знал меньше. Но ему нравился этот приват-доцент за крепкую историческую аргументацию, с которой он выступал на собраниях по выборам в Думу и ловко разделывал московского меньшевика Череванина и кадета Кизеветтера.

Видимо, Ильич успел обдумать тему, волновавшую Виктора Ногина, хотя все утро у него заседали депутаты II Думы — большевики.

— Ваш вопрос, товарищ Макар, на Четвертом съезде решался теоретически, — сказал Ленин. — Тогда у нас не было опыта. Но мы призвали эсдеков

поддерживать стремление рабочих к профессиональной организации и содействовать образованию беспартийных союзов. Правда, мотивы такого решения не были указаны. И получилось, будто съезд высказался за нейтральность профсоюзов и против партийности их на все времена.

— Но смотреть так сейчас — значит давать козырь меньшевикам, — заметил Иннокентий. — А союзов создано уже полтысячи.

— Понимаю, — Ленин задумался, поправил дрова в печке. — Однако был пункт и о том, что членам партии следует вступать в профсоюзы, работать там, связывать их с партией и собирать под знамя социал-демократии.

— Это очень общая формулировка, Владимир Ильич. А сейчас обстановка такая, что союзы легко подчинить нашему идейному руководству. Так и надо ориентировать партию, — сказал Покровский.

Ленин вздохнул:

— Когда пересматриваешь позицию, надо думать и думать, дорогой Михаил Николаевич! Помните, стал я призывать на выборы во вторую Думу, да еще в союзе с левым блоком, и окрестили меня диссидентом. Так и говорят, канальи: «Ленин отныне не чистый большевик, а человек иной веры!» И какое слово подобрали — дис-си-дент!

— Латинисты, мастера на всякие клички, — улыбнулся Иннокентий. — А Ногин прав, Владимир Ильич. Пусть он и набросает проект резолюции. Жаль, нет Ивана Бабушкина, он поддержал бы нас.

Глаза у Ленина сузились, как у старого киргиза:

— А где Иван Васильевич? Уже больше года о нем нет известий.

Дубровинский, Ногин и Покровский переглянулись с недоумением: это был первый случай, когда Ильич не знал о судьбе товарища и друга.

— Он уехал в ссылку три года назад, писал из Верхоянска, в пятом году его видели в Чите. Надя! —

крикнул Владимир Ильич. — Кстати, ничего нет о Бабушкине?

Вошла Надежда Константиновна.

— Я запрашивала повсюду, но никто ничего не знает. Остался лишь департамент полиции, но туда нам писать не положено.

— Боюсь, что беда! Непоправимая беда, горе! — грустно сказал Ленин. Он прошелся по комнате, в раздумье постоял у окна. — Берегите себя, друзья! А Виктор Павлович пусть готовит резолюцию. Встретимся еще или здесь, или в Копенгагене.

По возвращении в Москву на конференции рабочих по металлу Макар сумел отстоять хорошее решение: «проводить классовую рабочую политику, резко противоположную политике всех партий, которые защищают интересы капитала».

Союз садовников, рабочие винных складов, портные и булочники проголосовали за признание руководства социал-демократов. Кадеты стали выпускать журнал «Приказчик», чтобы склонить на свою сторону конторщиков и торговых служащих. Макар наладил выпуск журнала «Жизнь приказчика». Он провел дискуссию с кадетами. На стороне поборников либеральной монархии остались лишь средние и обеспеченные слои служащих. А вся беднота, вся многочисленная родня Ваньки Жукова признала руководство большевиков.

Признали руководство эсдеков текстильщики. Настала пора думать об единой крупной забастовке. С этой мыслью и была созвана первая конференция текстильных рабочих центрального промышленного района.

Недели три ушло на поиски подходящего помещения: полиция всячески преследовала домохозяев, которые сдавали квартиры для профсоюзных собраний. По иронии судьбы помог случай. Московский градоначальник начал закрывать дома терпимости в районе Сретенки и Цветного бульвара. «Красных фонарей» развелось там такое множество, что порядочным женщинам было стыдно ходить или ездить по этим улицам поздним вечером. Неожиданно осво-

бодилось много квартир. Их, понятно, никто не хотел занимать из-за худой славы. Одну из квартир подобрал для себя союз портных. В ней и проходила конференция текстильщиков. Решение о подготовке к стачке было принято единодушно.

Но содержалась в нем и оговорка: собраться еще раз в мае, чтобы лучше рассчитать силы и не допустить ошибки. Однако для майской конференции не удалось найти помещения. Проходила она в домике сторожа на Казанской железной дороге. Ее заметили полицейские. Делегатам пришлось разбежаться, не определив точно требования стачечников.

И все же забастовки прокатились по всему Подмосковью, хотя и не в одно время. И рабочие почти повсюду сумели придать выступлениям политический характер.

Иннокентий почти потерял свой съездовский «голос»: его арестовали за месяц до съезда на районном собрании в Замоскворечье. Вместе с ним взяли сто семь человек, а по всей Москве — около тысячи. Тюрьмы и околотки были забиты до предела.

Лев Карпов, продержавшийся на свободе еще недель пять, Виктор Ногин, за которым гонялись филеры, другие товарищи из МК приняли все меры, чтобы вызволить Дубровинского: он харкал кровью и едва поднимался по утрам с нар. Наконец удалось заменить для него тюрьму высылкой за границу без права появляться в России на протяжении трех лет. Иннокентий уехал в Лондон, но попал на съезд в последний день.

Злую шутку сыграла судьба с Никифором Вилоновым. У него обострился туберкулезный процесс. МК отправил его лечиться в Крым. Выехал он нелегально, с подложным, но хорошим паспортом. А в Ялте вдруг выяснилось, что паспорт принадлежит приговоренному к смертной казни.

Никифорова арестовали. Открыть свое имя он не мог: за ним числились два побега, призыв к восстанию в Самаре, дерзкая экспроприация крупной типографии и избиение полицейских чинов. Правда, пострадавшие городовые — в отместку — отбили ему

легкие, и он пытался покончить жизнь самосожжением. Но это в расчет не принималось. А сейчас перед ним стояла альтернатива: либо жизнь, хоть какая — в тюрьме, ссылке, на каторге, либо виселица. Он выбрал жизнь. И его отправили на поселение к калмыкам в Черный Яр.

— На кумыс, господин Вилонов, это тоже иногда помогает таким, как вы, — пошутил жандармский офицер в Ялте.

Макар тяжело пережил эту печальную историю со старым товарищем. И хоть немного успокоился, когда узнал, что он сохранил себе жизнь.

А на исходе апреля Ногин уже был на палубе корабля, который от «хладных финских берегов» перевозил в Данию почти всех делегатов V съезда.

Явно не повезло этому съезду в самой начальной стадии, как и IV Объединительному. Тогда пароход с делегатами сел на мель неподалеку от острова Ханко, тоже в апреле, в туманное утро, ровно год назад. И только потому, что финские товарищи очень быстро пересадили делегатов на другой пароход, они не попали в лапы охранки. Теперь заартачились датчане.

Правда, поначалу все шло хорошо. Владимир Ильич встретил делегатов на пристани в Копенгагене, и они уже разбрелись по городу, занимая места в гостиницах. Но явились датские социал-демократы — депутаты парламента (фолькетинга), люди респектабельные, высокомерные, внушительного роста, в длинных черных пальто, как у пасторов, в котелках.

Они стали говорить Ленину, что произошло досадное недоразумение: международная обстановка сложная, царский дом России состоит в близком родстве с датской королевской династией, правительство не желает созыва съезда русских революционеров на территории королевской Дании.

Владимир Ильич спокойно выслушал этих господ социалистов, хотя внутри у него все клокотало, и с большим достоинством сказал им:

— Мы понимаем, что некоторые семейные связи,

особенно с царской Россией, для некоторых политических деятелей сильнее, чем международная солидарность!.. Поэтому мы понимаем, что нам надо выехать из Дании, и мы готовы к этому. — Он повернулся спиной к парламентерам и сказал своим товарищам, стоявшим рядом: — Собирайте делегатов, надо готовиться к отъезду.

На пароходе стало шумнее, оживленнее: подвалила большая группа заграничных меньшевиков во главе с Мартовым, Аксельродом, Мартыновым и Костровым, бундовцы и главный «водяной» из политического «болота» — Лев Троцкий.

Пришвартовались к пристани в Мальмё. А там узнали, что и шведы не пускают делегатов в Стокгольм. И «странствующий съезд» взял курс на Лондон.

Северное море и пролив Па-де-Кале встретили русских эсдеков весьма неприветливо. Шторм раскачивал посудину, и многим стало не по себе.

Емельян Ярославский написал шуточную сатирическую поэму «Сон большевика». В ней он изобразил ту обстановку, которая была на пароходе. Меньшевики понимали, что съезд пройдет под лозунгами Ленина, ходили мрачными, вели закулисные переговоры, интриговали и... отчаивались.

Павел Аксельрод — «старец хилый, кроткий, ветхий» — плакался своим друзьям по партии:

Горе, горе вам, геноссе!
Вас погубит, завлечет вас
Леиин — демои-искуситель.
Вы ие слушайте советов
Якобиицев и бланкистов!

Говорил, говорил, а покоя в душе так и не обрел.

Тихо ходит Аксельродик...
Разрушенье зрит кумиров.
Видит он: все выше всходят
Большевистские светила;
А от лысии меиьшевистских —
Видит — чад одии иесется.
И, ломая руки, молвит:
— Горе, горе иам, геиоссе!

Рядом с Аксельродом Юлий Мартов — «юркий и проворный, нервный, чахлый и задорный, истеричный и крикливый». И «Мартынов тут плешивый, видом вроде бегемота». И все эти меньшевики, вожди, очень храбрые в полемике с Лениным, не выдержали морской качки — «все нутро свое раскрыли волнам моря голубого».

А большевики (беки) держались стойче. Они пели «Варшавянку». И эта песня отравляла меньшевикам жалкое существование на пароходе, потому что «неслась победным маршем из бланкистской, якобинской, ненавистной группы беков...»

Но вот и Лондон. Давний приют Ногина, где он выбрал для себя путь профессионального революционера.

Туман и копоть висели сизым куполом над городскими кварталами. Пели и покрикивали многочисленные гудки, суетились таможенники, разноязычный гомон катился вдоль дебаркадера. А на ближайшей улице позвякивали трамваи и надрывались клаксоны черных автомобилей.

— Не прячьтесь, Виктор Павлович! — Ленин сказал Ногину, когда тот приподнял шляпу, поклонился и отошел в сторону. — Лондонскому старожилу мы нашли дело: быть вам партийным квартирмейстером. Устраивайте товарищей, вот адреса.

И Виктор Павлович стал разводить по городу шумную ораву русских большевиков.

На городской железной дороге все пассажиры резко и очерченно делились на «классы», и Ногин мог транспортировать друзей только по дешевке — среди беднейших обитателей Ист-Энда и других трущобных районов богатой британской столицы.

Русских товарищей, да и самого квартирмейстера, расставшегося с Лондоном пять лет назад, оглушил Сити. В узких улицах делового квартала кричали газетчики, вопили разносчики товара, громыхали омнибусы, экипажи, дребезжали и чадили автомобили. И люди — все в суете и деловой озабоченности, и никакого им нет дела до того, что по Лондону

разъезжает страшная «русская крамола». Суетятся люди, мчатся, и вдруг — стоп! Это поднял белую палочку дюжий бобби на перекрестке, и замерло все движение вдоль улицы.

А чуть поодаль, в районе Вестминстера, нет на улицах крика, гула и шума. Нет даже магазинов. И в тихом уюте спят дома, затиснутые в молодую зелень садов и парков. Нет нищих и грязных детей с печальными глазами. А экипажи — только собственные и часто с фамильным гербом — бесшумно движутся по гладкой мостовой.

— А ведь здорово закручено! — сказал Андрей Бубнов, делегат из самых молодых, по кличке «Химик». — Сюда и доступа нет тем людям, которые своим видом могут оскорбить взор сытого человека. — И, дурачась в толпе делегатов, он крикнул: — Спасайтесь за угол, братцы, а то, чего доброго, попросят в участок!

Все прыснули: так смешно было в Лондоне думать о привычных российских понятиях: околоточный, пристав, филер охранки. Однако никто не называл друг друга подлинным именем, и Ногину дали фамилию Вершинин.

С Андреем Бубновым из Иваново-Вознесенска и с Климом Ворошиловым из Луганска Виктор Ногин сблизился на пароходе. Но, пожалуй, больше ему нравился неугомонный на всякие выдумки одногодок и острослов боевик Емельян Ярославский из далекой Читы. С ним и поселился Ногин на тихой улочке Бляс-Роад. А Емельян перетянул в свою коммуну Бустрема и Мицкевича-Капускаса.

30 апреля 1907 года на Бальзамической улице в церкви Братства, принадлежавшей обществу фабианцев, Георгий Валентинович Плеханов открыл V съезд РСДРП. И началась страдная партийная пора для большевиков. Продолжалась она три недели: утром, днем и вечером — в церкви; до заседаний — на квартирах, где жили сторонники Ленина и сообща готовились к выступлению; перед ночью — в кафе и ресторанчиках, где неизбежно возникала

дискуссия, как только сталкивались за столом или за стойкой представители фракций.

Весь цвет партии был представлен на съезде — 336 человек от 147 тысяч членов РСДРП. С совещательным голосом участвовал на заседаниях Максим Горький, недавно опубликовавший замечательный роман «Мать». Немецких социал-демократов и левое крыло поляков представляла пламенная Роза Люксембург, которая по многим вопросам активно поддерживала большевиков.

Решать надо было на съезде вопросы величайшей важности — судьбы России в канун столыпинской реакции, стратегию и тактику партии после поражения революции. Победа на съезде была бы не просто успехом той или иной фракции. Победа решала кардинальную проблему эпохи — либо *стоять* партии на позиции революционного марксизма и звать рабочий класс к новой революции, либо *лежать* на этой позиции или «медленным шагом, робким зигзагом» плестись в хвосте у буржуазных партий, которые денно и нощно молились своему новому богу — чуждой пролетариату Государственной думе.

Накал страстей на съезде пошел с первой минуты, когда меньшевики захватили в зале места слева, большевикам досталась позиция справа, а латыши, поляки, бундовцы и «болото» Троцкого расположились в центре.

И вскоре же после вступительного слова Плеханова, который пытался оправдать меньшевиков, Владимир Ильич Ленин задал верный тон своей фракции:

— Плеханов говорил при открытии съезда, что оппортунизм в Российской социал-демократической партии слаб. Пожалуй, если считать слабыми произведения самого Плеханова!

Большевики аплодировали неистово. Но они еще верили, что меньшевики найдут в себе силы отмежеваться от оппортунизма — ну, не все, хотя бы часть из них. Однако война в защиту оппортунизма была объявлена ими, как только вышел на трибуну говорливый Дан. Противники Ленина судачили о нем

с лукавством: «А у нас тоже есть свой Ильич! — намекая на то, что Дана звали Федором Ильичом. — Наш Ильич покажет вашему Ильичу!»

Этот меньшевистский Ильич развязно прокричал в зал:

— Мы не боимся теоретических споров с вами, мы будем вести сражение с правым флангом партии. У нас во фракции все выдающиеся теоретики нашей партии. И мы докажем, что вы не марксисты или плохие марксисты!

Позиции размежевались, бой был объявлен. Большевики имели численный перевес. Но ход съезда мог определяться той линией, какую займут товарищи из Польши, Литвы и Латвии. К их чести, они почти по всем вопросам шли вместе с Лениным. Это и выяснилось на первых же четырех заседаниях, пока обсуждалась повестка дня.

Некоторые делегаты, особенно рабочие, еще не искушенные в тонкостях фракционной борьбы, стали выражать недовольство:

— Когда же будем решать дела, ради которых сюда съехались? Спорим, спорим, а каждый день затяжки нам во вред. Дома ждет работа. Да и держат нас тут на голодном пайке: на два-то шиллинга — куда трудновато!

Владимир Ильич разъяснял им:

— Чем яснее позиция противника, тем легче бороться с ней. Теперь многое определилось, и нам, товарищи, надо положить все силы на идейный разгром меньшевизма. И прошу вас непременно бывать на всех заседаниях съезда, чтобы обеспечить «качество» голосования. А шиллингов, к сожалению, очень мало. Но Мария Федоровна Андреева будет нам давать в перерывах бутерброды и пиво...

Виктор Ногин работал на съезде активнее многих товарищей по фракции. Он голосовал вместе с Лениным по главному вопросу — об отношении к буржуазным партиям. Владимир Ильич сделал замечательный доклад, и все его выводы подтверждались богатой практикой Москвы: Макару не нужно было пересматривать и менять свою точку зрения.

Беспощадная борьба с черносотенными партиями, с партиями крупных помещиков и буржуазии — правильно! И относительно кадетов — совершенно точно: разоблачать их мнимый демократизм, чтоб Милюков и К° не увели за собой крестьянство и городскую мелкую буржуазию. И никакого меньшевистского блока с кадетами в Думе! Как ярко говорил об этом Ленин!

Вместе с Лениным голосовал Ногин и против созыва «рабочего съезда». Эту бредовую мысль выдвинул Аксельрод. И договорился до абсурда: основать на таком съезде «широкую рабочую партию», в которую войдут эсдеки, эсеры и анархисты.

Люксембург — эта «колючая Роза», которая щедро раздавала свои «шипы» меньшевикам, — вместе с поляками и латышами решительно поддержала Ленина. И вредная выдумка Аксельрода, которая вела к ликвидации РСДРП, канула в Лету.

Целиком отвечала представлениям Ногина и линия Владимира Ильича о поведении в Думе депутатов-эсдеков. Заявлять с трибуны о том, что это учреждение вовсе непригодно для осуществления основных чаяний пролетариата и революционной мелкой буржуазии, особенно крестьянства. Объяснять народу, что нельзя завоевать свободу парламентским путем, пока реальная власть остается в руках у царского правительства. Призывать с трибуны к вооруженному восстанию, к временному революционному правительству и к учредительному собранию на основе всеобщего, прямого, равного и тайного голосования.

Ярославский шепнул Ногину:

— Глядите, Виктор Павлович, у меньшевиков даже волосы стали дыбом от этих формулировок Ильича! Ну потеха!

Меньшевики вскакивали с мест и кричали:

— Революционная фраза для грудных детей!

— Бланкизм!

— Якобинство!

— Товарищи, надо спасать партию от Ленина!

Но Ленин победил. И депутатам было поручено рассматривать свою деятельность в Думе подчиненно внедумской борьбе, на основе программных требований РСДРП.

Виктор Ногин не только голосовал на съезде, не пропуская ни одного заседания. Он защищал включение в порядок дня пункта «Обострение экономической нужды и классовой борьбы пролетариата в современный момент». И произнес большую речь о начинающихся в Москве забастовках.

Он объяснял съезду, почему воздержался от подачи голоса при вынесении в порядок дня пункта о партизанских выступлениях.

— Зачем вы вытаскиваете один лишь вопрос об этих выступлениях? — обращался он к меньшевикам. — Его можно решать лишь в связи с основным вопросом — о вооруженном восстании и боевых организациях партии. А если мы сегодня не беремся за оружие, зачем же партизанить малыми группами и ставить их под угрозу?

Когда же с отчетным докладом ЦК выступил Юлий Мартов, а Александр Богданов заявил под аплодисменты большевиков и части центра: «Такого ЦК, какой был, нам не надо!» — Ногин с товарищами внес проект резолюции по отчету ЦК.

Меньшевистский Центральный Комитет обвинялся в пяти смертных грехах: он глядел на Думу как на орган власти; требовал отчуждать землю вместо конфискации ее без выкупа; искал тактического соглашения с кадетами во время выборов в Думу; заигрывал с кадетами в самой Думе; нарушил партийное единство в Санкт-Петербурге и в других местах. Словом, ЦК отступил от решений IV съезда и не проводил независимую политику пролетарской партии по многим программным вопросам.

От окончательной политической смерти на глазах у делегатов съезда меньшевиков спасли бундовцы и латыши. Они добились решения: не давать никакой оценки деятельности ЦК. Как царь Соломон решал: ни да, ни нет!

При обсуждении вопроса о «рабочем съезде»

развернулась дискуссия: «Является ли РСДРП единственной организацией, объединяющей сознательную часть пролетариата?» Меньшевик Сергеев заявил: есть много организаций и сознательных рабочих, хотя они в партию не входят. И сослался на Харьковский союз рабочих для защиты своих прав.

Ногин возразил ему:

— Если бы Сергеев указал, что есть организации социалистические, не входящие в нашу партию, то я бы с ним согласился. Но он этого не доказал. Его доказательства — явная нелепость.

Наконец вместе с Покровским Виктор Павлович ответил на недостойную вылазку Мартова, будто бы московские большевики разогнали Совет уполномоченных по выборам в Думу.

— Я знаю, какой вы большой мастер выдавать белое за черное, Юлий Осипович! Но съезду нужна только правда: московские рабочие не пожелали сделать из этого собрания постоянное учреждение. Будет еще Дума, когда разгонят эту. Тогда поглядим, нужен ли такой Совет! — сказал Ногин.

Для Виктора Павловича завершилась страдная пора в комиссии по выработке резолюции о профсоюзах. В ней работали пятнадцать делегатов. Десять из них подписали проект, составленный Ногиным, один бундовец и все четыре меньшевика отказались.

Съезд не успел обсудить эту резолюцию. Но принял ее в первом же чтении. Всем членам РСДРП предлагалось содействовать «признанию профессиональными союзами идейного руководства с. д. партии».

Меньшевистская теория «нейтральности» была отвергнута. В этом огромная заслуга Ногина. Большевики признали его позицию единственно правильной: не сторониться профсоюзов, а воспитывать их членов в духе классовой борьбы и социалистических задач пролетариата.

Съезд подходил к концу. Все его важнейшие решения были приняты по предложению большевиков. Начались выборы в ЦК.

Фракции предложили своих кандидатов. Сторонники Ленина получили шесть мест из пятнадцати. Избранными оказались: Дубровинский, Рожков, Гольденберг (Мешковский), Теодорович, Дзержинский и Ногин. Потенциально Ленина могли поддерживать и три представителя национальных организаций. Это было квалифицированное большинство. Но в ЦК оказались такие меньшевистские зубры, как Мартынов и Костров (Жордания). Да и остальная четверка явно склонялась к оппортунистическому крылу партии.

— Я не считаю такой Центральный Комитет надежным, — заявил Владимир Ильич на фракции большевиков. — Слишком много в нем различных течений. В массы нужно нести решения съезда, наши решения. А разве Мартыновы и Костровы смогут драться с меньшевиками за влияние на рабочих? Нам необходимо сохранить свой центр за границей.

Так еще в ходе съезда был создан большевистский центр во главе с Лениным.

Оставались два вопроса: когда закрыть съезд и где добыть денег для отправки делегатов на родину?

14 мая, в понедельник, на двадцать пятом заседании, вечером, Виктор Ногин выступил с последней репликой на съезде:

— Поговаривают, что надо отправлять делегатов единой большой группой. Это опасно. И особенно для тех товарищей, которые брали отпуска на время съезда. Мало того, что они могут лишиться работы из-за нашей проволочки. А попадут в тюрьму, так лишатся и свободы. В Лондоне сидели на голодном пайке, теперь, гляди, и их семьи останутся без куска хлеба. Я вношу предложение: съезд закрыть в субботу, 19 мая. Делегатов отправлять в Россию самыми малыми группами.

Съезд принял предложение Ногина. Но из-за этой реплики возник у Виктора Павловича совсем неожиданный «бой» со старым знакомым Василием Чиркиным, который четыре года назад отправлял его из Екатеринослава.

Чиркин вдруг крикнул со своего места, слева:

— Макар говорит, что все мы голодаем. А я верно знаю: большевики обвели нас, они по четыре шиллинга в день получают!

Доругивались в кулуарах. И Ногин сказал в сердцах:

— Как же тебе меньшевики наплевали в душу, Василий Гаврилович! Я считал тебя человеком, а ты на поверку пустое место. Да и грязное к тому же! Забудь, что дружили когда-то!

Вероломство всегда повергало его в ярость. А на съезде он не раз видел, как лгали, хитрили, изворачивались меньшевики. Даже Мартов, которого он когда-то отличал от всей крикливой оравы его последователей, прибег к совершенно недопустимому полемическому приему, когда обсуждалось предложение большевиков «о подготовке к вооруженному восстанию». Он выбросил одно маленькое словечко «к» и вдруг стал обвинять Ленина в заговорщичестве, в фабрикации восстаний. И договорился до того, что обсуждение вопроса о подготовке к вооруженному восстанию принципиально недопустимо на съезде партии.

— Помилуйте! — кривлялся он на трибуне. — Мы легально, в присутствии корреспондентов, заседаем здесь, в Лондоне, и как же можем мы даже ставить вопрос о вооруженном восстании!

Это была жалкая картина. Но лидер меньшевиков задал тон, и Василий Чиркин захотел соответствовать ему. Какая подлость!

Партийная касса была пуста, ни о какой добавке большевикам не могло быть и речи. Жили впроголодь все. Да и отдыхали неважно: кое-кого из делегатов Ногин устроил в многодетных семьях докеров и даже в ночлежных домах Восточного Лондона. И Владимир Ильич недавно спрашивал у него: нет ли возможности по старым связям устроить приличный заем для съезда? Но среди знакомых Виктора Павловича не нашлось людей с достатком. Сумма же требовалась крупная — тысяч двадцать золотом,

или, по счету на английскую валюту, до двух тысяч фунтов стерлингов.

Выход из положения нашел Лев Дейч — давний друг Плеханова по группе «Освобождение труда», теперь активный меньшевик. С помощью старого русского эмигранта Б. И. Кагана (по прозвищу «Бочка»), который был членом английской социал-демократической федерации, отыскали в Лондоне мыловара Джозефа Фелса. Его водили на хоры в церковь Братства, где сидели гости, — он хотел поглядеть, кому нужны его деньги. Видел Горького, Плеханова, Ленина.

Три часа пробыл он на вечернем заседании и, наконец, сказал желанную фразу:

— Хорошо, я дам деньги.

Дейч сообщил делегатам съезда:

— У фабриканта спросили 1 700 фунтов. Легко согласился, но мы все должны подписать заемный лист. Пока мы подписали втроем, с уплатой денег до 1 января 1908 года. Предлагаю избрать поручителями Горького и Плеханова, Бочка — кассир. Но фабрикант дает деньги только на отъезд и рекомендует уехать в четверг, 17 мая.

Съезд подтвердил предложение Ногина — окончить работу в субботу, 19 мая. И единодушно постановил: принять весь долг на себя.

Джозефу Фелсу вручили долговую расписку:

«Российская социал-демократическая партия. Лондонский съезд. Май 1907 года. Церковь Братства, Саусгет Роод, Лондон, 31 мая 1907 года.

Мы, нижеподписавшиеся, делегаты съезда РСДРП, настоящим обещаем вернуть мистеру Джозефу Фелсу к первому января 1908 года или раньше семнадцать сотен фунтов стерлингов — сумму займа, любезно предоставленную без процентов».

Первыми стояли подписи Льва Дейча и Максима Горького. Чуть ниже — Плеханова, Ленина. На третьей странице: Макар (Москва), на четвертой — Ем. Ярославский (СПБ).

Недостающие триста фунтов были присланы на-

кануне получения займа у Фелса правлением Германской социал-демократической партии.

1 января 1908 года наступил срок уплаты долга. Но деньги из России не поступили. Фелс грозился поднять шум в газетах. Владимир Ильич написал из Женевы Ф. А. Ротштейну в Лондон 29 января 1908 года:

«Я немедленно пишу паки и паки в Россию, что долг надо вернуть. Но, знаете ли, теперь это *крайне* трудно сделать! Разгром Финляндии, аресты многих товарищей, захват бумаг, необходимость перевозить типографии, пересылать за границу многих товарищей, все это вызвало *массу* совершенно неожиданных расходов. Финансовое положение партии тем печальнее, что за два года все отвыкли от подполья и «избаловались» легальной или полулегальной работой. Налаживать тайные организации приходится чуть не заново. Денег это стоит массу. А все интеллигентские, мещанские элементы бросают партию, отлив интеллигенции громадный. Остаются чистые пролетарии без возможности открытых сборов.

Следовало бы объяснить это англичанину, втолковать ему, что условия эпохи 2-й Думы, когда заключался заем, были совсем иные, что партия, конечно, заплатит свои долги, но требовать их *теперь* невозможно, немыслимо, что это было бы ростовщичеством и т. д.

Надо убедить англичанина. Денег он едва ли получить сможет. Скандал ни к чему не поведет...»

Ротштейн продолжил переговоры с Фелсом и постепенно убедил его: грянет же революция в России, партия эсдеков придет к власти и возвратит ему 1 700 фунтов с благодарностью.

Так и случилось. В 1920 году, когда Джозефа Фелса уже не было в живых, Леонид Красин, приехавший в Лондон вместе с Виктором Ногиным, заплатил долг наследникам мыловара.

Владимир Ильич говорил по этому поводу:

— Царских долгов не платим. А свои, пожалуйста, — платим непременно!..

На съезде Виктор Ногин видел Ленина ежедневно, но говорить с ним приходилось мало: огромной тяжестью ложилась на плечи вождя борьба с оппортунизмом.

В свободные часы Владимир Ильич встречался с группами делегатов, проводил заседания фракции, старался окружить вниманием большого гостя съезда — Алексея Максимовича Горького. Как-то в Гайд-парке делегаты встретили Ленина и Горького, и зашел разговор о романе «Мать». Книга нравилась рабочим, и Ногин считал ее отличной. Но каждому из них казалось, что все в ней изображено куда наряднее, чем в жизни. Горький стал возражать:

— Борьба человека с неправдой жизни всегда прекрасна! И показывать ее нужно красиво!

— Я лично говорю об интеллигентах, — заметил Ногин.

— Слышите, Алексей Максимович, — улыбнулся Ленин. — Товарищи, на мой взгляд, подчеркивают лишь то, что в книге есть нарочитая идеализация революционеров-интеллигентов. Так и надо понимать их замечание о нарядном и красивом. А книга нужная, об этом и спора нет!..

Когда приехал Дубровинский, Владимир Ильич спросил его и Ногина:

— Где думаете работать, товарищи члены ЦК? Здесь или в России?

Иннокентий и Макар поглядели друг на друга и ответили почти разом:

— Дома, Владимир Ильич!

— Я так и предполагал. Здесь народу предостаточно, а в России — бедно. Но Виктору Павловичу придется задержаться на неделю. Мы задумали сборник, от Ногина ждем статью о профсоюзах.

Три месяца спустя вышел сборник «Итоги Лондонского съезда». Ленин напечатал в нем статью «Отношение к буржуазным партиям», Ногин (под псевдонимом «М. Новоселов») — «О нейтральности и партийности профессиональных союзов».

Когда же в июле 1907 года, на третьей конференции РСДРП в финском городе Котка, Ногин снова выступил с докладом на эту тему, его активно поддержали Ленин и Дзержинский.

А через месяц состоялся международный социалистический конгресс в Штутгарте. Там победило ортодоксальное крыло марксизма. И его решения об идейном руководстве профессиональными союзами совпали с предложениями Ногина на конференции в Котке.

Жизнь день за днем подтверждала позицию Макара. В октябре 1907 года на Петербургской общегородской конференции РСДРП Владимир Ильич высказал уже более крайнюю точку зрения: он призывал большевиков работать во всех легальных организациях в эпоху реакции — от Государственной думы до рабочих кооперативов.

ГОДЫ РЕАКЦИИ

Началась та широкая и бурная полоса жизни, когда целиком оправдалась партийная кличка Виктора Ногина.

С веселой иронией утверждал Дубровинский, что идет она от того разнесчастного Макара, на которого все шишки валятся.

— Я тебя туда спрова́жу, куда Макар телят не гонял! — с таким начальственным окриком каждый год отправляли Ногина по этапу в Сибирь. Но он там не засиживался: бежал! И уже месяца через два, через три снова появлялся на московском горизонте, агитировал, создавал комитеты, поднимал рабочих на стачку. И вскоре проваливался опять.

Иннокентий Дубровинский задержался в Женеве, он работал в газете «Пролетарий» и помогал Ленину громить идейных противников партии — последователей Маха и Авенариуса. За Мешковским гонялись филеры, и он еле-еле держался в окрестностях Петербурга. Рожкова и Теодоровича отправили в ссылку. Феликс Дзержинский после конференции в Котке попал в варшавскую цитадель по пятому аресту. Макару — единственному члену ЦК от большевиков — досталась в удел вся Россия: от Москвы до Баку, Поволжья, Урала, Киева и Прибалтики.

Он базировался на Москву, но по неделям проводил в поездах. Глуховатый, спокойный его голос слышали товарищи то на востоке страны, то на юге или на западе. На тайных сходках он говорил о решениях V съезда. И вдохновлял тех, кто мог отшатнуться от партии, когда Столыпин расставлял по стране виселицы. И уводил в глухое подполье смелых, честных и сильных.

На конференции в Котке он впервые услыхал о бойкоте Государственной думы. С такой «левой» фразой выступил Александр Богданов. Макар крикнул ему:

— Вы засиделись в эмиграции и говорите чушь!

И проголосовал за осуждение бойкота Думы.

Он не успел побывать на конференциях в Куоккале и в Гельсингфорсе: 1 октября 1907 года два дюжих молодца из охранки арестовали его в Москве на неразрешенной конференции профсоюзов Центрального района. Новый год пришлось встречать в Таганской тюрьме. Там просидел три месяца и вышел на волю без права проживать в Москве и ее окрестностях. Нелегально поселился в Санкт-Петербурге по паспорту Владимира Федоровича Родионова, из крестьян.

Премьер-министр Столыпин заявил в то время, что его правительство не будет насаждать «черные кабинеты» в почтовых учреждениях для перлюстрации писем всех «подозрительных» лиц. Но это был чистейший обман. Как и до революции 1905 года, каждый шаг Виктора Ногина отмечался в досье. И первое же письмо из столицы брату Павлу было подшито к очередному «делу» в департаменте полиции.

«Начинаю устраиваться, — писал Виктор. — Видел публику, встретили меня дружелюбно... В Питере, вероятно, пробуду недолго и отправлюсь путешествовать...»

У него сложилось впечатление, что в лагере оппортунистов начался разброд. Меньшевики во главе с Мартыновым и Даном стали поговаривать о сближении с большевиками в таких вопросах, как экономическая борьба, профсоюзы и кооперация.

А Мартов, Плеханов и Аксельрод явно гнули в другую сторону: с большевиками, мол, невозможна никакая общая победа.

«Скоро выйдет ЦО», — писал Виктор. Он предполагал, что газета снова будет называться «Искрой», но она получила наименование «Социал-Демократ». Первый ее номер вышел в феврале 1908 года в Петербурге, а затем издание было перенесено в Париж и в Женеву. Газета стояла словно бы над фракциями, еще пытаясь примирить их. Но раскол был очевиден давно. Ленин продолжал два года издавать нелегальный «Пролетарий»; Мартов — как бы в противовес новому центральному органу партии — начал выпускать «Голос Социал-Демократа». Этот «Голос» был так криклив и таким унынием несло от него окрест, что откровенных оппортунистов из газетки Мартова с иронией окрестили «голосовцами».

Богданов, заявив о бойкоте Государственной думы, столкнулся с сопротивлением Ленина и в пылу полемики докатился до отзовизма. С ним ушла большая группа, которую Ильич не хотел потерять: Луначарский, Красин, Алексинский, Лядов, Покровский, Строев, Вольский, Марат, Менжинский, Мануильский. И — Максим Горький. Отозвать депутатов-эсдеков из Думы, отказаться от легальных форм борьбы с царизмом и немедленно браться за оружие — такой позиции держались леваки.

А Мартов бил по Ленину с правого фланга: упразднить нелегальную партию, воевать с царизмом только в дозволенных организациях, даже таких, как общество трезвости.

Истина была в том, чтобы бить направо и налево — по ликвидаторам и отзовистам. Такой линии и держался Виктор Ногин в 1908 году. Но не очень ясна была ему позиция Троцкого и других центристов. На словах они не отрицали нелегальной партии, но ратовали за сожительство в ней революционеров и оппортунистов. А Ногин не видел, что такое примиренчество могло вести на деле к ликвидаторству.

Партия переживала самый тягчайший период

своей жизни. Столыпин свирепствовал. Реакция обложила льдом по самое горло и рабочих, и крестьян, и интеллигенцию. День за днем шли провалы, аресты. Пульс общественной жизни бился очень вяло. Россия стала напоминать огромную тюрьму.

В Москве был изъят почти весь МК во главе со Львом Карповым. Не удержался и Радус-Зенькович, который не так давно заменил Ногина в Рогожском районе. Большое собрание рогожцев вместе с Радусом было ликвидировано в трактире Горяченкова и отправлено в Мясницкий полицейский дом.

Много было подобных известий: товарищи появлялись, мелькали на горизонте и исчезали. И забастовки резко пошли на убыль. В Коломне стачка прекратилась из-за предательства одного рабочего. В Богородске началось брожение на фабрике Шибаева из-за отмены квартирных денег. Но подоспел отряд полиции, и выступление пришлось отменить. В Карабанове удалось поднять на стачку ткачей у фабриканта Баранова. Но 1 800 рабочих оказались на улице. В Орехово-Зуеве кто-то растратил деньги из стачечного фонда, и о забастовке там не хотели и слышать. В Москве и в Петербурге было мертво.

Интеллигенция хвалилась тем, что отшатнулась вправо. Она теперь «искала» или «строила» бога и нудно копалась в вопросах пола. Лохань грязной воды громко выплеснул в русское общество самый модный писатель Михаил Арцыбашев. В романе «Санин» он оправдывал пошляков и беспринципных ренегатов, которые нахально попирали общественные идеалы, отрицали труд, науку, мораль, благородство и на все лады прославляли эгоизм, половую распущенность и паразитическое наслаждение жизнью. В питерских гостиных, где еще недавно звучало слово «свобода», теперь устраивались вакханалии порнографов и освещался культ такой личности, которая способна оплевать марксизм.

Мелкие чиновники, обеспеченные конторщики, «просвещенные» купчики — вся эта многоликая орава обывателей, вчера еще проклинавшая «черную сотню», превратилась в «премудрых пескарей». «Пес-

кари» поигрывали в картишки, изредка отплясывали канкан и при каждом случае подчеркивали, что они добропорядочные обыватели, для которых севрюжина с хреном превыше даже невинной игры в «революцию».

19 февраля 1908 года, в сорок седьмую годовщину «освобождения крестьян», меньшевистская социал-демократическая фракция Государственной думы опозорила себя тем, что присутствовала на панихиде по «убиенному императору» Александру II.

Ногин наметил в столице делегатов от рабочей курии на I Всероссийский кооперативный съезд и выехал в Москву. Но и в поезде зашел среди пассажиров невеселый разговор: 17 февраля повесили в Петербурге семь душ, будто причастных к покушению на дядю царя — Николая Николаевича Романова.

Так все это было в духе времени, что и Леонид Андреев писал в эти самые дни свой нашумевший рассказ о террористах. И сообщал Горькому на Капри: «Пишу большой, листа 3—4 «Рассказ о семи повешенных» — на тему о смертных казнях. Чувствую, что сейчас голосу настоящего нет, а хочется крикнуть: не вешай, сволочь!»

— Поменьше людских затрат, побольше живого дела! — говорил Макар в Москве на совещании пропагандистов. — Вовсе не прошло время, бившее по струнам и возбуждавшее великие отзвуки в душе!

1 марта 1908 года эта группа пропагандистов провела у заводских ворот многих московских предприятий летучие митинги по поводу 25-й годовщины со дня смерти Карла Маркса. Начальнику московской охранки подполковнику Коттену доносили филеры, что на этих митингах, словно по сговору, рабочие выступали против попытки фабрикантов ввести десятичасовой рабочий день.

16 апреля Макар появился под сводами Политехнического музея в крестьянской одежде — под Владимира Родионова, кем он числился по паспорту.

Он создал фракцию эсдеков из сорока пяти делегатов кооперативного съезда и предложил товарищам резолюцию по основным вопросам: о классовой борьбе в кооперации, о взаимоотношениях с профсоюзами, о положении служащих и о помощи рабочим в дни стачек и локаутов.

В президиуме съезда произошел переполох, когда рабочие делегаты Москвы и Петербурга стали предлагать свои резолюции. Полицейский пристав запретил обсуждение. Провокатор Бельский (Леонид Рыжий) навел филеров на крестьянина Родионова, который руководил фракцией эсдеков. И в конце второго дня работы съезда Родионов-Ногин-Макар оказался в Сокольнической полицейской части.

Он просидел более трех месяцев. Его обвинили «в незаконном проживании в Москве по подложному паспорту и вынесении противоправительственной пропаганды на съезде». Особое совещание при министре внутренних дел объявило ему приговор: сослать на четыре года в северные районы Тобольской губернии под гласный надзор полиции.

В делах департамента полиции сохранилась выписка из частного письма какого-то москвича «Д» господину Татаринову, в Льеж, которая никак не облегчала участи ссыльного:

«Даже кооперативное движение не оставлено милостями администрации. На пасху здесь был Всероссийский кооперативный съезд. Во время съезда провалился Макар, посланный Центральным Комитетом в качестве представителя».

В пересыльной тюрьме Ногину объявили пункт назначения: тот самый заштатный городишко Березов, где двести лет назад закончил свои дни всесильный временщик Александр Данилович Меншиков — друг и брат великого Петра.

В этой же тюрьме встретился Макар с товарищем, которого мельком видел в 1901 году, когда создавал в Петербурге столичный отдел «Искры». Это был Эразм Кадомцев. Семь лет назад он казался едва оперившимся юнцом — этакий застенчивый и розовощекий подросток из кадетского корпуса.

Но он жил под впечатлением недавней встречи с Лениным в Уфе и уже решил стать эсдеком. Владимир Ильич тогда сказал ему на прощанье:

— Так вот вам добрый совет: идите из корпуса в офицерское училище, в армии нам нужны люди. И сделайте так, чтобы солдаты любили в вас человека с революционной душой!

Кадомцев так и поступил. Он закончил Павловское училище, вел работу среди солдат. И одновременно с Ногиным отправился в ссылку. Но дело преступного офицера велось и закончилось так скоропалительно, что его не успели разжаловать.

Эразм много слышал о Макаре и еще раз убедился в отличных качествах старшего товарища, когда сидел с ним в пересыльной тюрьме. Макар держался спокойно, с большим достоинством, и вокруг него сейчас же сложилась маленькая, но стойкая группа единомышленников. И она готова была стоять за него горой.

В камеру подсадили провокатора. Макар попросил товарищей не касаться таких проблем, которые могут пойти во вред политическим.

Провокатора стали избегать. Но он назойливо лез с разговорами, искал конфликта и как-то обозвал одного товарища жидом. Наступила тревожная тишина, как перед боем. Макар презрительно кинул взгляд на провокатора и спросил Кадомцева:

— Вас чему-нибудь учили в военной школе? Например, боксу?

— В школе не учили. Но на японской войне я постиг у одного самурая два-три приема джиу-джитсу. Болевой удар в паховую полость получается у меня недурно.

— Вот и покажите его нам, — Макар кивнул в сторону провокатора.

Эразм так отделал антисемита, что тюремный врач едва откачал его. Охрана сняла ремень с Кадомцева, ботинки и увела его в карцер.

Макар заявил начальству:

— Ведите в карцер меня, это я подсказал офи-

церу наказать негодяя! А если еще подсадите такого типа, то предварительно закажите ему гроб!

Через сутки, когда Кадомцев вернулся в камеру, все признали Макара старостой и беспрекословно исполняли его распоряжения по уборке и наведению порядка. Сам он получил возможность читать почти без помех и не расставался с английской книгой.

— Не пойму, — говорил Эразм. — Как можно читать в таком бедламе?

Макар посмеивался:

— Привычка: сижу уже в двенадцатой тюрьме. А английской книге не удивляйтесь: для революционера, да еще бегающего, язык — хороший отхожий промысел.

В августе двинулись на восток. Макару повезло: неразжалованный офицер Кадомцев мог ехать в отдельном купе, при двух солдатах. Он и перетащил к себе ссыльного цекиста. Третьим был Владимир Соловьев — руководитель финляндской военной организации РСДРП. Солдаты бегали за кипятком, покупали газеты. Так добрались до Тюмени.

В городской тюрьме было столпотворение: по всей округе свирепствовала эпидемия сыпного тифа, дальнейшая пересылка ссыльных была отставлена, в камерах содержалось человек четыреста: политические, уголовники, содержатели публичных домов, контрабандисты. От вынужденного безделья и неопределенности положения все политические — эсеры, анархисты, эсдеки и дашнаковцы — переругались насмерть.

Социал-демократ Арон Сольц — один из старожилов Тюменской тюрьмы — никак не мог навести порядок. Очень беспокоило его нездоровое брожение умов у большой группы рабочих. Они с омерзением глядели на моложавого эсера, юриста, который домогался сожительства с женщинами за то, что составлял им прошения, и хвастался своими победами.

Пожилой рабочий однажды сказал со злостью:

— Вот из-за таких гадов, интеллигентов, и революция погибает! Мы, значится, за идею страдаем,

а они только про то думают, как бы под подол к бабе залезть!

Макар стал проводить собрания, чтобы открыть глаза товарищам. Днем можно было ходить из камеры в камеру, и собрания — многолюдные, шумные, долгие — постепенно помогли так расставить силы, что большевики начали задавать тон. Эсерабабника загнали в угол, дашнаковцы и анархисты поджали хвост, никто уже не произносил упадочных речей. И когда пришло время разъезжаться по медвежьим углам, пожилой рабочий, недавно проклинавший интеллигента, обнял Виктора Ногина и сказал с душой:

— Свет ты наш Макарушка! Обида кровная, что не с тобой еду. Не говорю «прощай»: скоро свидимся «на воле». Верю я в это!

Началась осенняя распутица, когда доставили Ногина к березовскому исправнику. Северная Сосьва и Вогулка вышли из берегов, городок тонул в густом тумане, в непролазной грязи. О побеге — сейчас, немедленно — не приходилось и думать. Да и обставить уход отсюда хотелось так, чтобы без задержки в Москве или в Питере проследовать прямо в Париж, куда зимой собирался переехать Ленин.

Нужен был хороший паспорт, и Макар списался с Москвой. Елизавета Уварова довольно быстро передала Варваре Ивановне Ногиной томик рассказов Евгения Чирикова. В переплете был заделан исправный «вид» на имя потомственного дворянина Георгия Петровича Федотова.

Макар поселился на берегу Вогулки у охотника Лаврентия, помогал трем его ребятишкам постигать грамоту и скоро стал лучшим другом семьи.

Раз в неделю он появлялся у исправника для отметки. И каждый день с нетерпением ждал желанной весточки из Москвы.

Посылка с теплым бельем и с книгой Чирикова добрела до Березова в сочельник. Все рождество прошло в сборах: купили валенки, сшили меховую оленью кухлянку, наготовили большую суму пельме-

ней. Лаврентий перебросил за праздники вещи Макара в свою лесную избушку. А в новогоднюю ночь — полярную, трескучую — примчал своего постояльца в соседнее село. И путешествующий «для своего удовольствия» барин Федотов ходко покатил на перекладных в сторону Ивделя.

Через сорок дней Макар был в Петербурге. Он потерял почти год и теперь разбирался в том, что произошло за это время в России и за границей. Хотел встретиться с Иннокентием Дубровинским, но тот именно в тот день — 10 февраля 1908 года — бежал из Сольвычегодска в Париж к Владимиру Ильичу.

Самые обрывочные сведения могли сообщить Макару питерские товарищи. Драка нигде не затихала — ни тут, ни за рубежом. Потресов жил легально в Санкт-Петербурге и мутил депутатов Думы, Ленин обстреливал его в «Пролетарии». На Капри был прошлой весной Ильич, разорвал с Богдановым, Луначарским, не пощадил и Горького. И сейчас печатается в Москве его философская книга против махистов и богостроителей. Меньшевики потеряли все крупные организации в России. Столыпин изрядно потрепал их на юге, а весь север и Кавказ — в руках большевиков. Но мартовцев слишком много в Париже, в Женеве, и они захватили летом «Заграничное центральное бюро». Однако на женевском пленуме ЦК РСДРП в августе прошлого года Ленин раскассировал это «бюро». Взамен его создано Заграничное бюро ЦК, подчиненное Русскому бюро. Но надежд на него мало: там большевики и меньшевики представлены двумя четверками.

Порадовало лишь известие о V (общероссийской) конференции в Париже. Она закрылась за четыре дня до того, как Макар убежал из Березова. И принесла победу большевикам. В духе решений Лондонского съезда изложена резолюция по докладу Ленина о современном моменте и задачах партии; хорошо сказано о работе думской фракции. И ленинский стиль угадывается в резолюции против оппортунистов. не прекращать борьбы «против *ликвида-*

торов, прямых противников партии, и против *отзовистов*, скрытых недругов партии».

Макар подпольно держался в Петербурге, а уже по всем полицейским, жандармским и пограничным пунктам охраны рассылались его фотографические карточки при таком тексте: «Арестованный в гор. Москве и высланный в Тобольскую губернию в гор. Березов член Центрального Комитета РСДРП, носящий партийные клички «Макар», «Родановский» и «Новоселов», калязинский мещанин Виктор Павлов Ногин бежал с места ссылки. Направляясь за границу, предполагает приехать в гор. Москву».

Он встретился с членом ЦК Мешковским. И тот сообщил ему, что в Выборгском районе Петербурга появилось какое-то новое знамение времени: меньшевики-рабочие затевают раскол в мартовской фракции — активно выступают против ликвидаторов.

— Они именуют себя меньшевиками-партийцами. Но я не определил еще, какой линии держаться по отношению к ним.

— Да если они за партию, а значит, и за подполье, почему же вы не хотите их поддерживать, Иосиф Петрович?

— Ленин так яростно выступает против всех разновидностей меньшевизма, что я не решался идти навстречу этим партийцам без его совета. Я написал Ильичу, жду от него ответа.

— Я увижу его через неделю, думаю, что ответ будет положительный. Где мне искать его?

— Улица Мари-Роз, 4, спросить Фрея. Это возле парка Монсуро. А по вечерам он бывает в кафе на д'Орлеан: на втором этаже наша заграничная группа содействия.

— А что говорил Иннокентий? Вы его видели задолго до ареста?

— В тот самый день — 29 ноября, утром. А взяли его вечером, на Варшавском вокзале: он ехал в Париж. Инок сказал, что сейчас на очередь дня надо выдвигать лозунг о спасении партии. Не свержение самодержавия, поскольку всюду развал и сил нет, а именно спасение партии от Столыпина, от наскоков

справа и слева в своей среде. Он так и выразился: охранять принципы партии, крепить ее организации снизу доверху. А с царем справимся, когда рабочие снова сплотятся вокруг нас.

— С этим можно согласиться, — сказал Макар.

На Выборгской стороне он повидался с небольшой группой меньшевиков-партийцев. Они встретили большевика-цекиста настороженно. Но постепенно разговорились.

— Нас связывает сейчас только одна организационная задача, — сказал Макар. — Но задача огромная, благородная, и это не так уж плохо. Только не могу понять, на кого вы делаете ставку? На Мартынова, на Дана?

— Была надежда, но эти снова переметнулись к Мартову, и всем им одна цена — «голосовцы». Держали мы совет с москвичами — товарищами от Пресни. И написали Плеханову. Так и полагаем, что должен он охранить партию от развала... А Ленин берет круто, с ним пива не сваришь...

— Я как раз еду к нему. И думаю, что он поддержит вашу позицию...

Через две недели после того дня, когда Виктору Павловичу исполнился тридцать один год, отправился он выборгским поездом за границу. На станции Белоостров в вагон вошли два филера и слишком пристально стали разглядывать пассажиров. Макар — без чемодана — поспешил к выходу, но уже навстречу шел жандармский офицер с проводником и стражниками.

— Надеюсь, обойдется без эксцессов, господин Ногин? — офицер откозырял. — Прошу следовать за мной!

Начальник столичной охранки доносил департаменту полиции: «В ночь на 14 сего февраля по распоряжению Отделения на станции Белоостров Финляндской железной дороги задержан намеревавшийся выехать за границу член Центрального Комитета РСДРП, носящий партийные клички «Макар» и «Рыжий», калязинский мещанин Виктор Павлов Ногин, назвавшийся при задержании потомственным дворя-

нином Георгием Петровичем Федотовым, на имя которого, при личном его обыске, и был обнаружен заграничный паспорт, выданный 28 ноября 1908 года за № 14533 канцелярией С.-Петербургского градоначальника, и сто пятьдесят рублей денег...»

Больше трех месяцев таскали Виктора по всяким камерам: дом предварительного заключения на Шпалерной, две пересыльные тюрьмы в Санкт-Петербурге и в Москве. Он просто окостенел от этой изнуряющей обстановки. С ним соседствовали по нарам юркие аферисты, ловкие шулера, убийцы, казнокрады, садисты, воры — весь этот жуткий калейдоскоп российского социального дна. И совсем не в меру донимали чьи-то слезы раскаяния, вши, блохи, отвратительная баланда, раздражающий гомон.

А уже вовсю катило лето. За окном щебетали ласточки, на тюремную решетку садилась бабочка, заря почти сходилась с зарею. И так мучительно хотелось на волю: слишком недолго пришлось ему побыть в гуще жизни!

Оленька Ермакова, та самая курсистка из Саратова, которая встретилась ему в Женеве, снова перешла дорогу: на этот раз в Москве, да так близко и с надеждой на радость, что жить без нее уже не было смысла.

Из Женевы она уехала в Саратов. Там завязала связи с молодежной большевистской группой, куда входили Ломов и Антонов-Саратовский. Ей поручили вести два кружка, она хорошо справилась с работой. А летом 1906 года переехала с сестрой Анастасией в Москву, поступила на Высшие женские курсы Герье и готовилась стать врачом.

В тот год партийным организатором в Замоскворечье работала ее старшая подруга, землячка Елизавета Нестеровна Уварова — близкая родственница жены Николая Баумана. Лиза поручила Оле Ермаковой относить литературу на шоколадную фабрику Эйнем и на завод Густава Листа. Потом дала ей кружок в мастерской церковного поставщика Неми-

рова-Колодкина, где изготовляли кадила, подсвечники, чаши для причастия, ризы для икон и прочую культовую утварь.

Товарищи посмеивались:

— Не поддавайтесь, Оленька, контрагитации своих церковных бородачей: они обросли мохом и кряжисты, как мореные дубы. А то придется нам постричь вас в монастырь. К примеру, под именем послушницы Христины или Евстолии!

Олю приняли в партию. Она не пропускала занятий у пропагандистов, которые обычно собирались в трамвайном депо у Петра Смидовича: он служил там техником. Петр Гермогенович поил молодежь крепким чаем и подавал на подносе румяные филипповские калачи. И непременно приговаривал:

— Это чтоб наши девушки румянее были. На румяную и жених скорей клюнет!

И жених для Оленьки появился: он приехал из Баку и зашел к Елизавете Уваровой. Правда, у него было другое неотложное дело: заболел с дороги Радус. Больному требовалась помощь; прикрепили к нему Олину сестру — Анастасию.

Виктор и Ольга вспомнили Женеву, большевистский «вертеп» на набережной Арвы, Лепешинских и Бончей. И расстались. Но Макару вскоре потребовалась хорошая квартира. На углу Остоженки и Зачатьевского переулка такая квартира попалась — из трех комнат. Он снял ее. Но жить одному было неудобно, особенно по той причине, что это могло вызвать подозрение у хозяйки.

Он предложил Ольге и ее подругам:

— Помогите мне, девушки. Займите две комнаты в моей квартире. Так нужно для дела, — сказал Макар. — Сделайте выбор сами, но решения не откладывайте.

Оля с сестрой и подругой Лидой переехали на Остоженку. Но они почти не видели Виктора: он уходил рано утром, возвращался в полночь, а иногда подолгу сидел в своей комнате взаперти. Украдкой приходили к нему товарищи: Бубнов, Смидович, Сер-

гей Мицкевич, Владимир Обух, Скворцов-Степанов. Из-за двери глухо доносился гул голосов.

В квартире постепенно сложилась маленькая коммуна. Душой ее была Варвара Ивановна. Она наводила порядок у курсисток и у сына. И иной раз вытаскивала сына пить чай из самовара — с баранками, с крендельками — в кругу коммунарок.

Потом Макар отбыл на съезд в Лондон. Оля впервые подумала: путь дальний, не случится ли с ним беда? Но все обошлось хорошо. Летом курсистки отказались от квартиры и уехали на каникулы в Саратов. Макар завернул к ним по пути с Урала. И впервые явился с букетом цветов: он любил сирень, а она как раз входила в цвет. И, конечно, перестарался: неумело принес чуть ли не целый веник!

Гуляли над Волгой, говорили... о съезде, о курсах Герье, о Насте, о Лиде, за которой ухаживал худой и долговязый Леонид Рыжий, а как выяснилось позже, служил охранке против Ногина.

Расстались до осени. Когда же Виктор был арестован 1 октября 1907 года, «невеста» навещала его в очередь с Варварой Ивановной.

Через полгода встретились снова: Виктор приехал из Питера на кооперативный съезд и 17 апреля навестил Олю на Долгоруковской улице, в доме Егорова. Они были вдвоем, и Виктор решил, что объяснится нынче непременно. Но все тянул, смущался. А поздно вечером нагрянула полиция, и... «жениха» отправили в Березов.

В последние сорок дней вольной жизни он даже не видел Ольгу, но переслал ей записку: «Хочу всегда быть вместе. Поймите меня, Оленька, я люблю Вас. *Виктор»*.

«Бедному жениться — ночь коротка», — и об этом мог думать Макар, когда вновь оказался в Березове 23 июня 1909 года.

И уже нелепым казалось здесь и ожидание нового паспорта и даже ответа на записку Ольге Ермаковой. Он решил бежать немедленно. И с этой мыслью появился на пороге избы охотника Лаврентия.

Тот даже ахиул: опять объявился Макар. Только трудио его было призиать с первого взгляда: каштановая борода лопатой раскинулась до пояса, иа висках выпирали кости под бледной кожей, рубаха почти истлела. А голос все тот же — спокойный и глуховатый, и гордая осанка, и добрые темно-серые глаза за стеклами пеисие.

— Ой, не ждали! Ну, входи, входи! — Лаврентий сгреб Макара в охапку.

— Тесеи мир, Лавреитий, а? Так скоро встретились, что и соскучиться ие успели!

— Скучали, Макарушка, скучали! — хлопотал Лаврентий у самовара.

— А тебя ие трогали, когда я улизнул?

— Бог миловал, однако. Исправиик жарко гулял три дня. А потом я ему сам сказал: «Беспокоюсь, ваше благородие, постоялец вроде пропал. Человек он государствениый, как бы вам иеприятности ие вышло». Кииулись оии по тюменской дороге, да вериулись с носом... Сколь поживешь у иас аль опять в бега?

— Хоть завтра!

— Эка силушка иеуемная! Мие бы такого в помощники: силки ставить, капканы, хорошо бы, однако, пушнину добывали!

— Звери есть покрупиее, дорогой Лавреитий. Мне на них идти надо.

— Ну, тебе видней. А с дороги передохиуть положено: крепко оиа тебе холку иамылила. Жеиа сейчас баньку истопит. Да и надо все обкумекать: нынче ведь иа лодочке придется, а может, и пёхом. И бороду не тревожь: будто я что-то иадумал...

На четвертый день сходил Виктор в город отметиться у исправника и у аптекаря купил очки. А в полдень Лаврентий уже поджидал его у лесной избушки. Сняли у очков правую дужку, прицепили веревочку. И пошел Виктор в дальиий путь, сиова иа Ивдель: иа голове потрепанный заячий треух, белая крестьянская рубаха перехвачена сыромятным ремешком, коломенковые штаны и чуни, за спиной — сума, на плече — острая звонкая литовка.

Начиналась пора сенокоса, и никому не бросился в глаза степенный бородатый косец, который девять дней вышагивал по равнине через луга, речки и перелески...

В Москве он пробыл полдня и повидал Марию Ильиничну Ульянову, она передала ему письмо Ленина: Владимир Ильич предлагал приехать в Париж. Там в первых числах июня должно было состояться важное совещание в редакции «Пролетария».

Виктор Павлович написал Ленину (Фрею) 13 июля 1909 года:

«В феврале я обещал приехать к Вам, но вместо Парижа мне пришлось вновь предпринять далекое путешествие.

Теперь я воротился и думаю, что смогу исполнить свое обещание, хотя, правда, средства мои вышли все. Но для того, чтобы я мог судить, насколько я там могу быть полезен, напишите мне поподробней обо всем, что было за это время и каково положение дел сейчас.

За все это время я абсолютно ничего не мог узнать о том, как живете Вы, и во всех отношениях являюсь человеком отсталым, которому потребуется много времени для того, чтобы освоиться со всеми переменами. Без особой нужды я очень не хотел бы ехать.

Условием ставлю следующее: 1) выехать отсюда не раньше половины августа; 2) не заезжать никуда в предварительные пункты (т. е. прошу дать мне конечный адрес). Никого из друзей здесь я не видел, и нет надежды, что раньше как через несколько недель не увижу.

Более подробно не пишу, т. к. не уверен, что вы получите мое письмо.

Письма и деньги посылайте по следующему адресу: адрес для писем: Саратов, Ильинская улица, собственный дом № 14, А. И. Астрахановой; адрес для денег: Саратов, гражданскому инженеру А. Н. Клементьеву.

Привет всем друзьям. *Смойли...*»

Два побега за одно полугодие, тюрьмы, снова тюрьмы и арестантские вагоны, возмутительная брань конвойных, нездоровая пища и предельное напряжение нервов даже такому стойкому человеку, как Макар, были не по силам.

Первый раз в жизни он и впрямь нуждался в отдыхе. И Елизавета Уварова, сосланная из Москвы в Саратов, крепко упрятала его в дачной глуши на Волге. Даже для самых близких людей он был прапорщиком запаса Петром Дмитриевичем Шидловским: такой ему достали паспорт. Лишь трое из Саратова поддерживали с ним связь: Лиза Уварова, Оля Ермакова и Анна Астраханова — сокурсница и подруга «невесты». Они привозили ему книги, газеты и журналы.

В приятном уединении взялся он за новую книгу Владимира Ильича «Материализм и эмпириокритицизм» — она недавно вышла в московском издательстве «Звено». Прочитал первые главы, и словно огнем обожгла его ленинская страстность! Никто после Энгельса и его «Анти-Дюринга» не писал с такой партийной одержимостью о философских основах героической партии рабочего класса. Никто не разрушал с такой ненавистью горы поповщины, никто не раскидывал завалы богостроителей, не выметал философский мусор махистов. Да никто и не говорил так ясно, сколь партийна философия и как необходима она большевику для революционной перестройки мира. Гимн, это был гимн марксизму, это была «песня песней», зовущая на бой!

Виктор уже не мог сидеть в тихой зеленой и ароматной от цветущего луга и такой спокойной деревенской глуши. Из Парижа пришли деньги, Ленин рекомендовал объехать ряд комитетов перед пленумом ЦК РСДРП.

В Москве Ногин узнал две важные новости. Первая касалась отзовистов. На расширенном совещании редакции «Пролетария» большевики основательно сплотились против оппортунистов. Давние связи со многими соратниками были разорваны: отзовиста Александра Богданова исключили из партии. Луна-

чарский, Марат, Покровский и другие его друзья уехали на Капри, где весной открылась антипартийная школа. Леонид Красин близок к этой группе и к этой школе, открытой на деньги Горького. В школе почему-то оказался и Никифор Вилонов.

Вторая новость касалась Плеханова. Он действительно вышел из газеты ликвидаторов «Голос Социал-Демократа» и на днях возобновил издание своего «Дневника Социал-демократа». Он стоит во главе меньшевиков-партийцев, поддерживает нелегальные организации на местах. Ленин протянул ему руку, хотя было время, когда одно из писем Плеханову он хотел подписать не «преданный Вам», а «преданный Вами Ленин».

В Москве Макар держался в глубоком подполье: в квартиру Дунаевых на Девичьем поле не допускалась даже Варвара Ивановна. А после каждой отлучки в другой город возвращался он не в Москву, но в Дмитровский уезд под Москвой: там было самое надежное пристанище у родителей Василия Орлова — работника МК.

Огромная ответственность легла на плечи Макара: он был облечен всеми полномочиями большевистского центра. Он налаживал связи Урала с Санкт-Петербургом, Екатеринослава, Харькова, Киева, Баку, Тифлиса с Москвой. Вешатель Столыпин разгромил почти все крупные комитеты, приходилось их формировать заново.

Макар беспрерывно колесил по стране, создавая ячейки и группы. Он по ночам пробирался на явочные квартиры и по крупице собирал воедино уцелевших от ареста большевиков. Но это был почти сизифов труд неутомимого подпольщика: все, что он создавал с таким напряжением сил, держалось до очередного провала — неделю, месяц, два. Появлялись прекрасные товарищи — молодые, готовые на любой подвиг для партии. Но проходило месяца три, и их надо было заносить в длинный и скорбный список ссыльных или каторжан. Провокаторы плодились, как плесень, как ржавчина. И ужасная, невиданная доселе болезнь стала разъедать ряды пар-

тийцев — провокаторомания: даже старые друзья с опаской смотрели в глаза друг другу.

Макар держался. Но иногда отчаяние душило его. И в эти дни каждый, кто выражал хоть малейшее понимание задач партии — нелегальных, легальных, думских, чисто просветительных, — казался ему нужным человеком. Главное, лишь бы тот не отрицал существования самой партии, ради которой он отдает без колебания всю свою жизнь.

Может быть, Макар переоценивал гнет реакции, полицейский сыск, тюремное ярмо или ужасы каторги? Может быть, ради спасения партии он искал связей с людьми, которым Ленин никогда не мог доверять? Такой вывод напрашивается.

Ясно одно: когда Макар благополучно добрался до Парижа в конце декабря 1909 года и встретил в кафе на улице д'Орлеан Новый год вместе с Дубровинским и Вилоновым, непримиримость Владимира Ильича казалась ему излишней.

Иннокентий вполне разделял взгляды Макара, как и другие практики. Никифор Вилонов отмалчивался: его больше интересовала драка с Богдановым и Луначарским. Месяц назад он разорвал с их школой на Капри, приехал в Париж и помог Ленину раскрыть все ухищрения каприйских отзовистов, которые докатились до фракционной борьбы. Да и чувствовал он себя плохо: чахотка валила его с ног, неумолимо подступала его «лебединая песня». А он хотел написать философскую книгу, книгу заветную, изложенную боевиком-практиком, которого революционный марксизм привел к коммунистическому познанию мира. Он отказался от работы в ЦК, хотя его прочили избрать кандидатом, скоро уехал в Швейцарию, в Давос, лечился там, но безуспешно. 1 мая 1910 года, когда демонстранты несли по курортному городку красные знамена и пели «Интернационал», Никифор Вилонов лежал в гробу...

Через три года не стало и Иннокентия Дубровинского: в ночь с 19 на 20 мая 1913 года он, отбывая ссылку в Туруханском крае, утонул в Енисее...

Набрасывая воспоминания о Дубровинском, Ма-

кар написал, что в дни январского парижского пленума ЦК оба они занимали вполне определенную позицию в борьбе за нелегальную партию. Но допускали «возможным вовлекать в ее ряды тех работников социал-демократов, которые признавали необходимость этой нелегальной партии, как из большевиков, так и из меньшевиков». Кроме того, им представлялось, что «из тех рядов, которые позднее могли приблизиться к большевикам», непременно надо изгонять заведомых меньшевиков-ликвидаторов.

И Владимир Ильич писал в «Заметках публициста», что он «готов был тогда помириться... даже с чрезмерными уступками, раз *линия* партии этим не подрывалась, раз уступки не вели к отрицанию этой линии, раз уступки служили мостками для привлечения людей от ликвидаторства и от отзовизма к партии». Но он находил уступки чрезмерными и боролся из-за меры уступок.

Эта «мера уступок» и определила расстановку сил на пленуме. Драка велась несусветная, и Макар с Иннокентием шли дальше Владимира Ильича в уступках. Владимир Ильич сообщал Горькому, что на этом — «долгом пленуме», — три недели маета была, издергали все нервы, сто тысяч чертей!»

Какой-то крупный осведомитель, возможно провокатор Житомирский, доносил в департамент полиции, как определились фракционные течения на январском пленуме 1910 года.

Первое течение было представлено центральным органом партии — газетой «Социал-Демократ». Это Ленин. К нему примкнул Плеханов. Их лозунг — «бить направо и налево, то есть меньшевиков-ликвидаторов и большевиков-отзовистов. Они стоят за восстановление подполья, как главного руководящего рычага русской революции».

Течение второе — «голосовцы»-ликвидаторы. Их лозунг — «борьба за легальность», ликвидация подпольных организаций.

Течение третье — примиренческое. Оно представлено Троцким и его венской газетой «Правда».

К нему примыкают Макар и Иннокентий. Их задача — «во что бы то ни стало примирить два первых течения и заставить их работать вместе, хотя ни первые, ни вторые этого не желают».

Течение четвертое — отзовизм. «Оно не имеет никаких опорных пунктов в России и живет только за счет борьбы всех первых течений».

Латыши поддерживают Мартова, поляки — Ленина, «бундовцы — туда и сюда».

Но этот же осведомитель подчеркивал, что Макар и Иннокентий являются представителями «чистого большевизма». В общеполитических и тактических вопросах они решительно ни в чем не расходятся с Лениным. Однако не всегда соглашаются с ним в вопросах организационных. И если их постигнет неудача в России, они немедленно сольются с группой Ленина.

Осведомитель не отметил шатаний Каменева, Зиновьева, Рыкова, Любимова и не понял такой простой вещи: Троцкий болтал о единстве партии, а на самом деле всячески выгораживал ликвидаторов. И путал все карты на пленуме, чтобы получить субсидию для своей венской «Правды». Он вел себя «как подлейший карьерист и фракционер», — писал о нем Владимир Ильич. А Макар и Иннокентий были озабочены единством партии. И они проголосовали против выдвижения кандидатуры Троцкого в Центральный Комитет.

С первых же дней стало ясно, что объединить на пленуме всех — мечта несбыточная. Надо было искать компромисс. И его искали три недели. «На пленуме для дипломатии действительно было место, ибо партийное объединение партийных большевиков и партийных меньшевиков было необходимо, а без уступок, без компромисса оно было невозможно», — писал Ленин.

По настоянию Владимира Ильича пленум осудил ликвидаторство и отзовизм. И меньшевикам были поставлены условия: полное разоружение, то есть прекращение фракционной газеты, кассы и раскола за границей; лояльное проведение борьбы с ликви-

даторством, подчинение большинству в редакции «Социал-Демократа» и содействие ЦК в России.

Но на все другие решения легла печать компромисса и примирения. Большевики пошли на серьезные уступки. Они закрыли свою газету «Пролетарий», распустили свой заграничный центр и передали все его имущество объединенному ЦК. Пленум счел возможным дать субсидию газете Троцкого и признал право на существование литературной группы «Вперед», созданной отзовистами.

Согласились большевики передать и свои деньги ЦК. Правда, только сорок пять тысяч рублей. А четыреста тысяч остались в ведении Ленина. Но расходовать их он мог лишь с согласия «моральных держателей», которыми были объявлены немецкие эсдеки Карл Каутский, Август Бебель и Клара Цеткин.

Наконец в Русское бюро ЦК избрали «семерку»; в нее от большевиков вошли Макар и Мешковский. Иннокентий занял место в «пятерке» Заграничного бюро ЦК.

Пленум закончился, Макар уехал в Москву. И... все пошло по-прежнему, как и после Объединительного съезда в Стокгольме: меньшевики со своей линией, Ленин — со своей. Меньшевики поступили вероломно: они не закрыли свой «Голос». Больше того, они напечатали в нем позорный «манифест» шестнадцати ликвидаторов, которые без всяких обиняков ставили крест на РСДРП. И среди этих жалких подголосков буржуазии первую скрипку вел почти забытый Макаром старый его знакомый Сергей Цедербаум.

Мартов немного поколебался и на двух заседаниях ЦК даже позволил себе поспорить с Даном. А затем вместе с ним возвестил о начале военных действий против большевиков.

Владимир Ильич предвидел это, хотя кому-то и хотелось представить дело так, что он доверчиво поддался уговорам примиренцев и понес поражение на пленуме. Ленин всегда оставался самим собой. И 11 апреля 1910 года он писал Горькому на Капри:

«Очищение с.-д. партии от *ее* опасных «уклонений», от ликвидаторства и отозовизма *идет вперед* неуклонно; в рамках объединения оно *подвинулось значительно дальше,* чем прежде. С отозвизмом мы уже покончили идейно, в сущности, до пленума. С ликвидаторством не докончили тогда, меньшевикам удалось на время *скрыть змею,* а теперь ее вытащили на свет божий, теперь ее все видят, теперь ее будем уничтожать и уничтожим!»

Большевики вскоре стали выпускать три газеты: «Наш путь» в Москве, «Рабочую Газету» — в Париже и «Звезду» — в Санкт-Петербурге. А в деревушке Лонжюмо, под Парижем, с большим успехом начались занятия в ленинской партийной школе.

После страшного периода «безвременья» в 1908—1909 годах рабочее движение в России пошло на подъем, и большевистские издания подпирали его живым словом правды, направляли в русло нелегальной и легальной борьбы с самодержавием.

Даже в охранке стали появляться невеселые сообщения об активной деятельности большевиков. Один из крупнейших провокаторов, Бряндинский (он же Крапоткин, Вяткин), доносил своему шефу в Питер: «Главный интерес и силу в данный момент за границей представляет собой группа большевиков, окружающих Ленина». Эта группа «окончательно узурпировала власть, приобрела решающий голос и влияние в текущих вопросах издательства и свела значение остальных фракций (меки, впередовцы) к нулю. Меньшевики Мартов и Дан, сознавая полное свое бессилие и невозможность бороться с преобладающим влиянием ленинцев, остаются в составе редакции (ЦО), по собственному их выражению, «исключительно из принципиального желания сохранить за собой хотя бы минимальное право входить в состав редакции центрального партийного органа».

Тот же Бряндинский сообщал, что открыто примиренческая позиция Троцкого вызвала против него негодование Ленина и его стойких приверженцев. «Надо предполагать, что Ленин и Плеханов в конце концов своего добьются и своих противников приведут к по-

виновению, особенно же строптивых постараются или обезвредить, или вовсе исключить из партии. Тем более что вызванная промышленным подъемом волна забастовок приведет, вероятно, и к некоторому оживлению подпольной деятельности партии на местах, а это не малый козырь в борьбе с ликвидаторами, которые народились и сильны только во время периода развала партийной работы и понижения энергии пролетариата».

Макар после пленума приехал в Москву. «Объединительный кризис» обнаружил себя немедленно. Надо было в широком масштабе формировать подполье и налаживать в России работу ЦК.

Хорошей квартиры не было. Мария Ильинична Ульянова предложила ему поселиться у Елены Малиновской — работницы финансовой группы МК. Но Макар — старый мастер конспирации — посчитал, что он и Малиновская будут мешать друг другу.

Он решил держаться у Дунаевых, на Девичьем поле. Комната была возле кухни, у черного выхода, рядом — чердак: позиция для нелегала удобная. А встречался с товарищами на квартире Анны Астрахановой, в Проточном переулке. Там бывали Елизавета Уварова и Ольга Ермакова. Заходил и Андрей Бубнов: он примыкал к отзовистам, но после долгих раздумий в Бутырской тюрьме заметно охладел к ним.

Макар сделал два доклада в МК о январском пленуме на квартире фельдшерицы Бланк в Ростокинской больнице. И отправился в Петербург. Там он разыскал трех кандидатов в члены ЦК, избранных на Лондонском съезде. Но они не пожелали собраться для встречи с ним. Эти господа — Роман (К. М. Ермолаев), Михаил (И. А. Исув) и Юрий (П. А. Бронштейн) — не хотели и слышать о подполье. Они легализировались и крепко сидели в служебных креслах — делали карьеру. С Макаром соизволил поговорить один Исув, который даже среди ликвидаторов занимал место на самом правом

крыле. Он торопился, боясь, что разговор с Макаром может его скомпрометировать, и выпалил всего две фразы:

— Ни в какой подпольный ЦК мы не пойдем! Так и скажите вашему Ленину: Михаил, Роман и Юрий само существование ЦК считают вредным!

Работа ЦК на этом этапе была сорвана.

15 марта 1910 года Макар написал Ленину:

«...Просим товарищей Мартова и меньшевиков-цекистов немедленно сообщить нам имена и адреса товарищей, которых они предлагают кооптировать (петербургские меньшевики от этого отказались)...» «Собрать русскую коллегию пока нельзя: почти никто не соглашается быть кооптированным, пока согласился только один большевик, да и то условно. *Меньшевики (Михаил, Роман и Юрий) категорически отказались, считая вредной работу ЦК. Резолюции пленума, по мнению Михаила и других, также вредны. Вмешательство ЦК в тот стихийный процесс группировки с.-д. сил в легальных организациях, который теперь происходит, подобно, по их словам, вырыванию плода из чрева матери на 2 месяце беременности.* Просим немедленно указать нам других товарищей, к которым можно обратиться с предложением кооптировать их. *А также желательно опубликовать отношение товарищей к такому поступку Михаила и др.*».

Через три дня Владимир Ильич опубликовал в «Социал-Демократе» статью «Голос» ликвидаторов против партии». Он заявил: Михаилы, Романы и Юрии — враги социал-демократии. Вместе со своими пособниками они ведут теперь прямую агитацию против партии. «Заговор против партии раскрыт. Все, кому дорого существование РСДРП, встаньте на защиту партии!» — призывал Ленин.

Один большевик, который почти дал согласие войти в ЦК, — это Моисей Ильич Фрумкин (по кличкам «Гомельский», «Рубин» и «Германов»), старый единомышленник Ногина по «Рабочему знамени».

Макар встретился с ним, когда получил указание Ленина подыскать двух-трех рабочих в России. Оста-

новились на Романе Малиновском. Он жил в то время в Москве, из Питера его выслали за выступление на съезде по борьбе с алкоголизмом.

Этот токарь по металлу — не то дворянин из Польши, не то крестьянин, рыжеватый верзила с выцветшими глазами на побитом оспой лице, большого доверия не внушал. Был слух, что давненько судили его за кражу со взломом под Варшавой. Но казалось, что он уже искупил эти «грехи молодости». В начале века он был связан с польской партией социалистов. Затем, когда Макар вернулся из Баку, он активно работал в большом и сильном профсоюзе металлистов. Да и в комиссии по рабочим вопросам социал-демократической фракции Государственной думы он заслужил одобрение депутатов.

— Сможет ли работать в подполье этот Роман? — сомневался Макар. — Проявит ли он устойчивость?

— Но кого же еще искать? — спрашивал Фрумкин. — Будем руководить им, поставим на рельсы.

На свою беду, не знали ни Макар, ни Фрумкин, что именно в эти дни их кандидат нанялся в московскую охранку с очень скромным окладом: всего пять червонцев в месяц. А через три недели, когда провалил Макара и почти следом Иннокентия Дубровинского, содержание ему увеличили вчетверо. Еще через два года Малиновский приблизился к Ленину и проник от большевиков в IV Государственную думу. В охранке накопилось тогда пятьдесят семь доносов этого провокатора, и она щедро оплачивала его подлую иудину службу: 6 тысяч рублей золотом в год.

Макар же искал по стране людей для ЦК. Он нашел меньшевика-партийца Владимира Милютина, который энергично выступал против ликвидаторов на сходках и в прессе.

Еще одним членом русской части ЦК был намечен Коба (Сталин). Летом 1909 года он бежал из Сольвычегодской ссылки, работал в Бакинском комитете под кличкой Захара Меликянца и скрывался в Балаханах у Степана Шаумяна. Макар поехал на свидание с Кобой.

На лазурном берегу Каспия и в Черном городе нефтяников он появился в конце марта.

Мертвым лесом так же стояли вышки, по мазутным лужам с гиком бегали голодные ребятишки, а партийные вожаки хлопотали о соблюдении «декабрьского договора» 1904 года. Но снова появился «Бакинский рабочий», и голос его звучал уверенно.

Алеши Джапаридзе не было — он уехал в Ростов и руководил там донской организацией большевиков. Встретил Макара Шаумян. Они сблизились на Лондонском съезде и могли обо всем говорить открыто.

— Знал я вас Вершининым и Макаром, как прикажете именовать теперь? — спросил Степан.

— Петр Дмитриевич Шидловский, прапорщик запаса. Паспорт в полном порядке, — улыбнулся Виктор Павлович. — Но для вас — всегда Макар.

— Так вы опоздали, товарищ Макар: Коба взят вчера. Сейчас он в Браиловской тюрьме, и свидания с ним исключены.

Макар на трех собраниях бакинских большевиков рассказал о январском пленуме ЦК, о вероломстве Михаила, Романа и Юрия и возвратился в Москву.

Фрумкин отказался войти в ЦК. Теперь Макар ожидал со дня на день приезда Иннокентия из Парижа. Но и с ним составлялась лишь «четверка» ЦК: Ногин, Дубровинский, Милютин и Малиновский: пятого, шестого и седьмого не было.

После очередной встречи с Малиновским — на Ходынском поле, в начале мая — охранка ринулась за Макаром. Каким-то особым чутьем подпольщика он уловил, что вокруг него замыкается очередное полицейское кольцо. Стали ему чудиться подозрительные шорохи, вкрадчивые шаги, бегающие глаза филеров. Товарищи из МК забили тревогу: кто-то видел засады на вокзалах, кого-то останавливали шпики у московских застав. Макару посоветовали срочно ликвидировать явочную квартиру у Астрахановой.

13 мая 1910 года он отправился в Проточный переулок получить на квартире новую явку и переписку с Парижем. Навстречу ему попались три лихача с тремя парочками. Он мельком глянул, но не успел

рассмотреть, что увозили на лихачах Ермакову, Астраханову и их подругу Валентину Тихобразову: они были взяты на улице двадцать минут назад.

Он подошел к дому, но предчувствие неминуемой беды заставило его пройтись раз-другой во всю длину переулка. Казалось и удивительным и странным, что в парадное, где жила Астраханова, одиночками и парами входили курсистки. Но никто не возвращался, словно там собиралась сходка, о которой он ничего не знал. Позднее выяснилось, что Астраханова не ждала Макара в тот день и назначила подругам принести ей деньги для студенческой экскурсии на Кавказ. Девушки входили в квартиру, а там была засада.

Дворовые мальчишки — поборники правды и лютые враги всех «легавых» — мигом сообразили, что дело неладно, и устроили свою «засаду». Они кинулись к Макару и стали ему говорить, что в доме полным-полно шпиков. Он сбросил пальто, чтоб удобней было бежать. Но наперерез ему вышли трое, и сопротивляться не было смысла.

Охранка разыграла красивый «спектакль». Пречистенскую каталажку забили курсистками; Ольгу, Анну и Валентину увезли на Малый Гнездниковский, Макара на время отправили в Мясницкий полицейский дом, рядом в камеру приволокли Малиновского.

На исходе дня Макар услыхал, как сосед крикнул ему в открытую форточку:

— Коллега, вы меня слышите?

— Да.

— Придется ли свидеться? Боюсь, что нет. А я и фамилии вашей не знаю. Назовите ее!

— Ногин, — приглушенно ответил Виктор Павлович, еще не догадываясь, что его выдают охранникам.

— Вспомнил! Я вас знаю! Я встречался с вами в Петербурге, интересуясь вопросами социального страхования, — продолжал кричать Малиновский.

— Вы путаете! — Ногин возмутился такой неконспиративности соседа. — Я не знаю вас и никогда с вами не встречался!

Но было поздно.

На допросе Виктор Павлович не отрицал, что он Ногин, благо порочащих документов у него не обнаружили. Он попросил освободить Ермакову, Астраханову и Тихобразову:

— Девушки непричастны — верьте слову вашего давнего «клиента». А Ольга Ермакова — моя невеста. Женюсь, как только убегу от вас!

Ольгу освободили через две недели. Она успела повидать Виктора и принесла ему букет цветов — васильки и петунью. И в тот же день показали ему приговор: снова Тобольская губерния. А в мотивировочной части охранники написали: «Ногин В. П., мещанин г. Калязина, Тверской губ., род. 2 февраля 1878 года в Москве; без определенной профессии, живет исключительно на партийное содержание. Принадлежит к «верхам» РСДРП и является одним из наиболее доверенных и авторитетных представителей заграничного партийного центра».

— Писать вы умеете, — сказал Ногин жандармскому полковнику, — у вас отличные филеры, и боюсь, что нашей выучки — эсдеки-провокаторы... Ну что ж, Тобольск так Тобольск! Это уже родной край!..

Везли Виктора Павловича в кругу уголовников по какому-то нелепому маршруту: поездом — до Самары, пароходом — на Казань и Пермь. Тягостно было в пути, но какую-то радость доставляли книги. Варвара Ивановна подарила ему в дорогу «Изречения» Конфуция. И отчеркнула карандашом место о друзьях: «Полезных друзей три, и вредных три. Полезные друзья — это друг прямой, друг искренний и друг много слышавший. Вредные друзья — это друг лицемерный, друг льстивый и друг болтливый». И приписала на полях книги: «А самый мерзкий друг тот, ежели он предатель. Смотри, Витенька, не завелся ли такой у тебя?» Всех друзей перебрал Виктор в уме. Но такого в Москве не обнаружил.

Ольга передала ему две книги Сванте Аррениуса — «Физика неба» и «Образование миров». Он про-

читал их на этапе и написал Ольге из Тюмени: «По приезде на место я думаю самым серьезным образом засесть за книги. Последствия продолжительного периода, в течение которого я лишь строил планы о том, как буду заниматься, а сами занятия все откладывал, уже чересчур ясны и неприятны, чтобы можно было откладывать дальше... Сколько у меня пробелов, и как много надо наверстывать! Вот, например, читая Аррениуса, я увидел, что не знал самых элементарных вещей, хотя и занимался этим вопросом давно. Правда, у него много новых, оригинальных взглядов, но все-таки как-то не по себе, когда обнаруживаешь свои недочеты. Что делается на белом свете за последнее время? С тех пор как я уехал из Москвы, до меня не дошло буквально ни одного известия обо всем происходящем на земле. Напиши мне вкратце о наиболее интересном».

«Тюремный университет» в Тюмени длился ровно один месяц. 22 июля 1910 года Виктор Павлович был доставлен под гласный надзор полиции в Туринск и на другой день написал Ольге: «Здравствуй, моя милая, хорошая Олечка! Целую тебя крепко и много-много раз. Ну, вот я и «на свободе»: вчера мы прибыли сюда, и вчера же меня освободили. Местом для проживания мне назначили сам «город» Туринск. Исправник мне заявил, что никуда из города он не может меня отпустить, так как за мной должен быть «чрезвычайный» надзор. Я попросил его объяснить, чем такой надзор будет отличаться от обыкновенного, но он отмолчался. В деревне иногда совсем нет ни стражников, ни урядников, ни прочего начальства, а для меня «вследствие моей болезненной склонности к побегам» близкое соседство с начальством считается необходимым, здесь же всякого начальства вдоволь.

Туринск представляет собой нечто среднее между самым плохоньким уездным городишком и большой деревней. Он больше Березова — жителей в нем тысяч около 5-ти, но Березов красивее его. От деревни он отличается тем, что в нем есть не то 6, не то 8 церквей, несколько каменных домов, городской сад, клуб и лавка бо́льших размеров.

Колония ссыльных довольно большая — кажется, около 60 чел., — но мало интересная. Имеется библиотека, но плохенькая. Город стоит на реке Туре, на горе и очень древнего происхождения: когда-то он назывался Епанчей в честь его владельца — татарского князька.

Второй день я на свободе, но что-то чувствуется другое. Хотя строгости по дороге были большие (сравнительно) и переход от этапа и заключения довольно резкий, но у меня еще нет того состояния, которое у меня бывает при действительной свободе. Вот только вчера одно на меня сильно подействовало. Поселился я пока временно у одного товарища; он пригласил меня пить чай «в сад». Последние слова мне показались ироническими для Туринска, но каково же было мое удивление, когда я увидел довольно хороший цветник, весь в цвету. Вот это-то и есть доказательство того, что я на свободе. И сейчас я любуюсь георгинами, гвоздикой, астрами, резедой, табаком и даже розой, только начинающей цвести. Этого ни в одной тюрьме не встретить. Кстати, о цветах: помнишь маленький спор о муксусе? У нас в комнате два горшка с ним; я оторвал два цветочка и посылаю тебе, чтобы ты посмотрела, какие они бывают...»

Виктор Павлович так нежно любил цветы, как любят их люди лишь с чистой душой. И от того букета, что принесла Ольга в Мясницкий полицейский дом, он сохранил один засохший цветок.

В тот день надзиратель сказал с усмешкой:

— Впервой такого чудака вижу: это чтоб в тюрьму да с цветами! Кинь их сейчас же!

— А ты понюхай, страж! Они прекрасны среди этих мрачных стен. В них аромат деревенского лета. Ты огрубел тут и совсем не помнишь, как сейчас на ветру пахнет желтеющая золотая нива! — сказал тогда Ногин.

«Он разрешил взять несколько цветков, — писал Виктор своей Ольге с далекого этапа. — Их удалось мне пронести до Перми, но конвойный нашел их при обыске и выбросил. А когда он отвернулся, я подо-

брал один василек, и, к моей радости, он еще цел...»

Но о цветах и книгах на время пришлось забыть. Виктор узнал, что в селе Коркинском можно достать исправную легкую лодку. Он рассчитал, что будут его искать на большаке к Ирбиту и вряд ли догадаются, что он ушел рекой. Вечером 27 июля 1910 года он снял бритвой усы и бороду, покинул Туринск, перед рассветом сел в лодку и — дерзко, смело — двинулся вниз по Туре к Тюмени. В селе Ермолино он бросил свое суденышко, прямиком прошагал шестьдесят верст до станции Юшалы. И затерялся в вагоне среди пассажиров третьего класса.

А в середине августа в газете «Тульская молва» появилось невинное объявление: «Даю уроки английского языка для начинающих и желающих усовершенствовать свои знания. Сергей Тихонович Атясов, улица Старо-Дворянская, дом Расторгуевой». Ольга приехала к нему в октябре, и они поженились. Но ей пришлось вернуться в Москву — заканчивать обучение на высших курсах Герье. Виктор остался в Туле один.

Жизнь изрядно помотала его. Двенадцать долгих лет, почти без перерыва, провел он в подполье. Какими-то светлыми этапами были Цюрих, Лондон, Женева. Позади остались сорок тюремных камер, шесть ссылок и шесть побегов и сотни беспокойных, ненадежных квартир в Москве и в Питере, в Екатеринославе, Баку, Николаеве, Самаре, Саратове, Киеве, Челябинске, Кузомени, Ярославле, Богородске, Вильно, Назарове, Куоккале, Березове, Туринске, под Дмитровом, наконец, в Туле. Пешком, на лодке, в поездах, на лошадях скрывался он от властей. Был он и Новоселовым и Яблочковым, Самоваровым и Ливановым, Рукиным и Соколовым, Назаровым и Федотовым, Родионовым и Шидловским, Смойли и Родановским. Больше десяти лет звался Макаром. Теперь стал Атясовым. Шел ему тридцать третий год, жизнь все еще не обещала каких-то больших личных радостей. Но он был профессиональным революционе-

рсм, жил для партии и ни о какой другой деятельности не помышлял.

Он писал своей Ольге из Тулы: «Часов шесть читаю Маркса, потом прочитываю газеты, а вечером читаю журналы или беллетристику. В промежутках хожу гулять — часа на полтора-два». Иногда он сообщал, что в числе его учеников два врача и несколько мальчишек. Но никогда не поверял в письмах, даже туманными намеками, чем он занят как член ЦК.

С помощью М. И. Ульяновой Ногин разыскал Фрумкина: он был арестован через неделю после Макара, отсидел двенадцать дней в Арбатской части и теперь скрывался на даче под Москвой. Два раза он был у Ногина в Туле. «Мы оба пришли к выводу, что сделали ошибку, возложив на Малиновского высокое звание члена ЦК, — вспоминал позднее Фрумкин. — Частые встречи с ним убедили нас, что его шатания и неустойчивость, а главное, самомнение и честолюбие совершенно непомерны. Мы решили, под предлогом слежки, отстранить его от «работы».

В эти дни — осенью 1910 года — Ногин передал в Москву, что взамен выбывшего из Думы Головина ЦК выдвигает кандидатуру Ивана Ивановича Скворцова-Степанова. В комиссию по выборам вошли два большевика — Обух и Фрумкин, и два меньшевика — Хинчук и Колокольников. Кандидатуру Скворцова держали в секрете. Малиновский не раз допытывался, кого выдвигают эсдеки, но от него скрывали.

На беду появился другой провокатор — Андрей Поляков, по кличкам в охранке «Кацап» и «Сидор». Он отсидел девятнадцать месяцев в Таганской тюрьме и приехал к Ногину как агент ЦК по связи с думской фракцией.

Виктору Павловичу бросилось в глаза, что, когда он в декабре 1910 года навестил Варвару Ивановну в Сокольниках, рядом с ее квартирой поселился Поляков. Вскоре он подружился с Малиновским. Все это настораживало. Но никаких фактов для обвинения Полякова в провокациях не было.

Он работал активно. И когда появился в Туле у Ногина в первых числах января 1911 года, узнал,

что ЦК выдвигает Скворцова. Не прошло и трех дней, как Скворцов оказался в тюрьме.

Начальнику московской охранки Заварзину сделали выговор из Петербурга. Ему «необходимо указать, — писали из департамента полиции, — что борьба с революционными организациями не должна носить характера борьбы с выборами нежелательных правительству лиц». Шеф полиции объяснял, почему он журит своего рьяного московского сотрудника: «...нельзя допускать в широких общественных кругах мысли о давлении правительственных властей на выборщиков в целях лишения их возможности провести в Государственную думу кандидата, несоответствующего взглядам правительства».

Однако Заварзина не наказали, а Скворцов-Степанов в Думу не баллотировался.

Виктор Павлович предпринял последнюю попытку образовать русскую коллегию ЦК и провести ее пленарное заседание в Туле. Он пригласил сюда группу товарищей, среди которых был и Поляков.

Поляков информировал московскую охранку. Там уже предвидели, как они накроют все это авторитетное собрание. Ногин почувствовал слежку, отменил собрание и решил ехать в Париж.

Но не успел...

29 марта 1911 года в газете «Утро России» появилась сенсационная заметка: «70 арестов. Тула. 28 марта. Ночью жандармерия произвела ряд новых арестов. Арестованы сотрудники «Молвы» Виноградов и Сунчаров, женщина-врач Смидович, сестра писателя. За две ночи арестовано более 70 человек».

Так был взят Атясов-Ногин и его окружение. Арестовали всех, с кем Виктор Павлович поддерживал хоть какие-либо отношения: всех его учеников, торговцев, у которых он покупал хлеб, мясо, овощи, даже парикмахера. «Тульское комитетское дело» прогремело по всей стране.

Дело было так. 23 января 1911 года полковник Заварзин сообщил начальнику Тульского губернского жандармского управления генерал-майору Иеллитефон Вольскому, что у него под носом проживает и

действует член Центрального Комитета РСДРП Виктор Павлович Ногин. «Я направил в Тулу ротмистра Иванова и двух полицейских надзирателей — Лукьяна Дребнева и Никифора Захарова, которые хорошо знают Ногина в лицо», — писал Заварзин.

Поляков не ведал, где Ногин снимает квартиру, и филеры стали искать его на улице. В сферу наблюдения он попал в половине февраля, когда ходил на явку к Марии Смидович и к Гавриилу Линдову. Филеры раскопали, что живет он по паспорту С. Т. Атясова и делает объявления об уроках английского языка, «чтобы отвлечь внимание от себя чинов полиции, которым его проживание в Туле без всякого дела в конце концов могло показаться подозрительным. А кроме того, Ногина могли открыто посещать «ученики», и он мог ходить к ним на дом».

Филеры подтвердили, что 17 февраля 1911 года к нему приехала и поселилась на одной квартире с ним «саратовская мещанка Ольга Павловна Ермакова, 1885 года рождения, находящаяся с ним в незаконном сожительстве». А о приезде ее в Тулу Заварзин был «предварительно ознакомлен по письмам, полученным агентурным путем. Ермакова устроилась на работу в Ваныкинской больнице».

11 марта 1911 года Мария Смидович выезжала на два дня в Москву. Там она посетила несколько квартир, «наблюдаемых охранным отделением. Она решала какие-то партийные вопросы вместо Ногина, который не поехал в Москву из-за боязни ареста».

В эти же дни Иеллита был в Москве и уговаривал Заварзина скорее брать Ногина.

— Вы же его знаете, полковник! Заметит слежку и убежит немедленно!

— Знаю. Но стерегут его работники высшей статьи и ничем себя не выдадут. Брать будем в ночь на 26-е, если не подъедут вызванные им люди. И прошу не портить мне дело, изымайте, генерал, своими силами без всякой ссылки на Москву. У меня наклевывается свое крупное дело.

Иеллита постарался: он наметил для ареста одиннадцать непричастных к Ногину туляков и ре-

шил их взять вместе с группой Атясова, чтобы создать видимость, что действует по своей инициативе.

— Потом принесу извинения, что перестарался. А выпустить никогда не поздно, — рассуждал он.

Ночью с 25 на 26 марта 1911 года Иеллита забрал одиннадцать туляков. Допросил их и отпустил. Задержал лишь студента Владимира Максимовского. Виктор Павлович не зря считал, что этот местный эсдек опасен. Иеллита прямо указывал: «Максимовский оставлен под стражей, так как дополнительный допрос его представляет некоторый интерес в агентурном отношении».

В заслугу себе генерал ставил арест В. П. Ногина, О. П. Ермаковой, доктора Парижского университета Г. Д. Лейтейзена, В. П. Милютина, М. В. Смидович и журналиста Ю. И. Рудзита.

На первом же допросе Виктор Павлович не отрицал, что бежал из ссылки и проживал по чужому паспорту. «Мотивировал он свой побег и переход на нелегальное положение невозможностью по климатическим и иным условиям отбывать административную ссылку в районе Тобольской губернии», — так записали жандармы в протоколе допроса.

На рассвете, при восходе солнца, когда еще спали тульские обыватели, не зная, какой разгром учинил их жандармский генерал в квартирах эсдеков, Виктор и Ольга Ногины прошлись под ручку по всей Туле.

Наступала весна, кричали грачи на березах. Ледок хрустел под ногами. И покрикивали конвойные:

— А ну, давай, давай!..

ЧЕРЕЗ ПОЛЮС ХОЛОДА

...И пошла ссылка седьмая: за Полярный круг. Добирался туда Виктор Павлович ровно год. 23 июля 1911 года этапом на Красноярск — Иркутск отправили его из Тульской тюрьмы. На перевалочный пункт в Верхоянске прибыл он утром 12 июля 1912 года: в трех последних тюрьмах и в трудном пути пришлось провести триста пятьдесят два дня.

У царя почти не было ни одной большой тюрьмы, где бы ни сидел Макар. Товарищи спрашивали его:

— А много ли было этих тюрем?

Он отвечал застенчиво:

— Кажется, пятьдесят.

Красноярская тюрьма была сорок восьмой. За высокой оградой из толстых островерхих бревен, как в старинном остроге времен покорения Сибири, продержали недолго — недели две, пока длился карантин: четверо заключенных заболели тифом.

В первый же день на прогулке встретился Фрумкин: его перегоняли на север Енисейской губернии. Стали вспоминать Москву и разговорились о том, кто их выдал и что могла означать приписка Варвары Ивановны на «Изречениях» Конфуция.

— Вы говорили с ней? — спросил Фрумкин.

— Говорил, правда, мельком. Она указала на Полякова. Показалось ей странным, что в огромной Москве он выбрал квартиру рядом с ней. А потом полиция велела хозяину держать пустым помещение за стеной у него. Туда никто не въехал, но какие-то подозрительные субъекты захаживали каждый день. И можно думать, что там был пункт для филерского наблюдения.

— Кошмар, кошмар! Ну времена, ну нравы! — ахал Фрумкин. — А Малиновский? Он чист как стеклышко?

Долго перебирали в памяти: и почему с таким упорством допытывался рябой Роман о вещах, которые его не касались? И зачем кричал в Мясницком полицейском доме в форточку? И как ему удавалось выкручиваться всякий раз, когда его под конвоем доставляли в охранку?

— Ильич строго спросит с нас, если мы не откроем ему, что грызет нам душу. Такое нельзя прятать от партии, даже если у вас и у меня нет достоверных фактов, — сказал Ногин. — Я подготовлю записку, вы постарайтесь перебросить ее на волю.

До Парижа записка дошла. Два года таился, хитрил, изворачивался Поляков, пока его не вышибли из партии. А год спустя в местечке Поронино у Владимира Ильича «судили» Малиновского. Его исключили из партии за то, что он сложил с себя полномочия депутата Государственной думы. Но всю его иудину подоплеку так и не вскрыли: даже Владимир Бурцев, разоблачивший такого провокатора, как Евно Азеф, категорически заявил, что он считает невероятным провокаторство Малиновского.

В Александровском централе под Иркутском, где со времен декабристов не затихал похоронный звон кандалов, пришлось просидеть девять месяцев. Последний летний этап в Якутск ушел накануне; осенью и зимой не отправляли, надо было дожидаться весны.

В жутком круговороте: «воля» — тюрьма — «воля» — Ногина выручали стойкая выдержка и умение жить в обширном и радостном мире идей. Он мог

замыкаться в себе, уходя в книги на месяц, на год. Так было в Трубецком бастионе Петропавловской крепости, куда не приходила навещать «невеста», куда не доносился голос друга. Но в тюремном быту жарким угольком всегда светилась самая скромная цель: поскорей бы к намеченному месту, где есть относительная свобода. А уж там пламенем полыхала надежда: найдется верный человек, он подопрет плечом, и улетишь ты снова в Москву. В бегах будет будоражить мысль: где, когда и кто укроет хоть на время от филерского сыска? Но помогут товарищи, и снова начнется работа.

А теперь надо ждать еще три четверти года, пока не появится надежда на побег. Сидеть же невмочь: так прочно завязались связи с подпольем партии, с общественной жизнью, с людьми. И внезапный разрыв таких крепких связей — удар жестокий, непоправимый.

И до боли в сердце терзала неотступная мысль об Ольге: ее сослали в Саратов, под угрозой окончание курсов, а через неделю, ну, через две быть ей матерью. И кто-то придет продолжать его жизнь на этой грешной земле: девочка, мальчик? И что сможет посулить судьба ребенку двух ссыльных?..

Раздумья делали Ногина мрачным. Да и книг в тюрьме почти не было, и бестолково сложился быт: ни на миг нельзя уединиться. Знаменитый централ стоял на краю села, среди могучей тайги. Уголовники сидели отдельно и не мешали. Но политических втиснули в две большие комнаты огромной продолговатой избы, и общение между ними было свободным. От тоски по «воле» и от безделья люди слонялись по коридору и по комнатам и с утра до поздней ночи вели никчемные разговоры, ругались и ссорились.

К торцовым стенам избы примыкали две кухни, и тут же были выходы в обширный и пустой двор, огороженный палями — плотно пригнанными вековыми стволами деревьев, более высокими, чем в Красноярской тюрьме.

Готовить харчи надо было самим. Надзиратели

появлялись лишь утром и вечером, когда доставляли дрова и воду и проводили перекличку.

Так прошли осень и зима. 15 мая 1912 года тронулись с места и стали двигаться верст по тридцати в день на тряских телегах по безлюдной Братской степи. Затем пересели на паузки — большие плоскодонные лодки и 10 июня пришвартовались в Якутске.

Арестантская камера в столице Якутского округа была последней, пятидесятой тюрьмой Ногина. Вечером выдали за первый месяц пятнадцать рублей пособия от казны и объявили «назначение».

Почти всех рассовали неподалеку от Якутска. Троим назначили Верхоянск. А цекиста Ногина угоняли на четыре года далеко за Полярный круг, на восемьсот верст севернее Верхоянска, в безвестное урочище Абый.

В полицейском управлении Виктор Павлович обратился к чиновнику:

— Нет ли у вас карты? Хоть бы посмотреть, где этот Абый.

— Карты у нас нет, — ответил тот и добавил с издевкой: — Простите, мы не знали, что вы приедете к нам, и не позаботились получить нужные вам сведения.

— Что ж, я не могу ждать от полицейских чиновников какой-либо предупредительности. Но, право же, я полагал, что они хоть что-либо должны знать о той области, где служат! — отпарировал Ногин.

Светлой ночью погрузили верхоянских узников на открытую палубу баржи — со скотом и товарами — и под проливным дождем потащили на буксире вниз по Лене до устья реки Алдан. Там начиналась бесколесная, неприметная тропа на север — через ручьи и речки, таежные завалы, болота и топи, мхи и лишайники. Тридцать три дня верхом на маленькой лохматой лошади и неудобном седле длилось это путешествие поневоле. Донимали дожди, сухари и хлеб покрылись плесенью и превратились в кислую кашу. Заедал гнус, от которого не спасал даже дым ночного костра. Трижды проваливались в ямы и тро-

гались дальше, не просушив одежды. И компания была ужасная: три-четыре дельца, промышлявшие шкурками и золотом; молчаливый почтальон; тупая стража из местных казаков и товарищи по этапу, не внушавшие политического доверия. На долгих перегонах — от одной сторожевой юрты до другой — подваливали к каравану скотоводы и охотники. Но среди них встречались и такие, которых зримо разъедал сифилис. Единственной светлой минутой была остановка на крутом берегу безыменной речушки, где удалось достать стерлядку и сварить уху.

О приезде сюда Ольги с ребенком и даже о побеге нечего было и думать. У царя-батюшки держались в запасе эти гиблые места на просторах империи, и отсюда не бегал никто.

Почти без сил сошел с лошади Ногин в Верхоянске 12 июля 1912 года. А в Абый, о котором местный исправник знал не более, чем об острове Пасхи, ехать не пришлось. Сам Верхоянск, иронически именуемый городом, с деревянной церковкой, шестью домами под крышей и десятками юрт, похожих на высокие навозные кучи, считался надежнейшим местом для пребывания ссыльных.

И Ногин остался в Верхоянске...

На северной окраине города — а под Москвой бы его не назвали даже деревней — нанял Виктор Павлович за два рубля в месяц одинокую пустую юрту. «Моя вилла в Окаянске», — называл он ее: стены из наклонных бревен, обмазанные навозом и глиной; дверь вроде люка, с порогом выше колен; два небольших проема вместо окон, где летом висит марля от гнуса, а зимой поставлены пластины изо льда — от полярных морозов; нары вдоль стен, как скамьи первого ряда в самом захудалом цирке; ветхие доски пола и камелек из круто замешанной глины, с прочным остовом из прутьев.

Срочно превратился Ногин в плотника и печника, штукатура и стекольщика — уверенно подступала зима: 5 августа замелькали в черном небе первые звезды после ясных и светлых ночей полярного лета, через десять дней выпал снег. В дневнике записал

Виктор Павлович 15 августа 1912 года: «Вспоминаются саратовские жары, и как-то странно встречать зиму так рано». И приписал: «Горюй не горюй, ахай не ахай, а жить тут придется. И надо постараться изолировать себя от всего здешнего». Он имел в виду маленькую колонию ссыльных, в которой не было ни одного эсдека, местных властей — исправника и судью, и тех якутов, что не знали ни слова порусски.

Только один пожилой якут Афанасий нашел дорогу на Макарову «виллу» и помогал «доброму ссыльному» коротать без душевной тоски первую полярную ночь. За корками хлеба изредка прибегала глухонемая дочка соседа Сыбдыра: грязная, с гноящимися глазами, растрепанная. Она царапалась в дверь, как кошка, издавала какие-то дикие звуки, с удивлением осматривала книги, прятала корки в замусоленный карман ветхой оленьей шубы и убегала. Да заглядывал поговорить или просто помолчать отец диакон Кондинский — человек пожилой и словно не от мира сего: с удивительно ясными детскими глазами и с душой ребенка. Он был единственный русский человек, не помышлявший о грабеже местных жителей. И о нем никто не мог сказать в осуждение ни одного слова.

— Святой или чудак! — посмеивались хищники, обделывавшие всякие делишки в этой окраинной российской глуши...

Со снегами и первыми морозами растеклась повсюду удивительная, неизмеримая тишина — тишина космоса. Люди похоронились по домам и юртам. Ни петух, ни собака не подавали голоса — никто не держал тут эту живность. В одинокой «вилле» у края низкорослого леса круглые сутки горела свеча, трещали дровишки и подвывал рвущийся наружу огонь камелька. В нагретом спертом воздухе разламывалась голова, а за юртой этот воздух казался обледеневшим. И хотя там нередко разноцветной россыпью полыхало северное сияние, смотреть на него не было сил: стыла душа. И Ногину часто казалось, что живет на другой планете или сидит в таком подземелье,

куда не долетают привычные, родные звуки, шорохи и шумы.

Иногда подступала тоска, и он тянулся к людям. Как-то зашел к Афанасию и увидал грошовую картинку, изданную к юбилею 1812 года. Клубился белый дым над полем Бородинским; на окраине Москвы, в Филях, сидел кривой Кутузов в белых лосинах, в расстегнутом мундире; в горящем Кремле стоял сложа руки на груди Наполеон в треуголке, с округлым брюшком, прикрытым белым жилетом; и Александр I въезжал в Париж на белом коне. Всюду белый цвет подчеркивал величие событий, как и здесь, в белом безмолвии полярной ночи.

В дневнике Ногин записал: эта грошовая картинка поразила его — не содержанием, конечно, а самим фактом своей конкретности. Значит, где-то далеко-далеко праздновали это событие, и там тоже были такие картинки, и одна из них просто чудом попала сюда — на край земли, за черту жизни. «Но как все это не вяжется со здешней обстановкой!»

Морозы докатились до шестидесяти градусов, и мертвящая тишина кончилась. Хрустальными подвесками зазвенели ледяшки на быстрой Яне, пушечными ударами отметил свою осадку набирающий силу ледовый панцирь реки. И с грохотом, гулом стала трескаться превратившаяся в лед земля.

Не мог и догадываться Ногин, что так удручающе подействует на него полярное одиночество в Оказянске. Пропал сон, трудно стало двигаться. Потом в полуяви начали мучить сновидения. Картины пережитого возникали сполохами, как сияние за стенами юрты. Длинной чередой проходили старые товарищи. И почти каждую ночь навещали его Варвара Ивановна и Ольга. «Сегодня видел во сне тебя, — писал он жене. — Но только радостные впечатления настолько перемешались с тяжелыми, что во сне я плакал навзрыд». Днем невыносимой казалась мысль, что еще три года придется прожить вот так. Но «отдать себя этому настроению, развить его — значит отдаться отчаянию, а я этого не хочу!..»

Тоска бродила рядом: задевала, манила, оболь-

щала, преследовала. А волевой человек стискивал зубы, гнал ее прочь. «Я этого не хочу!» — глухо раздавался голос под куполом юрты. Он заставлял себя подолгу сидеть на морозе, отмечать движение мерцающих звезд и колебания, переливы сияния над горизонтом от запада до востока. Так хотелось понять и объяснить эту красивую загадку природы!

Он узнал, что сына зовут Владимиром: Владей называл его в дневнике и в письмах. На столе стоял теперь портрет жены и маленького мальчика в меховой шубке. Он возвращался в юрту и писал им в дневнике: «Ну, буду ложиться. Спокойной ночи, моя дорогая, милая, целую долго, долго. Целую Владю». А по утрам добавлял: «Ты не думай, что я только прощаюсь с тобой вечерами; нет, каждое утро все время нашей разлуки я здороваюсь с тобой».

Почта приходила раз в месяц, исключая те недели, когда продолжался ледостав осенью и водополье весной. Тогда письма из Москвы и Саратова добирались лишь на сотый день. И только в декабре 1912 года дошли до Ногина две страшные вести — о Ленском расстреле и трагической гибели старого друга Ивана Бабушкина. «Мы живем в проклятых условиях, — читал Виктор Павлович статью Ленина в «Рабочей газете», — когда возможна такая вещь: крупный партийный работник, гордость партии, товарищ, всю свою жизнь беззаветно отдавший рабочему делу, пропадает без вести. И самые близкие люди, как жена и мать, самые близкие товарищи годами не знают, что сталось с ним: мается ли он где на каторге, погиб ли в какой тюрьме, или умер геройской смертью в схватке с врагом. Так было с Иваном Васильевичем, расстрелянным Ренненкампфом. Узнали мы об его смерти лишь совсем недавно».

И вспомнилась Ногину дача «Ваза» в Куоккале в феврале 1907 года. И как он добирался туда с Покровским и Иннокентием; от станции вправо, к лесочку, домик возле опушки. Во входную дверь надо было постучать и сказать негромко: «Я хочу видеть Ивана Ивановича». И Ленин — в русской рубашке

без пояса, возле горящей печки, в руках недлинная кочерга. И недоуменный вопрос Ильича в тот день: «А где же Иван Васильевич?» Словно все это было на иной планете и не меньше ста лет назад.

И этот не укладывающийся в голове расстрел в Бодайбо: жандармский ротмистр Терещенков отдает приказ; залпы в мирную демонстрацию стачечников; убито и ранено пятьсот двадцать человек. Даже Кровавое воскресенье бледнеет перед такой расправой. И обойдется она царю, обойдется новой волной революции! Об этом уже говорит новая газета большевиков — легальная питерская «Правда». И Ленин отмечает в ней новый революционный подъем масс.

Пестрят сообщения и о том, что скоро династия Романовых начинает юбилейные торжества. Триста лет сидят цари на хребте у великой России. Помпезных праздников ждет обыватель, как тогда — в дни коронации. А что принесет сия шумиха многострадальной семье каторжан и ссыльных? «Уж очень не вяжется мысль о досрочном возвращении со всем тем, что приходится читать о направлении «внутренней политики», — писал Виктор Павлович жене.

Но все эти сообщения и целый транспорт книг, доставленный, наконец, ему с родины в Окаянск, встрепенули и вывели его из состояния «полярной спячки». «Я снова живу запасом той энергии, которая создается мыслью о том, что все мои тяготы временные».

К большой досаде, масса времени уходила на поддержание тепла и чистоты, на кухню, на починку одежды и штопку носков. А ведь он не мог ходить по грязному полу, пить из немытого стакана, варить суп в нечищеной кастрюле; не мог видеть дыры на локтях, коленях и пятках и не мог не менять белье после бани, которую устраивал в своей юрте раз в неделю.

Стали появляться мысли: не так уж далеко и до обратной дороги. А нет денег: нельзя отложить и рубля при здешней дороговизне от грошового по-

собия от казны. И надо учиться, учиться так, как было и на Шпалерной и в Ломже!

И вдруг не стало хватать времени, которое высвобождалось от сна, еды и возни по хозяйству.

Окаянский почтарь попросил заниматься с ним по-английски. Согласился! Двух детей исправника надо было репетировать за курс городского училища. Взялся! Теперь он мог откладывать три-четыре рубля в месяц на желанную дорогу домой. А чуть выпадал час-другой, совершенствовал себя во французском языке и штудировал научные книги.

Начал он с большого этнографического тома польского писателя Вацлава Серошевского «Якуты». Серошевский пробыл в Верхоянске четыре года и написал очень интересное исследование о быте, нравах и религиозных воззрениях якутского народа. Очень понравилась Виктору Павловичу страстная книга Ильи Мечникова «Сорок лет искания рационального мировоззрения». Затем он познакомился с исследованиями Трельса Лунда «Небо и мировоззрение в круговороте времен» и Вильгельма Оствальда «Энергетика».

Одновременно он прочитал и ряд книг по вопросам общественным: Энгельса «Положение рабочего класса в Англии», Гильфердинга «Финансовый капитал», Гвоздева «Записки фабричного инспектора» и Гиэне «Лекции об искусстве».

У него были теперь газеты: «Русские ведомости», «Звезда», «Правда», а иногда и «Руссское слово». И журналы: «Современный мир», «Русское богатство», «Природа», «Просвещение» и «Наша заря».

Зимой доставили в Верхоянск эсера Зензинова. Он подарил Ногину шеститомный роман великого английского писателя Генри Филдинга «История Тома Джонса, найденыша» на английском языке. «Я был прямо поражен тем эффектом, который эта книга произвела на меня. Я прямо не помню другой книги (беллетристики), которая оставила бы такое впечатление», — записал он в дневнике. Критика нравов, глубокий юмор, созвучный юмору Мигеля Сервантеса, обличения, временами саркастические;

детали быта, тонкие диалоги, крепкий сюжет и прекрасная реалистическая основа — словно свежим ветром внеслись в закоптелую, угарную «виллу» Виктора Ногина.

Зензинов был эсером по наитию, террористом по убеждению и превеликим путаником в вопросах политики. Спорить с ним не было смысла. Но в одном он был человеком умным: любил и хорошо знал язык бриттов. На этой почве они и сблизились. И вместе прошли отличную школу беглой разговорной английской речи. Да и книг у Зензинова было много: лондонские издания Марка Твена, Оскара Уайльда, Джека Лондона и Редиарда Киплинга. И Виктор Павлович перечитал их.

Потом пришло известие, что Николай Романов сократил ему срок ссылки на один год по случаю трехсотлетия своей царственной династии. Надо было через короткое лето и еще одну долгую зиму готовиться в дальний путь, домой — за 9 тысяч верст.

В дневниках замелькали итоговые записи: нигде не приходилось ему быть в условиях более трудных, чем в Окаянске; ломала, давила его хандра; работал он над собой не так, как хотелось, временами опасался, что одичает. Но остался позади этот «порог отчаяния». «Жизнь опять вышла могучей волной на большую, верную дорогу, и я бодро смотрю вперед».

И нелюдимый ссыльный в первый же весенний день 1913 года далеко ушел от Окаянска и обратился с маленькой речью к... лошадям. «Сегодня ветра нет, и вечером я ходил гулять. Был в великолепном настроении и хотел хоть как-то проявить его. Но никто из товарищей не отважился прошагать десять верст по весеннему насту. И я потолковал с лошадьми, которые обступили меня, когда я проходил по пастбищу. Они ведь здесь ходят без пастуха всю зиму, добывая корм из-под снега. Мохнатые, обросшие длинной шерстью, они весьма своеобразны. Видно, им тоже не очень весело, и они заинтересовались мною, потому что человека видят не часто...»

День за днем стали появляться в письмах

и в дневниках соображения о том, как сложится жизнь после ссылки. Он отбрасывал всякую мысль о мещанском благополучии семьи: никак оно не совмещалось с самым дорогим для него — с кипучей работой для революции. Он начал говорить «о возможной разлуке по той или другой причине» и просил жену понять его правильно: слишком дорогой ценой оплачивал он приближающуюся победу рабочего класса. И до окончательной победы революции не будет знать ни минуты покоя.

Не «исправила» его окаянская ссылка. Был он гнут и мят в пятидесяти тюрьмах. Но и гнутым и мятым оставался он большевиком. «Не скучай, моя милая, не унывай, — писал он жене 2 июля 1913 года. — От того ужаса жизни, который называется пошлостью, от бессодержательности жизни нам с тобой хватит сил спастись!..»

Он признавался, что постарел. В Тульскую тюрьму вошел он в расцвете сил — молодым, с несокрушимой энергией борца. Из верхоянской ссылки собирался в дорогу с серебристыми нитями в каштановой шевелюре.

«Годы, проведенные здесь, отнимают жизнь; в лучшем случае, они калечат человека, — писал Виктор Павлович в своей книге «На полюсе холода». — Из-за этих скованных морозом безграничных пространств выглядывает смерть, и всем, невольно попавшим сюда, приходится посмотреть ей в глаза. И счастлив тот, кто, взглянув в ее лицо, найдет в себе отклик тому призыву жизни, который приходит к нему с известием о возможности вернуться.

Таким счастливцем считал себя и я, и были понятны та тоска и зависть, с которыми смотрели на мои сборы те, кому предстояло прожить тут еще несколько лет...»

Окаянск остался позади. С детской радостью встретил Виктор Павлович яркие фонари Якутска. И бросился разыскивать дорогих ему людей в столице округа.

Старый друг Ногина — еще по Лондону, в 1907 году — Емельян Ярославский вспоминал: бы-

ло еще темно, когда послышался во дворе звон почтового колокольчика, скрип полозьев по снегу и говор — якутский и русский. Около нарты стояла высокая фигура — заиндевевшая, осыпанная снегом. При свете луны и ярких звезд не трудно было узнать Макара. Емельян ждал его со дня на день, вел с ним переписку и хлопотал о разрешении ему переехать в Якутск несколько раньше конца ссылки.

Макару дали светлую комнатку в краеведческом музее, где Емельян состоял хранителем, и он с жадностью накинулся на новые газеты и журналы.

А через неделю он вместе с Ярославским оформлял партийную организацию в Якутске: там было до полусотни большевиков и меньшевиков. И разработал устав местного комитета РСДРП. Его обсуждали на сходке в сосновом лесу, за кладбищем, где покоились товарищи — либо казненные, либо умершие от тяжелых лишений, либо наложившие на себя руки от безмерной тоски.

1 мая 1914 года праздновали общим собранием ссыльных в лесу, у ярких якутских костров из сухой лиственницы, на брусничном ковре, с которого только что сошел снег. Макар с тревогой говорил о возможной войне и призывал крепить интернациональные связи рабочих всех стран.

8 июня дали Макару в якутском городском полицейском управлении «Открытый лист». И при этом листе: «Калязинскому мещанину Виктору Павлову Ногину (лет 36, рост 2 арш. 9 в., волосы — русые, брови — тоже, глаза — серые, без особых примет) надлежит следовать в распоряжение иркутского полицмейстера. Выдано ему на кормовое довольствие от гор. Якутска до гор. Иркутска 8 р. 25 к. На прогоны от селения Усть-Нуда до гор. Иркутска — 27 р. 52 к. и на уплату государственного десятикопеечного сбора 1 р. 50 к., всего 37 р. 27 к.».

Вечером 9 июня, ожидая пароход, Макар и Емельян последний раз гуляли вместе в окрестностях Якутска и завернули к горушке Чечур-Муран.

Виктор Павлович говорил много и оживленно. И по всему было видно, отмечал Емельян, что едет

он к дому не на отдых, а на новую тяжелую работу. Здоровье его казалось надорванным, но дух не сломлен.

Близко к ночи пароход «Тайга» отвалил в сторону Иркутска.

Через месяц Варвара Ивановна — друг верный и нежный — плакала от радости на груди у своего любимого, желанного Виктора. И ему было не по себе при виде доброй и ласковой матери, заметно постаревшей за годы разлуки. За последние шестнадцать лет изведала она много печали и горя, потому что слишком густо была заполнена жизнь ее любимца арестами, тюрьмами и ссылками. Он обнимал плачущую мать и приговаривал по-детски:

— Не надо, мама! Я жив, я побуду с вами, хоть немного, но побуду, вот увидите!

Но в Москве ему жить не разрешили. Он получил паспорт в Калязине и уехал к жене в Саратов.

СИМВОЛ ВЕРЫ БОЛЬШЕВИКА

Виктор Павлович никогда не видел писем и дневников Феликса Эдмундовича Дзержинского. Когда эти свидетельства чудесной жизни большевика стали достоянием читателей, и Ногин и Дзержинский уже покоились рядом с мавзолеем их великого учителя возле кремлевской стены.

Но два изречения пламенного Феликса удивительно точно отвечали его суровой жизненной правде:

«И действительно, кто так живет, как я, тот долго жить не может. Я не умею наполовину ненавидеть или наполовину любить. Я не умею отдавать лишь половину души. Я могу отдать всю душу или не дам ничего».

«И все движется вперед: путем печали, страданий, путем борьбы совести, борьбы старого с новым, путем смертей, гибели отдельных жизней... и из этого всего вырастает чудесный цветок, цветок радости, счастья, света, тепла и прекрасной жизни».

Круто менялись обстоятельства; на больших поворотах предавали партию вчерашние ее друзья; провокаторы делали карьеру, раскрывая охранке неутомимого Макара; жизнь давила его полицейским прессом, в тюремном аду и в глухом подполье слишком мало знал он простых житейских радостей.

Но всегда светила ему заря пролетарской победы. И ни разу он не подумал: стоит ли жить? Стоит ли подвергать сомнению правоту своего дела? И никогда не был несчастлив, потому что не знал, что такое эгоизм, себялюбие, расчетливость, забвение товарищей, друзей по классу, матери и семьи.

Таким он и раскрывается в одном из писем Сергея Андропова на имя Софьи Николаевны Мотовиловой.

«Ты противопоставляешь мне В. П. Ногина. А разве я не страдаю, что у меня нет того, чего у него так много?

Мое междуклассовое положение наложило неизгладимый отпечаток на мою психику. Сравни детство мое и Виктора Павловича. Уже в 12—13 лет я с замиранием сердца слушал «Каина» и «Манфреда». Представь себе мягкую гипсовую маску в руках художника, который придает ей какую угодно форму, пока она не затвердела. И в те годы вполне сформировалась моя душа. Пьер и Андрей Болконский сделались в моей юности спутниками моей жизни, пришли уже на готовую почву... А разве для Байрона, для Пьера и Андрея Б. не важно было только их «я»?

А В. П.? Он все детство провел на фабрике. Его душа сформировалась при грохоте машин, он видел жизнь в самых непривлекательных ее формах... Он сам не помнит, что дало ему первый толчок, но, когда мысль его стала работать, она перерабатывала тот материал, который давала ему окружающая жизнь, и выковывала идеал тоже вполне определенный, реальный. Мы оба дали в юности, вернее — в детстве, аннибалову клятву, но как различно было ее содержание...

Я искал связи с рабочими, потому что думал, что там я лучше всего проявлю свое «я». Мне хотелось довести дело до забастовки (сразу на нескольких заводах за Невской заставой), потому что это казалось красивым; сама борьба, а не конкретные требования рабочих были важны для меня.

Я пришел к В. П. Он дал мне тетрадку, в кото-

рой он самым подробным образом рассказал про жизнь их завода и выставил много требований. И не мудрено: в то время он сам был на этом заводе, он почти жил на нем (так как в то время работа продолжалась часов 11—12), а работа его заключалась в том, что он залезал под машины, котлы и т. д., а я в то время думал о чем угодно, только не об этих мелочах заводской жизни.

Я помню, в Красноярской тюрьме В. П. подробно рассказывал о жизненных условиях рабочих в различных государствах. Он так подробно говорил об этом, приводил столько цифр, с такой любовью рассказывал. Он прочел много книг о положении рабочих в различных странах, он, вероятно, переживал каждую страницу, читая эти книги: ведь в них рассказывалось про самое дорогое дело его: он сравнивал эти факты с тем, что знал из собственной жизни. А я? Я никогда в жизни не прочел ни одной такой книги. Я не читал даже Вебба. Сидя в тюрьме, где такая масса книг по этой отрасли, я брал себе хотя бы трактат по сравнительному языковедению, но только не по рабочему вопросу. В. П., чему я в то время очень поражался, рассказывал подробно о том, сколько кубических футов воздуха приходится в среднем на каждого рабочего в его жилище в разных странах, сколько жильцов в одной комнате.

Так было и во всем дальнейшем. После амнистии (1905 года), когда В. П. и я принялись интенсивно за работу, характер этой работы был глубоко различен, хотя мы оба большевики. В. П. весь отдавался профессиональному движению рабочих, внося в него революционный дух. Он опять-таки погрузился в действительность, стал изучать что есть, чтоб из этого строить дальше. И он так подробно изучил это что есть, что он стал среди большевиков одним из лучших знатоков этой действительности. К нему обращались за справками и советами. А я, как и многие другие большевики-интеллигенты, увлекся красочной стороной развивающихся перед нами событий. Я выработал в то время план восстания (в Ростове-на-Дону). Ко мне в мою комнату

каждый день к 12 часам стекалось много народу, и мы обсуждали, как захватить оружие, устроили лекцию о приготовлении взрывчатых веществ. И мне казалось, что жизнь моя имеет смысл, я устраивал типографии, добывал деньги, звал рабочих на митинги, на которых раздавались все те же речи о восстании.

Я помню горячий спор с Мих. Вор. (Смирновым) после подавления ростовского восстания по поводу выборов в Думу. Мне казалось изменой революции, мещанством, обыденщиной принять в них участие. И я ли не один так думал?

В мои годы совершенно невозможно переделать себя, интеллигент во мне останется до конца. Значит, пользы от моей жизни будет очень немного. А В. П. проживет свою жизнь с большим смыслом. Правда, мне гораздо труднее жить, чем В. П. Он берет готовые формы жизни. Его идеал можно ощупать руками, и т. к. работа в этом направлении соответствует самым жизненным его запросам и вполне отвечает его натуре, его нравственному складу, то все это выходит естественно и просто. Мои учителя — люди слова, а не дела, все люди с гипертрофированным «я». Они видят сны, мыслят символами. Их идеал для них самих в тумане.

Самое сильное было для меня мое первое переживание — Манфред, а чему он учит? В. П. думал постоянно, как бы лучше сделать то дело, которое для него совершенно ясно, и он скорбит, что у него мало знаний. Я же думаю: где то дело, где та жизнь, где не чувствуешь себя Каином?

Ты раз обидела В. П., сказав ему, что на него похоже бывать в кинематографе. А на меня не похоже. И это верно относительно нас обоих. В. П-чу дорого дело, а дело не пострадает, если он пойдет в кинематограф. У меня же просто был протест против себя, потому что для меня вся суть в переживаниях. Вот в симфонических концертах я наслаждаюсь, потому что здесь я чувствую себя в мире абсолютно прекрасного. Если же пойду в народный дом, где я все-таки могу слушать Вагнера, Римского-

Корсакова, то там я интенсивно страдаю и выхожу измученным, и это ничуть не преувеличение...

В. П. берет готовым весь громадный опыт, накопленный веками в разных странах тысячами людей, мне же приходится всю работу брать на себя, искать выхода, не имея перед собой ни одного образца. Жизнь В. П. красива, моя же уродлива».

Но Макар не выносил дифирамбов.

Он написал Мотовиловой большое письмо. И сделал в нем приписку: «Я чувствую себя несколько неловко: уж очень Вы расхвалили меня».

Ему бы хотелось скрыть и от жены и от матери, что верхоянская ссылка почти доконала его. Но скрыть не удалось: резко обострились боли в желудке. И без врачебной помощи жены и заботливого ухода Варвары Ивановны он не мог бы встать на ноги, чтобы снова ринуться в гущу жизни.

Нежно любил он жену и сына. И какое-то время не расставался с ними. И словно превращался в мальчишку, когда гулял или играл с Владиком.

Частым гостем в семье была Варвара Ивановна. Она приезжала в Саратов и появлялась под Серпуховом, куда переводили по службе Ольгу Павловну Ногину.

Долго, очень долго мечтала Варвара Ивановна именно о такой жизни: быть рядом с сыном, видеть его всегда, а не по ночам и украдкой; говорить с ним, помогать ему. И, конечно, нянчить внука.

Никогда она не сомневалась в том, что сын ее любит — ласково, нежно. Видела это она в письмах, и в мимолетных сердечных встречах, и в знаках внимания, которыми он окружал ее в детстве, и в юности, и сейчас. Она готова была идти за ним на край света и порывалась ехать в Верхоянск. Виктор поначалу упрашивал ее не покидать Москву. А потом заявил категорически, что не позволит ей испытывать непосильные тяготы путешествия за Полярный круг. «Я не могу допустить, мама, чтобы Вы

страдали вместе со мной в кособокой «окаянской вилле», — писал он ей из последней ссылки.

Виктор с удивлением и радостью обнаружил, как Варвара Ивановна тянется к его интересам и понимает их по-своему правильно.

— Маму не узнать теперь, — сказал он жене, когда добрался до Саратова после ссылки, — она так здорово рассуждает о войне, интересуется политикой. Ты не поверишь: к моему возвращению у нее висел в комнате портрет Карла Маркса! И это меня тронуло.

Варвара Ивановна давно выбросила из головы всякий «калязинский мусор», о котором писал ей сын из первой тюрьмы на Шпалерной. Она читала газеты и книги и выполняла поручения Виктора по связи с московскими товарищами: привозила литературу и адреса. И появлялась всякий раз, когда без нее было трудно. И, разумеется, приехала летом 1915 года, когда у сына и у невестки родилась девочка — Оля.

Партия разрешила Ногину легализоваться. Он мог теперь жить открыто, по своему паспорту, не разлучаясь с семьей. Но саратовские большевики избрали его в свой нелегальный комитет. А вскоре такое же решение приняло и Московское областное бюро. Товарищи звали его работать. И непродолжительный отдых и «семейная идиллия» закончились разом.

Макару подыскали место в саратовской управе, а затем во Всероссийском бюро труда беженцев и в правлении общества «Кооперация». Но как только Макар расправлял крылья, призывал выступать против войны, развязанной империалистами, и его сотрудники заявляли о симпатиях к большевикам, начинались репрессии. Бюро труда беженцев разогнали военные власти, из управы и кооперации пришлось уйти под угрозой ареста.

Виктор Павлович решил заняться литературной деятельностью. Вместе с Михаилом Ольминским, Сергеем Мицкевичем и Георгием Ломовым он создал в Саратове легальную «Нашу газету». Между строк

в ней стали появляться призывы против грабительской войны. И через десять недель газету прикрыли.

Со Скворцовым-Степановым и с Ольминским образовал Ногин в Москве «Литературное общество», связанное с Русским бюро ЦК. Три большевика подготовили сборник «Прилив», который должен был открываться статьями Ленина и Свердлова. И под маркой этого общества задумали опубликовать воспоминания Ногина о верхоянской ссылке «На полюсе холода». Виктор Павлович написал острую очерковую книгу, Горький прочитал ее, горячо одобрил, поправил и подписал в печать. Но сборник получился антиправительственный, книга дерзко приоткрывала завесу над карательной политикой царских властей. И оба издания смогли увидеть свет только после революции.

Макар наотрез отказался от партийного содержания. Нелегальные комитетчики, связные и агенты ЦК еле-еле сводили концы с концами. «Правда» была закрыта в столице восьмой раз, и, наконец, ей учинили полный разгром. Надо было собирать по стране деньги для газеты и типографии. И Макар не считал возможным взять из партийной кассы хотя бы грош.

Но была семья. Да и разъезды по области с докладами на тайных рабочих сходках требовали расходов. И пришлось вспомнить об «отхожем промысле бегающего революционера». Так появился в Москве еще один переводчик с английского.

Софья Мотовилова указала на расторопного студента, который «сам языков не знает, но умеет добывать переводы». Через этого студента познакомился Ногин с интересным человеком — Владимиром Антиком: в своем издательстве «Польза» он печатал карманную «Универсальную библиотеку». Маленькие книжечки в желтой обложке пользовались спросом. Антик выпустил уже более тысячи названий по цене в один гривенник и подбирал авторов со вкусом: русский читатель познакомился с лучшими произведениями классиков Старого и Нового Света. Правда, Антик отдавал дань и писателям низкого пошиба,

вроде Арцыбашева и Измайлова. Но это была уступка моде, малоприятный «довесок» для обывателя.

Виктор Ногин напечатал в «Пользе» рассказы Джерома Капка (Джерома) «Человек, который не верил в счастье», избранные «Новеллы» Джона Голсуорси и повесть Герберта Уэллса «Человек-невидимка».

Но это был последний эпизод в дореволюционной жизни большевика.

Наступил героический 1917 год. И новый вихрь революции вскинул старого подпольщика на высокий кипящий гребень.

Иногда Ногин жалел, что в такие дни нет с ним старых друзей, с которыми начинал он первую свою стачку у Паля и Максвеля двадцать лет назад.

Ольга Звездочетова умерла в 1913 году — просто нелепо, от скарлатины. Она успела заявить о себе в литературе: ее хорошие рассказы для детей довольно часто печатались в журналах.

Сергей Андропов в годы реакции ушел от революции. Он закончил университет и занимался метеорологическими исследованиями в Средней Азии. Давно он разорвал дружбу и с Софьей Мотовиловой. Но она с глубоким сочувствием переживала его «трагическую судьбу». И возмущалась, что совершенно опустился такой человек. Живя в Верном, он бывал на званых обедах у управляющего казенным имуществом, поддерживал дружбу с вице-губернатором, а губернаторше даже аккомпанировал на концерте с эстрады, очевидно патриотическом. «На меня нашел ужас, когда я узнала об этом», — писала Софья Николаевна.

Сергей Цедербаум все последние годы редактировал меньшевистские газеты и журналы «Возрождение», «Жизнь», «Дело жизни», «Луч» и превратился в откровенного агента буржуазии в рабочем движении. С апломбом судил он о событиях с позиций оборонца. И затевал в Петрограде новую газету меньшевиков «Вперед».

— Что за люди! — возмущался Ногин. — Даже названия сами придумать не могут: все крадут у большевиков!

Сильно размежевало время бывших друзей. И Сергей Цедербаум-Ежов превратился в вечного «спутника» своего старшего брата Мартова, которому тоже не суждено было стать революционной «планетой».

Все другие московские друзья, кроме Ольминского, Скворцова-Степанова и Петра Смидовича, отбывали каторгу или ссылку. И четырем «старикам» пришлось взвалить себе на плечи проведение крупной московской стачки 9 января 1917 года. Голод, военные поражения, разруху, «распутинщину» — все вспомнили в этот день, когда над колоннами демонстрантов полыхали красные знамена с лозунгами: «Долой войну!», «Долой царскую монархию!»

25 февраля всеобщая стачка охватила предприятия Питера. Воззвание петроградских большевиков нацеливало рабочих на решающий бой с царизмом:

«Всех зовите к борьбе! Лучше погибнуть славной смертью, борясь за рабочее дело, чем сложить голову за барыши капитала на фронте и чахнуть от голода и непосильной работы. Отдельные выступления могут разрастись во всероссийскую революцию, которая даст толчок к революции и в других странах.

Впереди борьба, но нас ждет верная победа! Все под красные знамена революции! Долой царскую монархию! Да здравствует 8-часовой рабочий день! Вся помещичья земля — народу! Долой войну! Да здравствует братство рабочих всего мира!»

Царь отрекся от престола. Февральская революция буквально опьянила Ногина. Он теперь открыто общался с массами, жил в радости, без конца выступал на митингах.

Вечером 27 февраля состоялось первое заседание Петроградского Совета рабочих депутатов. 1 марта Ногин выступил с предложением сформировать Московский Совет.

Меньшевики, которые легализовались давно и все жили мечтой о политической карьере; эсеры, отка-

тившиеся от революции в годы реакции и войны, — все эти оборонцы и соглашатели, не тронутые охранкой и военной разведкой, разом выкатили на улицы и стали кричать о долгожданной свободе. И находились люди, которые слушали их, как пророков. И противостоять им маленькой кучкой ленинцев в Совете было почти невозможно.

В Петрограде во главе Совета стал меньшевик Чхеидзе. Посты товарищей председателя получили меньшевик Скобелев и трудовик Керенский. Но этот будущий диктатор скоро переметнулся к правым эсерам, где идейным вождем признавали «бабушку русской революции» Екатерину Брешко-Брешковскую, которой тогда исполнилось семьдесят три года.

В Москве председателем Совета тоже стал меньшевик — Лев Хинчук. Но большевики сумели отвоевать пост товарища председателя для Виктора Ногина.

Он теперь просто жил в Совете — в монументальном здании у Воскресенских ворот, которое построили двадцать лет назад для городской управы на месте знаменитой долговой «ямы», где частенько сиживали герои комедий Островского. Один лишь раз пришлось здесь побывать Макару до революции, когда он выступал перед «отцами города» в защиту Ваньки Жукова.

Неукротимую энергию и талант организатора принес в Совет старый подпольщик. Он торопился сделать то, что откладывать нельзя было ни на миг: выпускал из тюрем товарищей, сменял царских судей, формировал отряды рабочей милиции, реквизировал запасы муки и продовольствия для выдачи населению.

Беспокоили его какие-то странные вести из Петрограда: меньшевики и эсеры из столичного Совета дали Временному комитету Государственной думы полномочия образовать буржуазное правительство.

Макар с депутацией московских рабочих выехал в столицу и на заседании Петроградского Совета произнес гневную речь:

— Московские большевики не желают призна-

вать Временное правительство! Почему вы не берете власть сами? Почему вы идете на недопустимые уступки господам, которые предадут вас на полпути? Зачем нам две власти в стране, когда Советы опираются на солдат и рабочих и могут быть исполнителями их воли?

Чхеидзе завел речь о государственном аппарате, который будто бы не намерен выполнять распоряжений Совета. А без этого аппарата управлять страной нельзя.

— Мы не можем опираться на людей, которые завтра объявят нам саботаж. И кто будет командовать армией и вести войну? Уж не большевики ли из Московского Совета?

— Войну надо кончать! — сказал Ногин, но его голос потонул в дружном хоре подпевал господина Чхеидзе.

А Временное правительство тем часом уже распределяло портфели. Премьером стал помещик, земский деятель князь Львов. Кадет Милюков, октябрист Гучков, капиталисты Коновалов и Терещенко получили наиболее важные места в кабинете. Министр юстиции Керенский, обеспокоенный опасными настроениями в Москве, явился 7 марта на заседание Московского Совета.

Он призывал не поддаваться крамольной агитации большевиков, вести войну до победного конца и строить власть на гуманной основе.

— А как с царем? — спросили его из зала. — При вашей гуманности он так и будет отсиживаться в Зимнем?

— Царя с семьей отправим в Англию. Я сам довезу его до Мурманска.

— А по-моему, его надо судить, — Ногин перебил Керенского.

— Чего судить?! Казнить! Непременно казнить! — послышались голоса.

Керенский картинно стал на трибуне, поднял правую руку, словно собирался дать клятву, и крикнул:

— Пока мы у власти, этого не будет!

Рабочие Питера и Москвы предъявили ультиматум своим Советам: царя арестовать и судить! Петроградский Совет вынужден был принять неотложные меры. «Всем, всем, всем» была разослана телеграмма: выставлять на вокзалах и на дорогах заслоны из воинских частей, преданных революции, чтобы предотвратить возможное бегство Романова. Временное правительство отступило под натиском масс: царь был взят под домашний арест и отправлен на Северный Урал, в Екатеринбург.

Возвратились из ссылки товарищи. Они митинговали на заводах, в полках, на площадях — Емельян Ярославский, Осип Пятницкий, Михаил Владимирский, Павел Штернберг, Алексей Ведерников. У поляков и литовцев, эвакуированных на годы войны в Москву, выступал Феликс Дзержинский. Но с последней каторги вернулся он с подорванным здоровьем и скоро свалился. Да и весна обострила процесс в легких. И он признавался в одном из писем к жене: «...Впечатления и горячка первых дней свободы и революции были слишком сильны, и мои нервы, ослабленные столькими годами тюремной тишины, не выдержали возложенной на них нагрузки...»

Пришлось отправить Феликса Эдмундовича на кумыс в Оренбургскую губернию. А оттуда он уехал в Петроград.

Ольга Павловна перебралась ближе к Москве. Теперь она работала в селе Сухареве, под Катуаром, невдалеке от железной дороги на Дмитров — Савелов. И Виктор Павлович хотя бы изредка мог навещать семью. Но у него хватало сил добраться до села, немного поговорить с женой и пошутить с детьми. И забыться сном: он не спал в Москве по две-три ночи кряду.

Работа в Совете и в МК выматывала. Старые служащие управы и городской думы отбывали службу как тяжелую повинность. Самому приходилось писать бумаги, составлять распоряжения, передавать приказы по телефону. А еще надо было выступать

на митингах, доставать оружие для рабочих дружин и ведать выдачей продовольствия горожанам.

Ленин в «Письмах из далека» требовал пролетарской и общенародной организации для подготовки победы во втором этапе революции. Но никто толком не знал, как добиваться этого, да еще в условиях, когда надо было делить власть с комиссарами Временного правительства.

Волнами пошли в Москве конференции: городская, окружная, областная — большевики искали таких форм деятельности, которые бы лучше отвечали требованиям момента. 1-я городская конференция большевиков открылась утром 3 апреля. Четыреста делегатов от 6 тысяч членов партии впервые за все годы заседали легально. Свобода казалась полной: говорили без всякой оглядки на пристава или околоточного. Охранка была разгромлена, многие полицейские участки сожжены. Кое-кому казалось, что теперь достаточно контролировать каждый шаг Временного правительства, чтобы оно не допускало злоупотреблений, и все пойдет отлично. Другие предлагали «давить» на Временное правительство. И кто-то наивно полагал, что с таким «давлением» и контролем удастся дотянуть до Учредительного собрания. А уж оно-то, несомненно, передаст власть восставшему народу.

— На мой взгляд, все это иллюзии, Емельян Михайлович, — говорил Ногин Ярославскому. — Трудно разбираться без Ильича, скорей бы уж он приехал!

И, словно отвечая этой мысли Виктора Павловича, вышел к трибуне громкоголосый Иван Иванович Скворцов-Степанов и сказал такое, от чего перехватило дух:

— Только что получено радостное сообщение, товарищи! Сегодня вечером прибывает в революционный Петроград Владимир...

Ему не дали закончить фразу. Гулом оваций ответил зал. «Да здравствует Ленин! Ленин! Ле-нин!» — неслось под сводами. Все ждали этого момента, и он наступил.

А через два дня все встало на место, как только Владимир Ильич провозгласил с броневика у Финляндского вокзала великий лозунг эпохи: «Да здравствует социалистическая революция!» — и произнес 4 апреля в Таврическом дворце речь, в которой были изложены его знаменитые «Апрельские тезисы».

Виктор Павлович выступал в эти дни на огромном митинге солдат, столпившихся кольцом на песчаном плацу Ходынского поля. Ему хотелось сказать мужикам и рабочим в солдатских шинелях как можно проще, какую правду несут большевики народу в эти первые дни весны.

Он стоял на пустых ящиках из-под патронов, держал в руке скомканную шляпу и пытливо вглядывался в жадные глаза притихшей толпы. И понимал, что все переживают нечеловеческое борение в душе, потому что вчера еще не сомневались, что надо доколачивать «ненавистного германца». А война опостылела, как короста, и нет никакого желания подставлять башку под немецкую пулю. И землица наливается весенними соками, соскучилась за долгие годы по мужицким — умным и сильным — рукам. И революция какая-то чудная: слов про свободу полный короб, а на деле — кот наплакал. Только что мордобою в казармах не стало да малость шевелятся делегаты в солдатских комитетах и ротного перестали звать «ваше благородие». А во всем другом — как и прежде было, при государе императоре.

Этот же большевик как гвозди вколачивает в голову: войну надо кончать, она на пользу только господам из Временного правительства. Министры-капиталисты всегда будут гнать солдат на фронт, пока у них в руках власть. Значит, эту власть надо ограничить. Да и зачем нам две власти? Вся сила должна быть у Советов, поскольку создают их на местах рабочие, солдаты и крестьяне — народ, хозяин своей судьбы. Вся власть Советам! Советы и заключат мир в интересах народа, а не капиталистов. И революцию на полпути оставлять нельзя: через Советы — по всей стране, снизу доверху — добиваться перерастания буржуазно-демократической революции в социа-

листическую. Вот почему Ленин и говорит: «Да здравствует социалистическая революция!» Только такая революция конфискует землю у помещиков и передаст ее народу. И только такая революция откроет путь к грядущему социализму.

— Вот чего хочет Ленин. А меньшевики и эсеры из Петроградского Совета осуждают его план. Временное правительство замышляет расправу с Лениным. Не поддавайтесь на провокацию, товарищи, в наших силах предотвратить эту угрозу вождю трудящихся!

Много было разговоров на митинге в тот день. А особенно запомнился пожилой солдат, который вызвался проводить до трамвая у Ваганькова кладбища.

— Воин воюет, а жена дома горюет, это в аккурат. И выходит: штык в землю, и катись братва по домам.

— Нет, не выходит.

— Сам же говорил, что войну надо кончать.

— Войну кончать, а штык не бросать, он еще и послужить может. Рассуди хорошенько: вдруг господа не примут наш план, власть не сдадут да еще начнут гражданскую войну? Мы тебя кликнем: «Помогай, братец!» — а ты явишься с деревянной ложкой за голенищем. Ловко?

— Не больно.

— И кому такой солдат нужен? Нынче оружие в твоих руках, держи его крепко и береги в полной сохранности. А избавимся от временных — сдашь винтовку на склад. Тогда и ложка пригодится: дома щи хлебать!

— Понятно, мать честная! Это вроде на часах стоять у революции?

— Точнее и не скажешь, товарищ! Стой да зорче гляди, чтоб не обвели нас вокруг пальца!

На Всероссийской VII (Апрельской) конференции большевики избрали Ногина членом ЦК.

Теперь намного изменился масштаб его деятель-

ности, и он не раз побывал на фронте. И когда говорил в полках и в дивизиях, все вспоминался ему тот солдат с Ходынки, который хорошо сказал, что всем надо быть часовыми революции.

В одних частях встречали цекиста, как доброго друга. И понимали лозунг о победе социализма в России. И после митинга писали домой письма: не ждите Учредительного собрания, конфискуйте землю у помещика немедленно.

В других — смотрели на Ногина, как на дальнего родича, от которого пора и отвернуться. Находился очередной горлохват и начинал кричать, что большевики струсили и отступили. Прежде, мол, говорили: надо превращать войну империалистическую в войну гражданскую. А нынче до того докатились, что их устраивает мирный путь развития. И сколь еще ждать, пока укрепятся Советы и закончат войну?

— Сиди вот тут, корми вошку! А вам чего: болтовня немногого стоит, язык без костей!

Ногин не терял самообладания. Но когда крикуны пытались заткнуть ему рот, напоминал о своей жизни. И притихшие солдаты вдруг видели пятьдесят царских тюрем, где кормил вшей и голодал этот их оратор в пенсне и порыжевшей шляпе. И прикидывали в уме, чего ему стоили шесть лет отсидки да четыре года жизни в ссылке.

— Мне бы скорей вашего хотелось видеть плоды революции. Но нельзя перегибать, когда на карту поставлена судьба социалистической России. Время работает на нас. Помогайте нам добиться полной победы в Советах, и они решат вопрос о мире. А землю не проворонье: мы призываем брать ее у помещика!

Великое расслоение шло в русской армии. И кое-где встречали Ногина в штыки. В казачьей части, неподалеку от Пскова, его стащили с трибуны.

— Катись ты отсюда, дорогой товарищ! Уж какой человек — не тебе чета, сам Плеханов! — и тот говорит, что ваш Ленин плетет бред. И чего ему не плести: германский генеральный штаб мешок червонцев подкинул! Доберемся мы и до вас и пого-

ворим по-солдатски, дай вот только германа прикончить!

И в тылу все крепче пахло военным угаром.

В Москве удалось сорвать попытку Временного правительства устроить манифестацию инвалидов. А в Петрограде она состоялась. И нельзя было без омерзения смотреть, как щеголеватые офицеры на Невском строили колонны слепых солдат. Они опирались на сестер милосердия, шаркали подошвами по деревянным торцам мостовой и поднимали над головой знамена с «патриотическим» текстом: «Слушайте ослепших воинов! Война до полной победы! Да здравствует свобода!»

И в тот же час на конференцию в Таврическом дворце подваливали шеренги инвалидов. Безногие, безрукие, кривые, скособоченные, уныло шли они по городу и выставляли напоказ фанерные щиты: «Отечество в опасности! Пролитая нами кровь требует войны до победы! Товарищи солдаты, немедленно в окопы! Вернуть Ленина Вильгельму!»

И со всех стен кричали плакаты: «Подписывайтесь на «Заем свободы», «Дайте солдатам отстоять завоевания революции!»

Министр иностранных дел Милюков разослал ноту союзным державам: Временное правительство будет соблюдать все царские договоры и прололжать войну до решительной победы.

Большевики Петрограда вывели солдат к Мариинскому дворцу, где заседало Временное правительство. Воины несли плакаты: «Долой войну! Вся власть Советам! Долой Милюкова!»

Рабочие Петрограда прекратили работу. 100 тысяч демонстрантов прошли по улицам столицы с требованием мира. Но чьи-то горячие головы вопреки велению партии выкинули лозунг: «Долой Временное правительство!»

Вся правая печать подняла крик: большевики готовят гражданскую войну. Центральный Комитет отверг эту клевету и подтвердил, что партия продолжает стоять за мирный путь развития. Москвичи

поддержали выступление петроградских товарищей и заявили о полном согласии с линией ЦК.

Под напором масс меньшевики и эсеры решили прибегнуть к маневру. Они согласились пожертвовать Милюковым и Гучковым и сами вошли в коалиционное правительство. Так при десяти министрах-капиталистах Керенский получил власть над армией, другие захватили портфели министров труда, земледелия, почт и телеграфа. Так появилось коалиционное Временное правительство.

Июнь весьма был насыщен событиями в жизни Ногина. Он руководил самой крупной в стране фракцией большевиков в советских органах: в Московском Совете сторонники Ленина едва не добились перевеса. Он был в Президиуме I Всероссийского съезда Советов. Заседания проходили бурно. В памятный день 4 июня, когда Церетели воздавал хвалу мудрому соглашательству с буржуазией, которым якобы блеснули меньшевики, Владимир Ильич громко смеялся. А когда Церетели заявил, что нет в России политической партии, которая во имя спасения родины могла бы взять всю полноту государственной власти, с большевистских скамей послышался громкий голос: «Есть такая партия!» Это был голос Ленина.

В тот же день Ильич выступал с большой речью. Он разбил все доводы соглашателей. Их программа, говорил он, не программа революционной демократии, а программа буржуазной парламентской республики. Но рядом с буржуазным правительством не может существовать новый тип власти. Одно из двух: либо идти вперед, к пролетарско-крестьянской демократической республике, в которой власть принадлежала бы только Советам, либо назад — к обычному буржуазному правительству. И тогда Советы будут разогнаны контрреволюционными генералами или умрут бесславной смертью.

— Партия большевиков не отказывается от власти, каждую минуту она готова взять власть целиком, чтобы осуществить свою программу, — заявил Ленин.

Но съезд выразил доверие коалиционному правительству, одобрил резолюцию об «обороне отечества» и дал согласие начать наступление на фронте.

С такими Советами, где решающий голос принадлежит соглашателям, большевикам было не по пути.

4 июля 1917 года петроградские рабочие и солдаты предприняли еще одну попытку побудить Совет взять власть. 500 тысяч человек вышло на мирную демонстрацию со знаменами «Вся власть Советам!».

Временное правительство встретило демонстрантов пулеметным огнем. На углу Садовой и Невского было убито и ранено 400 человек. Отряды контрреволюции разгромили дворец Кшесинской, где помещался Центральный Комитет большевиков, и типографию «Правды» на Ивановской улице. Ленин был объявлен вне закона — за «государственную измену» и подготовку «вооруженного восстания».

Керенский стал премьером — главным козырем в руках контрреволюции. Меньшевики и эсеры из Петроградского Совета склонили перед ним голову. «Обе партии свободы — эсеры и меньшевики — сообща создадут следственную комиссию для разбора «дела Ленина», — заявил Ираклий Церетели. Двоевластие кончилось. Большевики временно сняли лозунг «Вся власть Советам!».

Ногин находился в Петрограде, когда надо было решать сложнейший вопрос дня: являться Владимиру Ильичу на суд контрреволюции или надежно укрыться в подполье? Ногин был в тот час возле Ильича в квартире Сергея Аллилуева на 10-й Рождественской улице.

«Ленин и Крупская там, — вспоминал Серго. — Не успели мы сесть, как вошли Ногин и В. Яковлева. Пошли разговоры о том, надо ли Владимиру Ильичу явиться и дать себя арестовать».

Никогда в жизни не переживал Ногин такой ужасной минуты, он не видел категорически точного решения. На любую жертву готов он был для Ильича. Но всякая жертва сейчас не казалась оправданной. Да и не в ней дело: запятнана партия, о Ленине говорят на всех углах, что этот германский шпион

удрал к Вильгельму. «А коли он тут, почему хоронится? Видать, совесть и впрямь нечиста?» — рассуждали даже те солдаты, которые не раз заявляли о своих симпатиях большевикам. Жить с таким обвинением ее вождя партия не может. Как оправдаться перед широкими массами? Они же шарахнутся в сторону, как только утвердятся в мысли, что Ленин не желает снять с себя обвинение. Да и кто может сделать это лучше его?

«Ногин довольно робко высказался за то, что надо явиться и перед гласным судом дать бой. Ильич заметил, что никакого гласного суда не будет, Сталин добавил: «Юнкера до тюрьмы не доведут, убьют по дороге». Ленин, по всему видно, тоже против, но немного смущает его Ногин.

Как раз в это время заходит Елена Стасова. Она, волнуясь, сообщает, что в Таврическом дворце вновь пущен слух, якобы по документам архива департамента полиции Ильич — провокатор! Эти слова произвели на Ленина невероятно сильное впечатление. Нервная дрожь перекосила его лицо, и он со всей решительностью заявил, что надо ему сесть в тюрьму. Ильич объявил это нам тоном, не допускающим возражений».

Ленин уже попрощался с Крупской:

— Может, не увидимся уж... — И они обнялись.

Но тогда заколебались товарищи. Страшной до ужаса казалась им мысль, что они видят вождя в последний раз: ведь в угаре чудовищной политической сплетни каждый дурак может пустить в него пулю. Нет, выпускать Ленина из квартиры нельзя!

Долго сидели молча. Затем обсудили всю ситуацию еще раз. И пришли к выводу: Ногин — член Президиума ЦИК от большевиков Москвы; он должен поехать вместе с Серго к другому члену Президиума — Анисимову — и договориться с ним об условиях содержания Ильича в тюрьме.

«Мы должны были добиться от него гарантий, что Ленин не будет растерзан озверевшими юнкерами, — вспоминал Серго. — Надо было добиться, чтобы Ильича посадили в Петропавловку (там гарнизон

был наш), или же, если посадят в «Кресты», добиться абсолютной гарантии, что он не будет убит и предстанет перед гласным судом. В случае утвердительного ответа Анисимов под вечер на автомобиле подъезжает к условному подъезду на 8-й Рождественской, где его встречает Ленин, и оттуда везет Ильича в тюрьму, где, конечно, его прикончили бы, если бы этой величайшей, преступной глупости суждено было совершиться.

Мы с Ногиным явились в Таврический и вызвали Анисимова. Рассказали ему о решении Ильича и потребовали абсолютной гарантии. На Петропавловку он не согласился. Что касается гарантии в «Крестах», заявил, что, конечно, будут приняты все меры. Я решительно потребовал от него абсолютных гарантий (чего никто не мог дать!), пригрозив, что в случае чего-либо перебьем их всех. Анисимов был рабочий Донбасса. Мне показалось, что его самого охватывает ужас от колоссальной ответственности этого дела. Еще несколько минут, и я заявил ему: «Мы вам Ильича не дадим». Ногин тоже согласился с этим».

И ушла великая тоска, и словно гора упала с плеч, когда в тот же вечер Ногин узнал, что Владимир Ильич благополучно вышел из города.

Теперь надо было всей партии брать на себя защиту Ленина. И это мог сделать только съезд партии.

VI съезд открылся полулегально 26 июля 1917 года в доме № 62 по Сампсониевскому проспекту, на Выборгской стороне. Он представлял 240 тысяч членов партии — в три раза больше, чем в дни Апрельской конференции большевиков.

Открыл съезд Михаил Ольминский. О явке Ленина в суд сделал доклад Серго Орджоникидзе. Он заявил: партия не может допустить, чтобы из «дела Ленина» контрреволюция сотворила второе дело Бейлиса. И съезд единодушно высказался за неявку Ленина в суд. Он послал приветствие Владимиру Ильичу и избрал его почетным председателем.

Ленин в то время жил в Разливе и из своего «зеленого кабинета» — из последнего подполья — направлял работу делегатов.

Заседал съезд в напряженной обстановке: 25 августа генерал Корнилов двинул мятежные войска на Петроград, рассчитывая задушить революцию и стать военным диктатором. Делегаты съезда обсуждали не только важнейшие проблемы политического момента, но и беспрерывно выступали на митингах, поднимая рабочих и солдат на защиту красного Питера. Корнилова удалось опрокинуть до закрытия съезда. И широкие массы смогли убедиться, что только большевики отстаивают революцию.

Все резолюции VI съезда были подчинены главной задаче — подготовке вооруженного восстания. По поручению съезда новый ЦК обратился с манифестом ко всем трудящимся, призывая их готовиться к решающим боям с диктатурой буржуазии: «...грядет новое движение и настает смертный час старого мира.

Готовьтесь же к новым битвам, наши боевые товарищи! Стойко, мужественно и спокойно, не поддаваясь на провокацию, копите силы, стройтесь в боевые колонны! Под знамя партии, пролетарии и солдаты! Под наше знамя, угнетенные деревни!»

Виктор Павлович Ногин — один из старейших членов партии и член Центрального Комитета — получил слово для закрытия съезда.

— Наш съезд является... первым съездом, наметившим шаги к осуществлению социализма, — сказал он. — Как бы ни была мрачна обстановка настоящего времени, она искупается величием задач, стоящих перед нами, как партией пролетариата, который должен победить и победит.

А теперь, товарищи, за работу!

Как и десять лет назад, он теперь беспрерывно курсировал в поездах «Москва — Петроград». В Москве он выступал на митингах и предлагал резолюции, которые вытекали из решений съезда, и добивался изгнания из Московского Совета меньшевиков и эсеров. Их влияние заметно падало, так как мо-

сковские рабочие и солдаты резко повернули влево — к большевикам.

В Петрограде Ногин активно работал в ЦК и во Всероссийском Центральном Исполнительном Комитете.

5 августа ЦК выделил Ногина для руководства партийной работой в Московской области, а затем направил в Демократическое совещание, которое будто бы должно было решить вопрос об организации власти на демократических началах.

Совещание открылось 14 сентября. А на другой день ЦК партии получил для обсуждения два письма Владимира Ильича Ленина: «Большевики должны взять власть» и «Марксизм и восстание». Партия объявила бойкот Демократическому совещанию и снова выдвинула лозунг «Вся власть Советам — в центре и на местах!». И призвал рабочих, солдат и крестьян бороться за созыв II Всероссийского съезда Советов.

Этот лозунг был весьма оправдан: в Петрограде, в Москве и в ряде других крупных центров большевики добились победы в Советах. 19 сентября Виктор Павлович Ногин стал первым большевистским председателем Московского Совета.

Демократическое совещание не осмелилось идти на сговор с кадетами. Но не поддержало и требований партии Ленина. И выделило из своей среды Совет Российской Республики (предпарламент), который мог быть только совещательным органом при Временном правительстве.

21 сентября в ЦК обсуждался вопрос: как быть с этим эсеро-меньшевистским детищем? Оставаться в нем или выходить из него? Голоса разделились почти поровну. ЦК обратился к большевистской фракции Демократического совещания. За участие в предпарламенте высказалось 77 человек, среди которых был и Ногин, 50 — против.

Владимир Ильич, обеспокоенный таким исходом дела, выступил с резким письмом за бойкот. Он обозвал предпарламент «революционно-демократическим» совещанием публичных мужчин» и высказался за то,

чтобы быстрее разогнать «бонапартистскую банду Керенского с *его* поддельным предпарламентом».

«Невозможны никакие сомнения насчет того, что в «верхах» нашей партии заметны колебания, которые могут стать *гибельными,* ибо борьба развивается, и в известных условиях колебания, в известный момент, способны *погубить* дело. Пока не поздно, надо всеми силами взяться за борьбу, отстоять правильную линию партии революционного пролетариата.

У нас не все ладно в «парламентских» верхах партии; больше внимания к ним, больше надзора рабочих за ними; компетенцию парламентских фракций надо определить строже. Ошибка нашей партии очевидна. Борющейся партии передового класса не страшны ошибки. Страшно было бы упорствование в ошибке, ложный стыд признания и исправления ее».

Виктор Павлович не сделал выводов из этого строгого предупреждения вождя. Он опасался, что партия может потерять все связи даже с теми элементами, которые способны пойти с ней до определенного рубежа. Ему иногда казалось, что слишком смелые шаги Ленина могут послужить основанием для гражданской войны. Но у него не было коренных расхождений с ЦК, и он, не кривя душой, согласился с мнением товарищей о выходе из предпарламента.

События развивались стремительно.

Владимир Ильич шел вперед с той ясностью перспектив, которая подчеркивала всю гениальность его предвидений. Он уже слышал, как клокочет лава в вулкане революции, готовая вырваться наружу с невиданной силой. И прекрасно понимал, что близок тот исторический час, когда надо идти на восстание и брать власть в свои руки.

И Виктор Павлович видел, что час восстания близок. Но его страшила мысль, что одним большевикам придется формировать новую, революционную власть. Удержат ли они эту власть без поддержки других социалистических партий?

Иногда ему казалось, что одни большевики не смогут ликвидировать тот несусветный хаос, который поставил страну на грань краха.

Старая Россия и впрямь разваливалась на глазах. В Москве и в Петрограде почти не было хлеба, и в длинных очередях к продовольственным лавкам каждый день подбирали истощенных людей. Транспорт парализовался. Безработица добивала голодающих. Стачки и локауты сотрясали обе столицы, угольный Донбасс и Одессу. Солдаты донашивали опорки и бросали оружие. В Сибири, на Кавказе, в Средней Азии, в Екатеринославе распадались Советы под натиском контрреволюции. Буржуазная Рада в Киеве формировала армию против России. Национализм поднял голову в Польше, в Финляндии, в Прибалтике. Кубань объявила себя независимым казачьим государством. Генерал Каледин собрал три армии казаков и грозил выступлением с Дона. Вильгельм II готовил наступление на Петроград. Лидер правых кадетов Родзянко писал в газете «Утро России»:

«Я думаю, бог с ним, с Петроградом! Опасаются, что в Питере погибнут центральные учреждения (т. е. Советы и т. д.). На это я возражаю, что очень рад, если все эти учреждения погибнут, потому что, кроме зла, России они ничего не принесли...»

В такой ситуации Владимир Ильич направил 1 октября письмо членам ЦК и большевикам в обеих столицах: «Большевики не вправе ждать съезда Советов, они должны *взять власть тотчас*...

Медлить — преступление. Ждать съезда Советов — ребячья игра в формальность, позорная игра в формальность, предательство революции.

Если нельзя взять власть без восстания, надо *идти на восстание тотчас*. Очень может быть, что именно теперь можно взять власть без восстания: например, если бы Московский Совет сразу тотчас взял власть и объявил себя (вместе с Питерским Советом) правительством. В Москве победа обеспечена и воевать некому. В Питере можно выждать. Правительству нечего делать и нет спасения, оно сдастся».

Жаркие дебаты развернулись в связи с этим письмом в Москве. Алексей Рыков, который наиболее определенно развивал взгляды товарищей из правого крыла МК, и «левые» из Московского областного бю-

ро — Бухарин, Сапронов, Осинский — добились решения: Москва не может взять на себя почин выступления. Виктор Павлович Ногин согласился с таким выводом.

Наступило 16 октября. В этот день состоялось знаменитое заседание ЦК, на котором окончательно решился вопрос о вооруженном восстании в Петрограде. Руководить восстанием поручалось Военно-революционному центру в составе Бубнова, Дзержинского. Свердлова, Сталина и Урицкого.

18 октября Зиновьев и Каменев дали интервью сотруднику газеты «Новая жизнь», которая считалась, внепартийной, но часто склонялась к меньшевикам.

В интервью было много тумана. Но между строк можно было увидеть, что два цекиста знают о подготовке восстания и относятся к нему неодобрительно.

Владимир Ильич пришел в ярость. «Подумать только! — писал он членам партии большевиков. — ...двое видных большевиков выступают *против* большинства и, явное дело, *против* ЦК. Это не говорится прямо, и от этого вред для дела еще больше, ибо намеками говорить еще опаснее».

Ленин заявлял, что «молчать перед фактом такого неслыханного *штрейкбрехерства* было бы преступлением». И делал вывод: «Я бы считал позором для себя, если бы из-за прежней близости к этим бывшим товарищам я стал колебаться в осуждении их. Я говорю прямо, что товарищами их обоих больше не считаю и всеми силами и перед ЦК и перед съездом буду бороться за исключение обоих из партии».

Через три года Владимир Ильич снова вспомнил об этих событиях 18 октября 1917 года: «Если колеблющиеся вожди отходят прочь в *такое* время, это не ослабляет, а усиливает и партию, и рабочее движение, и революцию».

Но Зиновьев и Каменев не желали уходить. Да и некоторые члены ЦК, в том числе и Сталин, при обсуждении вопроса об исключении из партии этих двух болтливых и колеблющихся цекистов предложили отложить решение до пленума ЦК, но запретили им выступать от имени партии.



О. П. Ногина с детьми Владимиром и Ольгой. 1924 г.



В. П. Ногин 1924 г.

вторая, еще и еще — целый лес колонн. Остатки храма или площади, обрамленной колоннадою.

Колонны, казалось, летят вверх. Появился пьедестал. Потом колоннада начала уходить в сторону... И зрители — «подводные путешественники» — увидели узкую улицу. На дороге, некогда вымощенной плитами, лежал толстый слой ила. Небольшие здания, сложенные из камня, были без крыш. Возможно, катастрофу опускания в бездну сопровождал взрыв вулкана. Раскаленная лава сожгла стропила крыш, и они обвалились... Телеглаз завернул в небольшой дворик. Портик, колоннады, остатки фонтана, статуи...

— Мы снова на улице среди маленьких домиков, — долетел голос «экскурсовода» археолога Чудинова, — улица выходит на площадь перед храмом. Он хорошо сохранился. Лишь глубокая трещина расколола здание наискось от верхнего угла до нижнего. Архитектура немного напоминает египетскую.

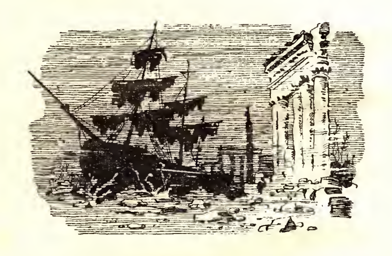
Эта часть города лежит на срезанной вершине горы. Солнечный свет еще доходит сюда, и вам все видно без прожекторов. Когда мы станем опускаться ниже, придется путешествовать с фонарями... Вы видите один из затонувших городов. Таких немало в морях и океанах. У нас на Черном море возле Херсонеса на дне моря давно найден такой город. С помощью телеглаза мы достаточно хорошо его изучили. В 1933 году доктор Гартман обнаружил телеглазом подводный город между Сицилией и Африкой. Теперь нам удалось найти еще один затонувший город.

Вы знаете, что материки поднимались из морских глубин и опускались. Процесс этот не прекратился и в наши дни. В Тихом океане когда-то существовал огромный материк, который назван учеными Пацифидой. Он занимал почти всю впадину между Австралией и Южной Америкой. Африка простиралась далеко на восток и на запад и, возможно, соединялась с восточными берегами Южной Америки. Континент между Африкой и Австралией назывался Гендванной. Азия в незапамятные времена соединя-

лась с Северной Америкой. И все эти материки опускались на дно океана. Но особенно заинтересовала ученых Атлантида...

Древний философ Платон, живший за четыреста лет до нашей эры, сберег для нас рассказ об исчезнувшем острове Атлантиде, который размерами был больше «Ливии и Азии, взятых вместе», — иначе говоря, все известные древнему миру части Азии и Африки, — и лежал на запад от Геркулесовых столбов — теперешнего Гибралтара.

По свидетельству Платона, Атлантида погибла «в один день и бедственную ночь». Это был великий остров, целый континент. Были здесь гигантские леса, огромные табуны слонов и других животных. Как



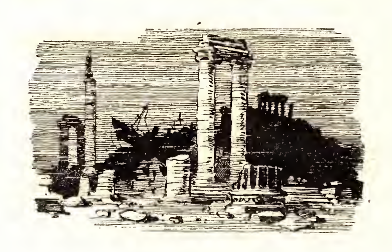
писал Платон, жители Атлантиды «дважды в год пожинали произведения земли, пользуясь в течение зимы водами небесными, а летом привлекая воду, которую дает земля через каналы».

Вся Атлантида была разделена на десять царств, которые находились под властью одного рода. Таким образом, в Атлантиде мы видим древнейшую, суще-

ствовавшую много тысяч лет назад, доарийскую культуру.

Десятки, сотни ученых делали удачные догадки о том, где была полумифическая Атлантида. И геологи, и ботаники, и лингвисты, и зоологи вносили свой вклад в изучение этого чрезвычайно интересного вопроса. Нам удалось открыть еще один затонувший город и таким образом перевернуть очень древнюю страницу человеческой истории. Мы, советские ученые, становимся в строй атлантидологов, и, возможно, нам удастся осветить темные уголки древней истории точно так же, как освещаем мы прожектором телеглаза темные глубины океана...

Оратор смолк. В это время телеоко плавно дви-



галось вниз по горному склону между величественными статуями. Постепенно темнело. Вдруг вспыхнули огни прожекторов. Появились красные водоросли. Длинные широкие полосы их стояли неподвижно. Ветер водной стихии — движение воды — почти не доходил сюда, как и естественный свет.

Зрители видели широкую дорогу, которая шла

на вершину горы — к крепости или царскому дворцу. По обе стороны дороги стояли громадные статуи, грубо высеченные из камней. Длинноголовые герои или божества сидели на широких постаментах и угрожающе смотрели на восток. Возможно, оттуда затонувшему городу некогда угрожала опасность, и статуи-стражи должны были пугать врага.

— Мы постараемся расшифровать эти надписи, — сказал Чудинов.

Поперек дороги лежал затонувший пароход. Его корпус облеплен ракушками. Телевизор, перепрыгнув через корабль, продолжал блуждать по улицам и площадям затонувшего города. Дорогу пересекла величайшая расщелина, из которой торчали мачты другого затонувшего корабля. По обе стороны расщелины лежали статуи...

«РТ-118» — иначе говоря, рыболовный траулер «Серго Орджоникидзе» — плавно подвигался вперед, маневрировал влево, вправо, туда, куда указывал Чудинов, который теперь был «капитаном».

Затонувший город раскинулся на огромном пространстве, опускаясь все далее по пологой равнине.

И вот конец, телевизор достиг границы города — большой гавани с каменной набережной и волнорезом.

— Посмотрите, — продолжал голос лектора, — в гавани стоит несколько кораблей! Разве не удивительно? Они затонули одновременно с городом и гаванью. Возможно, они окаменели. Ведь с тех пор, как они под водой, прошли тысячелетия.

Тут раздался другой голос:

— Товарищи! Пока вы любуетесь гаванью на дне океана, позвольте геологу поговорить с вами...

«Это Правдин», — подумал Миша.

— Товарищ Чудинов уже кое-что сказал вам о колебаниях земной коры. Изучение этих колебаний имеет не только исторический интерес. Поднятия и опускания земной коры совершаются в течение срока более короткого, чем многие из нас думают. В Мурманске, например, мне приходилось слы-

шать сетования моряков на неточность морских карт: на них, говорят, не обозначены кое-какие подводные мели, скалы, и по этой причине потерпели аварию несколько наших рыболовных судов. Я принужден был встать на защиту старых лоцманских карт. Для своего времени карты были правильны, но менее чем за сотню лет берега Мурмана и морское дно поднялись. И возможно, что в недалеком геологическом будущем на Мурмане появятся большие новые участки суши, которые сейчас покрыты морем. Широкая водная полоса, которая прилегает к северной части мурманского побережья, была некогда сушей. Измеряя морское дно, мы выявили широкие русла рек, которые когда-то текли по поверхности земли...

Или другой пример. На Новой Земле, на вершинах гор, находят сравнительно свежий лес — плавунец, который обычно приносится на острова морскими течениями. Как мог этот лес попасть на вершины гор? Ясно, что в сравнительно недалеком прошлом эти горы едва виднелись над поверхностью воды. Стало быть, на нашем Севере геология работает на нас. Зато в северо-западной части Европы совершается обратный процесс — снижение материка. Об этом мало кто знает, и европейские ученые замалчивают этот факт. А тем временем Голландии и части Бельгии угрожает опасность. Если процесс будет продолжаться с той же быстротой и далее, то вероятно, что через полтораста-двести лет эти страны окажутся под водой...

Во время последней фразы Миша явственно услышал какой-то необычный шум. И тотчас будто у него за спиной зашептались Чудинов и Маковский. Потом Чудинов сказал громко:

— Товарищи! На этом нам придется окончить сегодняшнее путешествие. Над океаном начинается гроза. Барометр резко падает. Вы, конечно, не промокнете от дождя в этом подводном путешествии, но дело в том, что ветер крепчает и на траулере, с которого спущено телеоко, начинается сильная качка. Трос телеглаза может оборваться. Мы поднимаем его...

Гавань на дне океана вместе с затонувшими кораблями стала быстро уходить вниз, в темную бездну. На мгновение мелькнула поверхность океана — бушующие волны, качавшиеся на них корабли, блеснула молния, и экран погас.

— До свидания, товарищи, — прозвучал голос Чудинова. — О следующем нашем путешествии мы сообщим.

Никакой фильм не производил на зрителей такого огромного впечатления, как это «подводное путешествие».

Все это время не отрываясь смотрел на экран судового телевизора и мистер Скотт. Как только экран погас, Скотт поднялся, зажег сигару и сказал:

— Черт побери, сколько в Америке можно было бы нажить денег на этом! Тысячи радиолюбителей приобрели бы телевизоры. Кинотеатры трещали бы от наплыва зрителей! Проклятый кризис...

Он пошел в свою каюту, выпил сода-виски, сел и задумался.

ВСЕМИРНАЯ СЕНСАЦИЯ

Снова заговорил радиорепродуктор: парижская радиостанция передавала мнение известного французского ученого о затонувшем городе.

— Открытие советской экспедицией подводного города не является в буквальном понимании открытием. Это результат научного расчета, основанного на достоверных сопоставлениях и выкладках.

Далее оратор привел примеры того, как ученые заранее предупреждали о существовании еще неизвестных химических элементов планет и как эти предвидения оправдывались.

— Такова сила правильных научных методов. Геолог проходит сотни километров по пустыне. Неожиданно он останавливается на месте и, основываясь на непонятных неосведомленному признаках, говорит: «Здесь должно быть золото, вода, железо». Рабочие копают и находят. Точно так же была от-

крыта и Атлантида. Советские пароходы плывут из заполярного Мурманска в Атлантический океан, бороздят его неизмеримые пространства, выбирают одну точку, опускают лот, затем телевизор: здесь должен находиться затонувший материк с остатками человеческой культуры. И находят то, что искали...

Если бы Скотт мог слышать, как смеялись Чудинов и Правдин, слушая эту информацию!

— Прекрасно! — проговорил Чудинов. — Профессор Мишо льет воду на нашу мельницу. Я был скромен и не говорил о том, что открытие подводного города — результат расчета и научного предвидения. Ну что же, тем больше чести для нас!

Смеялись и в Москве, в штабе. Барковский говорил:

— Теперь наша экспедиция оправдана перед мировым общественным мнением. Мы создали всемирную сенсацию. За нашими работами будет следить весь мир. Мы будем все сильнее возбуждать интерес, время от времени оповещая о новых археологических открытиях, а в них не будет недостатка. А главная цель экспедиции останется в тени.

— Я побаиваюсь только одного, — вставил эпроновец Кириллов, — как бы это «открытие» не привлекло на место экспедиции иностранные корабли с археологами. Они могут помешать нам. Довольно с нас и одного Скотта.

— Ваши опасения преувеличены, — ответил Барковский. — Какая из буржуазных стран станет расходовать сейчас деньги на подобную экспедицию? Там, где закрываются университеты, не до экспедиций...

— Однако ведь этот Скотт...

— Ну, Скотт — иное дело. Цель его нами не разгадана. Он, конечно, ищет не подводный город. Скорей всего, он тоже охотится за пластинками Хургеса. Если бы нам посчастливилось узнать, как он открыл эту тайну...

— Не взяться ли мне за это? — предложил Азорес. — Я уже приобрел некоторую «изыскательскую

практику». Дайте мне гидроплан, и я полечу в Америку искать следы мистера Скотта.

— Не гидроплан, а цельнометаллический дирижабль «Ц-шесть», — неожиданно прозвучал в микрофоне чей-то незнакомый голос по-английски.

— Что за передача? — воскликнул Азорес и посмотрел на Маковского. На лице капитана отразилась тревога. Неужели их радиопередачу перехватили и Скотт слушает эту конспиративную беседу в эфире?

Но Гинзбург усмехался загадочно.

— Кто вы? — спросил Азорес в микрофон.

— Я человек, летящий в небе, — донесся тот же голос.

— Карпиловский, ты? — крикнул в микрофон из-за плеча Азореса Гинзбург.

— Я, — уже по-русски ответил голос.

— Это наш океанограф, — пояснил Гинзбург. — Он летит к нам на дирижабле «Циолковский-шесть». Собирается изучать океанографию. Я два часа назад установил связь с «Ц-шесть».

— И мы, сидя в дирижабле, имели удовольствие уже совершить вместе с вами подводное путешествие, — откликнулся Карпиловский. — Прекрасная передача!

— Ну и как же с моим путешествием в Америку? — спросил Азорес.

— Что ж, ты можешь попытать счастья, — ответил из Москвы Барковский. — Дирижабль идет в трансатлантический рейс. Высадит Карпиловского на ваш корабль, а ты займешь его место и полетишь.

— Согласен! — Азорес потер руки: он очень любил приключения.

Тревоги советских исследователей были напрасны: радиостанция Хургеса сохранила свою тайну. Ни Скотт, никто другой в буржуазном мире не имел понятия о пластинках Хургеса.

Скотт все еще сидел, глубоко задумавшись. Телевизионная передача с морского дна, из затонувшего города, и лекция археолога не убедили Скотта

в том, что советская экспедиция ставит только научную цель.

Кто теперь станет расходовать огромные деньги на археологию? Но черт их поймет, этих большевиков! Может быть, они действительно не знают о существовании затонувших сокровищ! Да и откуда им знать!



Скотт повеселел и выпил еще одну стопку содависки, на этот раз уже не с горя, а с радости. Красные его веки слипались. Под качку он начал дремать. Неожиданный толчок, от которого пароход содрогнулся, разбудил Скотта. «Что такое?» От сонливости и хмеля не осталось и следа. Скотт умел владеть собой при любых неожиданностях. Он поспешно встал, подошел к умывальнику, облил голову холод-

ной водой и, хватаясь за стены, — качало все сильней, — выбежал на палубу.

Высокий вал поднялся над бортом. Гребень белой пены с шипением обдал Скотта брызгами с ног до головы. Шкипер «Урании» перебрасывался ругательствами со шкипером советского траулера.

— Что ты горло дерешь, чумная крыса? — кричал шкипер с траулера. — Ведь ваш же пароход наскочил на траулер. Не видите, откуда ветер! Давно надо было отойти.

Ссора длилась еще некоторое время, затем затихла: шум волн и ветер заглушали голоса. Все четыре парохода стояли под парами. Ветер рвал густые клубы дыма, расстилал их на длинных валах волн, и дым смешивался с брызгами пены. Куда девалась голубизна океана! Небо и поверхность моря до самого горизонта приобрели зловещий темно-синий цвет. Дождя еще не было, но молнии то и дело рвали тучи, гром грохотал почти беспрерывно. Его удары отражались от высоких волн, и казалось, что это рычит разлютовавшийся океан. Плавучие якоря уже не держали корабли. В такую бурю им небезопасно находиться друг возле друга — волнами и порывами ветра их может столкнуть и разбить. И корабли торопились быстрее разойтись в разные стороны.

Качка усиливалась. Капитаны пароходов распорядились стать против ветра и идти полным ходом.

Ветер был почти горячим. За несколько часов он высушил костюм Скотта.

— Начался шторм, — сообщил Маковский в штаб. — Идем на всех парах навстречу ветру.

— А как у вас? — спросил Гинзбург Карпиловского.

— Можешь полюбоваться, — ответил Карпиловский.

И на судовом экране Гинзбург увидел часть пассажирской каюты дирижабля. Через большое окно виднелось безоблачное небо. Солнце ярко освещало лицо молодого океанографа. Его золотистые волосы казались огненными, глаза жмурились от яркого света.

— Летел бы я на дирижабле, если бы не нога, — вздохнул Миша, который также видел Карпиловского.

— Вот как у нас, — отвечал Карпиловский. — Под нами буря. Если хочешь, могу показать. — Карпиловский повернул объектив, и Гинзбург в океане, а Миша в Москве увидели тучи, клубившиеся под дирижаблем. Змеистые молнии пробегали между ними. Изредка гремел гром.

— Мы тоже попали в грозу, — продолжал Карпиловский. — Но нам легче выбраться из нее, чем вам. Мы поднялись над тучами и вот, как видишь, снова летим в безоблачном небе. Нашли попутное течение воздуха и летим без моторов. Вообрази только, что и в глубине океана такая же точно тишина, даже еще тише. Не колыхнется ни одна водоросль. Не зря говорят, что крайности сходятся.

— А у нас такая кутерьма... Слышишь? — Карпиловский и Миша услышали, как свистит ветер в снастях, как гремит гром и волны глухо ударяют о борт парохода.

— Словно черти готовят обед на тысяче сковородок!..

Экран погас, смолкли звуки. В комнате Миши наступила такая тишина, что стало слышно, как стучат в углу большие стенные часы. Все члены штаба уже разошлись.

Миша откинулся на подушки и закрыл глаза. Впечатления этого дня утомили его. Подводное путешествие, буря в океане... Полет под облаками... беседа людей, находящихся за тысячи километров друг от друга... Все это напоминало сказку. И Миша стал мечтать.

Когда во всем мире народы установят социалистический строй, у Миши будут друзья в Южной Америке, в Австралии, на Шпицбергене, в Зеландии и на Огненной Земле. Школьники будут изучать географию на экране телевизора. Увидят, как в Атласских горах люди прокладывают огромные трубы для создания искусственных ураганов, «вечных» ветряных двигателей, как пробиваются ледоколы по Великому

Северному морскому пути и как дирижабли и самолеты завоевывают ледовитый континент Антарктики. Многомиллионная армия трудящихся расчищает тропические джунгли, чтобы на их месте основать культурные поселения. Единое мировое хозяйство, одна семья трудящихся, мир без кордонов и границ. Да, мы уже имеем «всемирный глаз», «всемирный голос»... Из подходящего центра можно будет осматривать в телеглаз весь мир, обмениваться опытом... Какие увлекательные перспективы! Какая интересная жизнь!

С этими мечтами Миша уснул.

ВИЗИТ ВРАЧА

— Ну, как мы себя чувствуем? — услышал он чей-то знакомый голос.

А, это врач...

— Вы видели подводный город? — спросил Миша, открывая глаза.

Седой врач в больших очках улыбнулся.

— Видел, дорогой мой, лишь уголок подводного мира. Смотреть не смог: вызвали на операцию. Еще увижу. А вот больные в моем отделении все смотрели. Для них это прекрасное развлечение, как и для вас, конечно. Но что же вы не отвечаете на мой вопрос?

— Доктор, я уже давно здоров, — сказал Миша. — И вы напрасно так долго держите меня в постели.

— Но ведь вы лежа совершаете чудесные подводные путешествия!

— Да, конечно. Но все же это не то, что настоящее путешествие. Мне отец обещал: как только я поправлюсь, он отпустит меня на корабль в Атлантику. Через десять дней туда полетит стратоплан. Понимаете, стратоплан! Он может пролететь полторы тысячи километров за час, и я смогу за день побывать на корабле и возвратиться назад в Москву. Раз-

все это не удивительно! Неужели и через десять дней нельзя будет встать?

— А вот посмотрим, — ответил врач и начал осторожно снимать лубки.

Он щупал, пробовал, надавливал ногу.

— Болит? Только говорите правду.

Было больно, но Миша силился не кривиться и отвечал твердо:

— Ничуть не болит. Хоть сейчас снова в футбол!

Старый врач улыбнулся в усы, покачал седой головой и пробормотал баском:

— Вы такой пациент, которому нельзя верить. Через три дня посмотрим кость.

— Снова рентген? — обеспокоенно спросил Миша.

— Нет, на этот раз не рентген, — ответил врач. — Мы начинаем изменять рентгену. Его все больше вытесняет новое приспособление: катодные трубки. Это высокочастотные излучения. Они абсолютно безвредны для человека и в то же время дают полную возможность видеть, что делается в организме.

Недавно в институте экспериментальной медицины, в лаборатории климатологии мы проделывали такой опыт. Нам надо было выяснить, проникают ли короткие световые волны сквозь шерсть и кожу животных к внутренним органам. Мы проникли в железы внутренней секреции подопытного животного, поставили выводные трубки и по количеству выделенных железами продуктов намеревались узнать, как реагирует организм на облучение той или иной волной света. Это был очень несовершенный метод. Ведь изменения в работе желез внутренней секреции могли наступить и по иным причинам. И вот один молодой научный сотрудник, Толя Томашкевич, предложил нам такой способ: уж если «потрошить» бедных животных, то почему бы не поставить возле вскрытых органов фотоэлементы? Потом зашить разрез и облучить животное. Если лучи пройдут сквозь шерсть, кожу, мускулы и кости и достигнут фотоэлементов, то, значит, все отлично. Остается только установить результат облучения. А если

поместить в организм животного крохотный телевизор, то мы сможем даже наблюдать работу внутренних органов.

— А зачем это?

— Для многих целей. Ну хотя бы для установления дозировки облучения. В наших зоопарках приходится давать животным «дополнительный паек света». А какой длины должны быть световые волны? Как они проходят, «пронзают» животных? Ведь и без опытов очевидно, что облучать бесшерстную африканскую собачку — это одно, а косматого медведя, черепаху, крокодила — совсем другое. Ветеринары зоопарков немало возятся с дозированием. Иные пришли даже к выводу, что необлучаемые звери чувствуют себя лучше, чем облучаемые. А на поверку вышло иначе. И все дело в том, что облучали не так, как надо, и, конечно, могли принести больше вреда, чем пользы. То же самое и с облучением людей...

— Но это не совсем то же, что телеглаз, — заметил Миша.

— Да, пока это только применение фотоэлемента, — согласился доктор. — А фотоэлемент — душа телевидения. Да и самое телевидение уже входит в нашу медицинскую практику. Недавно мне сообщили по радио, что на ледоколе, плававшем в арктических морях, произошел несчастный случай с кочегаром, которому во время качки чугунной болванкой раздавило ногу. На ледоколе был неплохой хирург, но случай вышел очень сложный, и хирург попросил моей консультации, как делать операцию. Нам помогло телевидение. Больного положили перед аппаратом, и я очень четко видел оперируемого на экране. Мы с хирургом были соединены судовым радиотелеграфом. И я, сидя в Москве, руководил операцией.

— Это все очень интересно, — сказал Миша, — но скажите, когда я смогу встать?

— Не спешите, успеете еще полетать на стратопланах. Ваше время впереди. Когда я был в ваших летах, полет на аэроплане был новинкой. Теперь вы

точь-в-точь, как я в детстве, мечтаете о стратопланах, но вы будете счастливее меня. Вам, возможно, доведется полетать и на звездолетах. Может быть, на Луне или на Марсе побываете...

— А знаете, — воскликнул Миша, забыв о своей болезни, — я читал об одном необычайном проекте! Ведь ракета без пассажиров уже летает? Так вот, институт реактивных двигателей строит такую ракету, которая сможет полететь на Луну и даже облететь ее. Слой Хевисайда будет пробит. Управлять ракетой будут по радио. И на ракете будет установлен аппарат телевидения. Когда ракета будет лететь возле Луны, мы сможем видеть лунную поверхность совсем близко. А вторую сторону Луны...

Доктор добродушно усмехнулся:

— Так, пожалуй, и я на планетах побываю, не выходя из своего кабинета... Ну, потерпите еще немного, не поднимайтесь. Передавайте привет от меня вашим атлантическим товарищам.

Вечером того же дня Миша узнал еще об одной новости: «Ц-6» уже прилетел на место стоянки экспедиции, но не спускался, так как в нижних слоях атмосферы и на море все еще была буря. Дирижабль плавно кружился над тучами. Миша боялся заснуть и упустить момент спуска. И все-таки заснул.

ПЕРЕСАДКА В ВОЗДУХЕ

Проснулся он в шестом часу утра.

Портьеры на окнах были спущены, и Миша подумал: «Какая погода на улице?» Вдруг прогремел гром. В океане гроза! Значит, спуск не состоялся. Хотя, возможно, гроза сейчас только в Москве, а там, в Атлантике, ее уже нет... Экран был мертв. Гинзбург, наверное, еще сладко спит. Ведь там недавно минула полночь. Время тянулось без конца. Только в одиннадцатом часу Миша услышал веселый голос Гинзбурга.

— Доброго утра, Миша! Ну, как погода в Москве?

— Дождь и гром.

— А у нас прекрасно! Сейчас начнется спуск. Передай по телефону членам штаба, чтобы быстрее съезжались.

Вот и экран ожил. Это Мотя постарался, чтобы Мише не было скучно ждать.

Палуба парохода, фальшборт и за ним — большие волны океана. Да, волны океана еще не улеглись. Зато какое яркое южное солнце! А где же другие пароходы? Во время бури они разошлись в разные стороны.

— Мотя, покажи дирижабль, — попросил Миша.

Палуба корабля и море вдруг провалились, словно Миша делал мертвую петлю на самолете, и в голубизне безоблачного неба он увидел сверкающую «сигару» дирижабля. Гинзбург что-то сказал, но Миша не расслышал. На экране телевизора произошла перемена. Теперь Миша видел море с огромной высоты и траулер казался точкой на океанском просторе. Видимо, Гинзбург переключил Мишу на телеоко дирижабля.

Гинзбург и радист дирижабля устроили репетицию, опробовали аппараты. Все было в порядке. И скоро мощные станции СССР оповестили об очередной трансляции: «Спуск дирижабля». Тысячи людей бросились к экранам телевизоров.

На экране — палуба, залитая ярким светом, матросы в белых костюмах, капитан, ученые, Азорес в дорожном костюме: серая куртка, короткие брюки, носки, туфли, небольшой чемоданчик в руке и на груди — неизменный фотоаппарат.

Потом другая картина: траулер с высоты дирижабля... Кадры начали чередоваться. Черная дымящаяся точка на поверхности океана то вырастала в большой траулер, то исчезала, на ее месте появлялась «сигара» дирижабля. Отчетливо видны гондолы, пропеллеры. Дирижабль быстро опускался... Ветер совсем утих, и это облегчало задачу.

— Но как же он сядет на воду? — спросил Мотя.

— Он не сядет, — ответил Барковский. — Он опустится над палубой и выбросит трап.



Похороны Ногина, май 1924



Памятник Ногину в Богородске (Ногинск).

был бы счастлив, если бы хоть десятая часть этого была проведена в жизнь!

Скоро главной заботой Виктора Павловича стали ткани. Одеть армию, одеть народ — с таким девизом развивалась текстильная промышленность, которой руководил Ногин в годы военного коммунизма и при нэпе.

Он собирал все текстильные фабрики страны в единый организм, работающий по одному плану. А фабриканты и многие специалисты саботировали каждый его шаг. Надо было ломать хребет саботажникам и привлекать тех, кто соглашался работать в новых условиях.

Началось изгнание бывших текстильных королей, дошла очередь и до Богородского «князька» Арсения Морозова. Рассказали Виктору Павловичу, как это было. Шесть рабочих — от профсоюза и партийной организации — явились к бывшему хозяину. Вошли без доклада. Морозов заметил это, сел в кресло глубже, поправил пенсне и пробурчал:

— Это что еще за мода — входить без стука?

— Собирайтесь, Арсений Иванович! — приказали ему.

— Куда собираться?

— Так что из кабинета. И... с фабрики!

— Не понимаю.

Ему объяснили честь честью:

— Без хозяина будем жить, вернее — без вас. Отбираем все подчистую!

Он вскочил и начал кричать. Но голос сорвался. Делегаты засмеялись. А потом один из них сказал:

— Ну, пошевеливайся, хозяин, нам некогда.

Слово «хозяин» прозвучало иронически. Морозов бросил на стол связку ключей и вышел...

— Все правильно, — сказал Виктор Павлович, когда ему представили эту сценку. — А где сын Арсения, Сергей? Он, кажется, отличный финансист?

— Пока в Глухове. И по части денег действительно большой специалист.

— Направьте его ко мне.

Так появился в текстильном синдикате новый на-

чальник финансового управления Сергей Морозов. За ним потянулись к Ногину и профессора, и инженеры, и техники. И когда он увидел, что работать они будут, заручился согласием Владимира Ильича обеспечить их усиленными пайками.

Крупные специалисты посоветовали ему закрыть десятки фабрик, для которых не хватало сырья. Это был трудный шаг, даже опасный, потому что досужие крикуны немедленно начали кампанию в прессе: Ногин хочет устроить диверсию в раздетой и разутой стране!

Но Виктор Павлович обнаружил твердый характер. Он собрал Всероссийский съезд механиков всех текстильных фабрик страны. Попросил совета: как быть? И товарищи поддержали его. Бездействующие фабрики, которые никак не могли спасти двадцать-тридцать возов льна, сто или двести кип из старых запасов хлопка, вагон или два шерсти, были остановлены. Специальные бригады консервировали предприятия по всем правилам: выставляли надежную охрану, чтоб сохранить оборудование от расхищения, чистили и смазывали станки, предохраняя их от сырости и ржавчины. И как только появился хлопок, затем лен и шерсть, все фабрики полным ходом начали работать на страну.

Характер старого большевика, его умение обращаться с людьми раскрывались на каждом шагу. Он не умел лгать и никогда никому не обещал лишнего. А уж если мог сделать, делал в самый короткий срок. И если, к примеру, обещал вагон картошки, все знали, что этот вагон уже в пути на фабрику. Ездил он по предприятиям почти беспрерывно. Его встречали как самого близкого товарища — честного и бескорыстного и такого же, как они, голодного и разутого.

Однажды летом ждали его на Измайловской фабрике, под Москвой. Смена закончилась, но никто не остановил станков: всем хотелось показать Ногину, как работает предприятие, недавно обеспеченное сырьем.

Он приехал. Но оторвалась у него подметка на старых, стоптанных ботинках.

— Вот досада, товарищи, — сказал он смущенно, — так хотел по цехам пройти, да вот у меня бедственное положение с левой ногой.

Никого это обстоятельство не удивило: было оно в порядке вещей. Просто сбегали за фабричным шорником. Тот и выручил:

— Вы, между прочим, начинайте, Виктор Павлович, беседу с товарищами в одном ботинке. Только в разговор войдете, я вам и подметку приляпаю.

И член Президиума ВЦИК и Высшего Совета Народного Хозяйства начал совещание в одном ботинке.

Он приходил на Варварку зимой в Деловой двор, прятал в письменный стол старую отцовскую шапку, которую много лет сохраняла Варвара Ивановна, и начинал суровый и страшный трудовой день. Помещение не отапливалось, в фиолетовую льдинку превращались чернила. Кипяток, а тем более чай считались роскошью.

Он усаживался и казался прикованным к креслу богатырем, которому вполне по силам и голод, и холод, и свинцовая усталость. Но он мерз и страдал, как все его товарищи, да еще мутила его изжога и угнетали боли. Только в этом он не признавался.

Сотрудник его Н. Лебедев отметил в своих воспоминаниях: «По временам было жутко смотреть на него, так как мы понимали смысл его внешнего спокойствия. Иногда, не удержавшись, то тот, то другой товарищ во время беседы предлагал кусочек хлеба или картофеля. Он не отказывался, обыкновенно брал и, как бы мал кусочек ни был, непременно разламывал его и уже после этого отправлял по назначению. Тогда, когда ему удавалось что-либо принести с собой, что в то время бывало редко, он также делился с нами. Вообще терпимость и отсутствие заботы о себе доходили у него до крайностей».

Многие старые специалисты начинали работу с ним опасливо, со всякими оговорками:

— Сойдемся ли, Виктор Павлович? Боюсь, вы и не знаете, с кем придется иметь дело.

— Почему же не знаю? Вы наш враг, но враг честный.

— Похоже на правду! Но ведь у меня свои навыки. И характер крутой, большевистским вождям я прислуживать не стану.

— Потому-то вы мне и нравитесь. И, знаете, я вам доверяю. Вы, несомненно, патриот и против России не пойдете. А уж из вашего таланта я все выжму для наших текстилей. Вот им и будете служить. Да еще как: за три мешка картошки в месяц!

Все эти холеные господа скоро нашли место в жизни под руководством Виктора Павловича. И когда его не стало, нашли они добрые, человечные слова о своем первом советском начальнике.

Они отмечали какую-то благородную чистоту в просторном светлом кабинете Виктора Павловича на Варварской площади, который выходил окнами к маленькой церквушке, поставленной давным-давно Дмитрием Донским в память всех святых.

Воздух в кабинете был прозрачный, чистый, добрый. И вовсе не потому, что текстильный хозяин страны не выносил табачного дыма. А потому, что обладал он прекрасными свойствами души: искренностью и прямотой. И ему нельзя было говорить неправду.

В этой атмосфере душевной чистоты и работал большой человек с недюжинным государственным умом, работал с утра до поздней ночи, почти не думая о себе.

— Он жжет свечу с обоих концов, — с сожалением говорили о нем товарищи. Свеча горела ярко.

И кое-кто понимал, что сгорит она быстро...

Больной, тащил он на своих плечах непомерную тяжесть труда — и в Красном Профинтерне и внутри страны. Спорил на публичных диспутах о планах, о ценах, о рынке то в Политехническом музее, то в Колонном зале Дома союзов. Смело отбивался от некоторых критиков в печати; защищал свои позиции на пленумах ЦК, на партийных конференциях и съездах. И всегда выступал как рачительный, дально-

зоркий и уверенный в своей правоте руководитель крупной и важной отрасли народного хозяйства. И иногда его слово и дело бывали решающими. Осенью 1923 года образовался опасный разрыв между дешевым хлебом и дорогими изделиями города. Пока другие наркомы подсчитывали, чем грозит им удешевление продукции, он резко снизил цены на все изделия текстильных фабрик страны и помог навести порядок на внутреннем рынке.

Из года в год поднимался, снова рос его авторитет в партии. На IX съезде РКП(б) его избрали кандидатом в члены ЦК. А с X съезда и до конца своих дней был он бессменным председателем ревизионной комиссии Центрального Комитета.

Наступил год 1920-й.

Верховный совет Антанты признал с горечью, что не оправдала себя военная и экономическая блокада молодой Советской республики. Натравливали на нее вооруженные орды четырнадцати держав — не сломили! Пророчили каждый месяц, что рассыплется она, как колосс на глиняных ногах, — а она живет! И набирает силу. И скоро сбросит барона Врангеля в Черное море. Значит, надо торговать с этой красной Россией!

И Россия не возражала восстановить торговый контакт с традиционными партнерами.

Когда стали формировать первую торговую делегацию, Владимир Ильич остановил свой выбор на Красине и Ногине.

Леонид Борисович Красин, человек большого такта, прирожденный дипломат и крупный инженер, весьма был на месте в качестве главы делегации. Да у него сохранились и личные связи с многочисленными фирмами за рубежом. А в одной из них — в концерне «Сименс» — он даже был директором русского филиала.

Виктор Павлович Ногин, выдающийся руководитель текстильной промышленности страны, эрудированный экономист, давний эмигрант и хороший знаток английского языка, назначался заместителем Красина. К ним подключили Максима Литвинова —

дипломата весьма большого диапазона и человека очень крепкой хватки. Наконец снарядили дельный технический аппарат. И всех направили за рубеж через Финляндию.

Но в то время не было у России дипломатических отношений ни с одной крупной державой на Западе. И первая советская делегация тронулась в путь под флагом торговой комиссии Всероссийского центрального союза потребительских обществ.

Леонид Борисович Красин заплатил наследникам мыловара Джозефа Фелса те 1 700 фунтов стерлингов, которые в 1907 году взяли под расписку делегаты V Лондонского съезда РСДРП. Для Виктора Павловича как бы закрылась еще одна страница в огромной книге революционной романтики давних лет: ведь и его подпись стояла на этой знаменитой расписке.

Удалось, кроме того, завязать контакт со шведскими фирмами: Россия получала кредит в сумме 100 миллионов крон и приобретала для нужд транспорта 1 000 паровозов на протяжении шести лет. На Британских островах удалось договориться о возобновлении торговых отношений с Англией. Так была пробита крупная брешь в антантовском фронте контрреволюции. И хотя дело шло со скрипом и Красин один довершал успешно начатые переговоры в Лондоне, но в марте 1921 года многостороннее соглашение с Великобританией было подписано. С этого времени и началось фактическое признание Советской России со стороны крупной капиталистической державы.

Сохранилось несколько писем Виктора Павловича жене, детям и Варваре Ивановне за те три месяца, которые провел он за границей в 1920 году.

Ольга Павловна Ногина и ребятишки жили тогда в Кремле, в Потешном дворце, в большой и мало уютной квартире с малыми оконцами, средневековыми сводчатыми потолками и метровыми стенами старинной кирпичной кладки. Туда, в квартиру № 14, и приходили письма из Або, Копенгагена и Лондона — иногда с оказией, чаще по почте. И они открывают

какие-то черты большевика, вдруг оказавшегося вдали от Родины и от любимой работы.

Делегация почти неделю просидела в Петрограде: финны, шведы и англичане никак не могли решить, кто и как возьмется доставить большевиков в пункты назначения. Наконец прибыли на финскую границу два английских офицера. Они и доставили делегацию до порта в Або. И там перепоручили ее финскому офицеру и представителям шведского правительства.

В ожидании такой своеобразной «визы» для путешествия за границей Виктор Павлович несколько раз встречался с Горьким.

Алексей Максимович и Мария Федоровна Андреева показали Красину и Ногину в подвале Эрмитажа уникальное собрание картин, старинных вещей, мебели, гобеленов и дорогих безделушек, найденных в дворцах питерской знати. Все они предназначались для художественных хранилищ страны. И Горький гордился, что ему пришла мысль собрать все эти ценности и сохранить для потомства.

Затем пили чай у Горьких. А когда гости собрались уходить, Алексей Максимович придирчиво оглядел их сверху донизу и покачал головой:

— Эх, друзья мои — англичане! Погляжу на вас: вы не сэры, а просто весьма серы! Приедете туда, — он махнул рукой на запад, — сейчас же отправляйтесь к портному. Честное слово, даже покойный Саввушка Морозов не выдал бы под такие костюмы ни гроша. А ведь вы за миллионами едете! И в таком затрапезном виде.

Делегаты переглянулись: действительно, костюмчики были не первой свежести, да и годов на пять поотстали от моды.

— Светлая голова у вас, Максимыч! — сказал Красин. — Совет ваш принимаю: задержусь по делам в Гельсингфорсе, приведу гардероб в порядок. А Виктору Павловичу устроит это в Стокгольме Литвинов, он уже там.

Из столицы Финляндии делегация отправилась без Красина. Ногин занял в Або пароходные каюты для товарищей и 2 апреля 1920 года сошел на берег

в Стокгольме. Его встретили Максим Литвинов и большая группа шведских коммунистов с цветами.

В Швеции пробыли неделю: заседали с промышленниками, спорили, отвечали на многочисленные вопросы. А в свободные часы знакомились с предприятиями. Заводы и фабрики работали почти с полной загрузкой, страна казалась сытой и хорошо одетой: никак не задела ее война зловещим черным крылом.

Но и в Швеции часто возникали стачки. А по всей Европе они не затихали ни на миг. И, разумеется, резвые борзописцы капитала связывали волну забастовок с пребыванием советской делегации за рубежом.

Московских газет не поступало. А в иностранной прессе сплошь подавалась самая «развесистая клюква» о советской стране. Даже солидная английская газета «Таймс» сообщала на первой полосе, что каждый месяц мужики и рабочие убивают по одному наркому. И что в России началось на почве голода людоедство: «Сегодня только читал, как один господин уверяет, что в России существует каннибализм и что лично он видел, когда сидел в московской тюрьме, плавающий человеческий палец в супе, — писал домой Виктор Павлович. — И все это делается несмотря на то, что наиболее серьезная публика перестала верить такой лжи. Заметки, написанные в более спокойных тонах, заключают в себе массу безграмотной неосведомленности. Более трезвое отношение у коммерсантов. После нескольких сделок и организационных торговых шагов почувствовалось более вдумчивое отношение, но, очевидно, еще долго нас будет окружать атмосфера лжи, недоверия и неосведомленности».

Сорок дней пришлось пробыть в Копенгагене: польские паны распустили слух, что Максим Литвинов является руководителем большевистского «шпионского центра». Началась травля в продажной прессе, и Литвинова не хотели впускать в Англию. Но Красин и Ногин не уступили и решили ждать, пока не образумятся в Лондоне «твердолобые», идущие об руку с паном Пилсудским из Варшавы.

Между тем 7 апреля начались важные переговоры с председателем верховного экономического совета Антанты мистером Уайзом, двумя англичанами и двумя французами. Разговоры за круглым столом требовали осторожных слов и очень четких, определенных действий. И Виктор Павлович жаловался жене, что у него иной раз не хватает английских и французских слов для выражения учтивых, сложных и так мало значащих дипломатических терминов и понятий. Леонид Борисович не владел английским языком, и Виктору Павловичу приходилось выручать его в очень сложной ситуации. «Основные вопросы были разрешены в общих чертах приемлемо для обеих сторон, но пока эти решения не окончательны, — писал он домой. — Англичане требуют нашего приезда в Лондон, но не хотят, чтобы туда ехал Литвинов. Это обстоятельство создало неопределенное положение: куда и когда мы теперь поедем — в Лондон ли или в Италию, где будут происходить заседания верховного совета, — не ясно... За это время на нашем положении все чаще и чаще отражается положение самой Европы. В Дании идет борьба короля с левыми партиями; его советниками являются бывшая царица Мария Федоровна и Юденич, который между прочим живет рядом с нами».

Пока выяснялся вопрос о поездке Литвинова в Англию, Виктор Павлович смог бегло познакомиться со страной. Он осмотрел замок, где, по преданию, жил Гамлет, принц датский, и побывал на «могиле» знаменитого шекспировского героя.

А затем снова на него накинулись коммерсанты и «вносили до ста предложений в день». Интерес к России рос на глазах. И даже советские эксперты, из тех старых специалистов, которые никак не хотели «признавать» коммунистов, начали мечтать о России. И говорили Виктору Павловичу, что после долгого общения с ним «они вернутся в Россию большевиками. Мы здесь все стали еще большими патриотами. Читаем о России просто с завистью».

Литвинову разрешили, наконец, приехать в Англию. Леонид Борисович задержался в Дании, Виктор

Павлович отправился во главе делегации на Британские острова. «Англия встретила нас хорошей погодой, хорошим настроением, травлей в некоторых газетах и сложным политическим положением», — сообщал он в Москву. Но это письмо смог написать лишь на пятнадцатый день по прибытии в Лондон. «У меня почти не было свободного времени», — скупо говорил он о своей весьма трудной работе.

31 мая 1920 года Красин отправился на свидание с триумвиратом, который вершил британскую политику тех времен. Он беседовал с Ллойд-Джорджем, Бонар-Лоу и Керзоном. «Пока не могу писать о значении этого факта», — отмечал в письме Ногин. Да и в Лондоне приходилось помалкивать, так как «с нас взята подписка, что мы не будем давать никаких интервью без одобрения английского правительства... Наша делегация давно перестала рассматриваться как кооперативная, и на нас смотрят как на политических представителей России».

Работы было много. Но по Москве скучал он очень сильно и ловил каждую новость о России. «Сегодня пришло подтверждение, что взят Киев. Завидую, что ты в Москве. Несмотря на все трудности, недоедание, во сколько раз лучше у нас, дома! Здесь живешь, как среди покойников или среди людей, которым еще предстоит родиться... Как далеко мы ушли вперед!..»

В лондонской политической сутолоке, не затихавшей для наших дипломатов до полуночи, очень редко урывал Виктор Павлович минуту, чтобы послать слово привета не только жене, но и детям и Варваре Ивановне. «Милый Владя и милая Леля! — обращался он к детям 31 мая. — Пишу вам из такого большого города, перед которым Москва кажется совсем маленьким городом. Народу здесь живет в восемь раз больше, чем в Москве. Много здесь интересных музеев, парков и есть что посмотреть и в игрушечных лавках и в книжных. Думаю, что Владя и Леля будут довольны моими подарками.

Хорошо ли вам там, где вы теперь живете? Я вот все думаю, что когда приеду к вам, вы будете такие большие, что я вас не узнаю.

Ну, теперь ты, Владя, должен мне написать большое письмо, а не такое маленькое, как в прошлый раз. Напиши обо всем: как гуляешь, с кем играешь, какие книжки прочитал сам. Ведь ты уже, наверное, теперь научился хорошо читать.

А ты, Леля, скажи милой маме, что ты хочешь передать мне, пусть она не поленится — напишет.

Целую вас обоих крепко-крепко, а вы за меня поцелуйте маму и бабушку. *Ваш папа...»*

Летом 1921 года ездил Виктор Павлович по поручению ЦК РКП(б) на заготовки хлеба в район средней и нижней Камы. Добирался он и до далекой Чердыни, где побывал в ссылке его старший брат Павел.

Сохранилась добрая молва, как большой начальник из Москвы — собой видный, но больно худой, с раскидистыми усами — черёмными, почти рыжими, и с окулярами на носу — вел беседу в глухоменных деревушках. Не приказывал сдавать хлеб, хоть была при нем стража и большим скопом ходили за ним разные начальники, которые правили местной властью в Перми, а уговаривал и советовал, как добрый и умный гость. И удивил всех, когда достал из кошелька новый серебряный рубль, на котором мускулистый рабочий в комбинезоне поднимал тяжелый молот над наковальней.

Тихо и глухо говорил московский начальник:

— Барона Врангеля мы прикончили. Не нынче, так завтра выкинем японцев с Дальнего Востока. Власть советская победила повсюду. Но одна у нас беда горькая: деньги считаем на миллионы, мешками пятипудовыми. И просто голова трещит от такого сумасшедшего счета. Вот и сказал Владимир Ильич Ленин: надо дать рабочему и крестьянину такие деньги, которые им привычны. Деньги дорогие, крепкие, обеспеченные золотом и всем достоянием Советской республики. И тогда они поверят, что наша власть заботится о них денно и нощно. Отчеканили

в Москве эти первые образцы, — он подкинул рубль на руке, словно играл в орлянку. — И Ленин сказал: покажите крестьянам, какое серебро скоро зазвенит у них в карманах.

Пожилой мужичок попробовал монету на зуб.

— Денежка справная. А сколь, мил человек, на нее надобно хлебушка дать?

— Да как и прежде: с пудишко, не меньше.

— Так. А ежели на ситец повернуть? Подбились мы с ситцем, слов нет. К празднику достанет баба рубаху, а она вся в дырьях. Ты уж про ситец скажи, как его покупать будем?

— Обыкновенно, как всегда было: от пяти до восьми фунтов ржи за аршин.

— Подходяще. Так и спокон веков велось. А насчет ситцу-то постараешься?

— Сейчас за хлопком еду в Среднюю Азию. Повезете хлеб поскорей, и я раньше уеду. Хотим через год-другой все фабрики загрузить полностью.

— Дело, дело, — судачили крестьяне. И приятно им было, что идет у них мирная и содержательная беседа с начальником, который и говорит дельно и про нужду их знает не плохо.

Хлеб пошел в Москву с Камы по доброму согласию с земледельцами. А «большой начальник» уже девятые сутки тащился до Ташкента. В вагоне по вечерам гасили свет: еще постреливали басмачи по пассажирским составам.

И по всей благодатной земле Туркестана не затихали бои на внутреннем фронте: с басмачами воевали повсюду и почти всегда.

В глухих аулах, где пахло душной плесенью средневековья, пламенели осенью 1921 года важнейшие лозунги Великого Октября: «Земля дехканам!», «Вода дехканам!»

Надо было отбирать эти жизненные блага у крупных баев и передавать их дехканам. И возвращать хлеборобов к их исконной культуре — к белоснежному хлопку, которым никто не хотел заниматься.

У дехкан почти никогда не было своего хлеба: им подвозили пшеницу из Семиречья или из Орен-

бурга. Но две войны спутали все карты. Транспорт пришел в запустение. И земледельцы попали в капкан: хлопок лежал у них холмами, а за него не удавалось получить ни зерна. Да и денег за него никто не давал: был он нипочем, даже цены на него не имелось! И кипы дорогого сырья нередко использовались в домах и в поле как заслон от шальной пули басмача. Дехкане забросили хлопок и кинулись сеять хлеб.

Адольф Иоффе, которого сменил Виктор Павлович на посту председателя Турккомиссии ВЦИК, отметил в своих воспоминаниях: «Ногин вывернулся: он придумал выдавать ссуды и премии за посев хлопка; агитировал дехкан; приглашал к себе их делегации. А с помощью Ленина Виктор Павлович и вывез из Туркестана старые запасы хлопка».

За этими скупыми строками — целая полоса жизни коммуниста и хозяйственника. С неутомимой энергией он добывал хлеб из России и посылал взамен эшелоны с хлопком. Очень хотелось ему обезопасить дехкан от басмачей в поле. И в первую очередь арбакешей, занятых подвозкой хлопка из аулов: не раз обстреливали их в пути басмачи.

Он пригласил старого товарища Эразма Кадомцева, служившего в разведке, и завел с ним разговор: нельзя ли подобраться к муфтию, чтобы он выдал «охранные грамоты» для возчиков? Оказалось, что, кроме муфтия, есть в Ташкенте популярный мусульманский «святой». И оба эти старца ведут скрытую войну между собой за влияние на правоверных. Надо было отыскать такого последователя Магомета, который имеет доступ в оба враждующих «лагеря». И дать понять старцам, что советская власть простит им все грехи, если они оградят арбакешей и работающих в поле дехкан от налета басмачей.

Нашелся один татарин, который и выполнил роль умного лазутчика в оба «лагеря». И муфтий и святой, стараясь выслужиться перед новой властью, стали широко раздавать «охранные грамоты». А эти бумажки имели вес в бандитском лагере басмачей. И налеты на работающих дехкан прекратились.

Пребывание в Туркестане здоровья не прибавило. Долго кормили его пареной, вареной и жареной верблюжатиной, которая не далеко ушла от конины. И он даже взмолился:

— Не могу больше! Этой едой вы меня доконаете!

Устроили ему молочную диету в одной из больниц города. Рацион был весьма скромный, да и пользоваться им приходилось редко. Виктор Павлович был теперь председателем хлопкового комитета страны и много времени проводил в разъездах по Средней Азии. А когда был в Ташкенте, все не добирался до больничной столовой, потому что то в одном, то в другом учреждении руководил первой генеральной чисткой партии в Туркестане. И засиживался до позднего вечера, отсекая от партии чужаков — буржуазных националистов, всякого рода перерожденцев и расхитителей народного добра. Тот же Иоффе вспоминал, что Виктор Павлович относился к делу столь добросовестно, что забывал о себе, о своих болезнях. Он сердечно и отзывчиво относился к коммунистам, которые проходили у него чистку, и всегда опасался допустить оплошность, ошибку или перегиб, когда решалась судьба человека. Добродушно журил тех, кого критиковали за промах товарищи. И был беспощаден к шкурникам и примазавшимся.

В Москву Виктор Павлович вернулся больной. И ЦК принял решение направить его на консультацию в Берлин.

Какой-то странной показалась ему побежденная в войне Германия. Совсем не то, что в начале века, когда он приезжал в Мюнхен к Владимиру Ильичу. Тогда страна была чистенькая, прилизанная, будто выстиранная. А сейчас немцы позабыли о блеске и чистоте. И строили мало, только домишки на фольварках и в селах.

Санаторий Вольтерсдорф понравился. Корпус стоял возле канала, в окружении озер. По берегам раскинулся лесок. И напоминал он подмосковные рощи, что тянулись вдоль старой дороги на Ярославль. С детских лет помнил он это лесное раздолье, когда уезжал из Москвы в Калязин с матерью, боль-

ным отцом и братом. Только, кроме берез и сосен, смотрели теперь в его окна липы, каштаны и белая акация.

Публика удручала: все больше «шиберы» — новые представители буржуазии какого-то белогвардейского толка. Был лишь один земляк — немногословный, но злой на язык художник Дени.

Виктор Павлович часто грустил: «Книг нет, даже английских, а русскую белогвардейскую литературу читать не хочется». Да и боли его «крючили». И первые анализы не принесли успокоения: врачи подозревали застарелую и острую язву. Но они ошибались.

Профессор Бир предложил операцию. В Берлин приехала Ольга Павловна. Она и сообщила Варваре Ивановне 13 октября 1922 года: «Вчера была сделана операция Виктору Павловичу. Продолжалась она больше часа и была серьезная. Сделал ее Бир, говорят, блестяще. Нашли большой камень (чуть поменьше голубиного яйца) в желчном пузыре. Остальное все было здорово, и даже сам желчный пузырь не воспален».

Профессор Бир не нашел язвы. Но, как видно, не придал значения нарушениям функций одной из стенок желудка.

Однако дело пошло на поправку. И своим ребятам в Москву Виктор Павлович отправил через три недели бодрое письмо: «Милые Владя и Леля, пишу вам, сидя в кресле, после того, как сделал прогулку по коридору и даже поднялся по лестнице в один этаж. В письме к бабушке я подробно рассказал о своем положении: попросите ее прочитать вам.

С каждым днем силы мои прибывают, и, вероятно, скоро буду совершенно здоров и на этой неделе выпишусь из санатория. Все боли, которые у меня были, прошли, и пока лишь немного болит шов, когда я хожу.

Ваши письма и карточки мы получили. Я был очень рад видеть письма Лели — как хорошо она пишет! Рад был прочитать и твои, Владя, письма, они становятся все интереснее.

Карточки у вас вышли хорошие, только больно ты, Владя, лукавую физиономию состроил.

Пишите оба побольше.

Сейчас мне разрешают сидеть в кресле по нескольку часов и немного гулять. Я, как маленький, учился это делать — теперь уже научился и могу ходить один, без поддержки мамы или сестры.

Как только переедем в старый санаторий, напишу вам еще, а теперь целую вас обоих крепко, крепко. *Ваш папа».*

Но прошло три-четыре месяца, и снова появились мучительные боли. А текстильный синдикат, которым руководил он, требовал полной отдачи сил. Да еще и определилось в ЦК, что Виктору Павловичу придется пробивать еще одно «окно» на Запад, теперь уже в Соединенные Штаты Америки. Эта крупнейшая капиталистическая держава все еще не желала признавать Советскую Россию и тормозила торговлю с ней. От такой почетной миссии Виктор Павлович отказаться не мог. И в конце октября 1923 года отправился через Германию и Англию в страну технических чудес и техасского хлопка.

Он приехал в устье реки Везер, в немецкий город Бремен, в тот день 25 октября, когда было подавлено восстание в Гамбурге.

До Гамбурга — рукой подать. И в Бремене все живо переживали это крупное событие: докеры — с нескрываемым сожалением, что почин их товарищей не перекинулся на всю Германию по вине продажной верхушки эсдеков; перепуганные бюргеры — с удивлением, что баррикадные бои произошли в стране, где народ, по определению покойного Бисмарка, «любит не революцию, а сосиски с капустой»; капиталисты — с явным злорадством, что коммунистам не дали хода.

На Бременской хлопковой бирже начался бум, как только пришли известия, что в городе появился «господин Ногин». Ему предлагали десятки вариантов, лишь бы предотвратить его поездку в Америку: немецкие перекупщики хлопка боялись краха, если Ногин договорится о поставках сырья в Мурманск или

Петроград, минуя крупнейший в Европе перевалочный пункт в Бремене, где и у текстильного синдиката СССР была своя контора.

«Целые дни здесь у меня проходят в разговорах с представителями разных фирм. Беседу обыкновенно приходится вести по-английски: можно сказать, что хлопковый язык — английский, — писал он домой. — Германия голодает, деньги считают здесь миллиардами, страна завалена бумажными денежными знаками. И все деловые расчеты ведутся на доллары».

Кстати, и он уплатил пять долларов за визит, отданный профессору Биру, и двадцать долларов за рентгеновский снимок. Ничего утешительного этот снимок не дал.

— Нужны компресс и строгая диета, — сказал профессор.

«Но я компрессы все еще не делаю, диету удается соблюдать очень редко, и результаты налицо: печенка моя побаливает».

Но о своем здоровье сообщал он мимоходом. Зато в каждом письме — дела, дела. И иногда и нотка грусти. 7 ноября 1923 года он приехал в Лондон, сходил на могилу Карла Маркса. И написал домой, что в праздничной речи в Москве он хотел бы услышать побольше уверенности и спокойствия: «Отсюда как-то больше чувствуется мощь Советской России, и мне представляется, что, несмотря на всю трудность положения, мы далеко обогнали другие народы».

Поездка Виктора Павловича оживленно комментировалась всей деловой прессой Европы и сопровождалась дикой свистопляской в белогвардейских газетах. Хлопковые биржи подготовили ему в Англии «бенефис» — до небес взвинтили цены. Но бум закончился, как только выяснилось, что он не будет делать закупок на Британских островах. «Плохо, что не приезжал сюда три года: надо бы активнее действовать на мировом рынке», — записал он для памяти.

И теперь наверстывал упущенное, и шесть дней пролетели как на крыльях быстрой птицы — от визита к визиту, в деловых встречах и на банкетах.

Он фрахтовал английские и норвежские пароходы под пшеницу и хлопок, подписывал контракты и произносил речи. В этой деловой суматохе некогда было повидать даже старые знакомые места, где жил он в первом десятилетии века. И в скупых письмах домой он лишь отметил, что Лондон переменился внешне. На главных улицах по вечерам переливчато сверкали световые рекламы. А вокруг правительственных зданий на Даунинг-стрит и возле Парламента появились крепкие деревянные заборы. Не для красоты поставили их власти. А потому, что в этом оживленном и сытом городе бывает беспокойно. И от рабочего класса приходится отгораживаться частоколом.

От портного был получен смокинг. В магазине купили лаковые ботинки и галстуки. Так уж заведено на первоклассной пассажирской линии Европа — США: без вечернего платья, без пресловутого «evening dress» нельзя появляться в салоне.

В среду, 14 ноября 1923 года на крупнейшем пассажирском лайнере «Мажестик», который у побежденных немцев назывался «Бисмарком», Виктор Павлович отправился со своими сотрудниками из Саутгемптона в Нью-Йорк.

Капитанский помощник записал его в табеле «Nognini Mr. Victor». И Виктор Павлович, так неожиданно превращенный в итальянца, шутил, что у Муссолини одним подданным стало больше.

Настроение было отличное. Добрый цейсовский бинокль, приобретенный в Лондоне, был спутником Виктора Павловича на палубе: можно было любоваться далекой гладью океана, рассматривать встречные корабли. В ресторане кормили хорошо. Все располагало к беспечному отдыху в этом недельном пути через Атлантику. Но он уже думал об Америке. Удастся ли ему — первому посланцу Советского правительства — завоевать страну дяди Сэма? Как встретят самодовольные деловые янки представителя крупного большевистского «бизнеса» и дадут ли кредиты, ради которых он и оставил на время Москву?

Виктор Павлович старался обратить внимание своих сотрудников на своеобразие обстановки за

океаном: там могут обходиться и без русского сырья, не так, как в Европе, которой нужны лес, лен, марганец, нефть и другие товары советского экспорта. И там упорно продолжают поддерживать мысль о блокаде большевиков. А он хочет создать в США отделение Всесоюзного текстильного синдиката и отвоевать себе прочное место в сплоченной корпорации хлопковых королей.

— В Америке мы будем действовать по-американски: станем вровень с дельцами и начнем говорить с ними на самом доступном языке — языке доллара. И тогда они не будут подчеркивать во всем свою исключительность!

Виктор Павлович даже вспомнил чванливую легенду о сотворении Америки. Было время, делил Саваоф землю между народами. Вырезал самый лучший ломоть, где были природные зоны на любой вкус — и благодатные степи Украины, и приморское побережье Италии, и нагорные равнины Алжира, и заснеженные просторы Сибири. И сказал: «Когда ирландцы и немцы, итальянцы, славяне и евреи передерутся из-за куска хлеба, будет здесь райское место для всех. И создадут они демократический рай по ту сторону «пруда».

— А «прудом» американцы непочтительно называют Атлантический океан, — говорил Виктор Павлович. — И во всем они таковы. Да им и не трудно чваниться: страна на всех парах летит вперед, не зная блокады, сыпного тифа, голода и ужасной войны!..

Три месяца видела и слышала его Америка. «Я занят больше, чем в Москве, — писал он домой 7 декабря 1923 года. — Был уже в Вашингтоне и Бостоне. Все проявляют громадный интерес к Советской России, и у меня появились надежды на хорошее улаживание отношений между странами».

Исключительную роль сыграли и личное обаяние Виктора Павловича и большевистская деловитость, и тонкое понимание обстоятельств, и, разумеется, деньги. «Дни бешеные — все в банках, — писал он через неделю. — Организовал контору с капиталом в один миллион долларов. Это облегчило разговоры

с финансистами. Но и им приходится читать лекции. Слушают с огромным интересом».

Капитал был положен на его имя: он теперь разговаривал, как миллионер с миллионерами. И появился деловой бланк:
«All-Russian Textil Syndicate. Head office: Warwarka, 9, Moscow. Victor P. Nogin; president».

Он встречался с министром торговли Гувером; отбирал хлопок в Техасе и в портах на берегу Мексиканского залива; отправлял пароходы с пшеницей и «белым золотом» в Мурманск; внимательно изучал, как организован труд на текстильных фабриках; был почетным гостем города Галвестона.

Как-то пришлось ему обедать с банкирами Нью-Йорка. Они стали расспрашивать его о личной жизни. Сохранилась запись этой беседы, сделанная журналистом К. Жильбертом:

— Как вы живете в Советской России, мистер Ногин?

— Все мы работаем и получаем жалованье. Мой оклад — пятнадцать червонцев, по курсу у вас — семьдесят пять долларов в месяц. Бывают и другие заработки — я довольно часто печатаюсь в газетах. Но все, что поступает сверх этой суммы, я отдаю Коммунистической партии.

— Но у вас же есть семья?

— Да, двое детей и жена.

— А потребность копить деньги для семьи? Вдруг что-либо случится с вами? Кто позаботится о детях?

— Вам это трудно понять, господа. Я всю жизнь отдал революции, победе коммунистического общественного строя. И правительство взяло бы на себя заботу о моих детях. Поверьте, одно сознание — даже при смертном часе, — что жизнь ушла на приобретение капитала, угнетало бы меня до крайности.

Американские бизнесмены были восхищены и этими ответами и изумительной энергией большевика:

— Его бодрый дух, глубокий ум, исключительная искренность завоевали уважение и доверие всех деловых людей Америки. Никто из граждан Советской

России не производил такого обаятельного впечатления на все слои нашего общества.

А один из крупнейших компаньонов Моргана сказал без всякой лести:

— Если бы в Америке сейчас появилось десять Ногиных, мы признали бы Россию немедленно!

Виктор Павлович был доволен результатами. В январе 1924 года он писал жене из Северной Каролины: «Советская Россия еще не признана. Но текстильный синдикат уже признан».

Начались сборы домой. Снова закружили его острые боли. И он решил показаться врачам в Нью-Йорке. «Он поместился в довольно хорошем, раньше немецком, госпитале, где и был подвергнут исследованию со стороны профессора, русского по рождению, и, кажется, эмигранта времен царизма, — вспоминал один из сотрудников Виктора Павловича. — Я не раз посещал его в этом госпитале. Один день я застал его с каким-то предметом во рту, похожим на детскую соску. Оказалось, что ему для исследования желудка пропущен тонкий шнурок, и с ним он должен пробыть около суток. На другой день Виктор Павлович рассказывал мне о тех заключениях, к которым пришел профессор. На определенной длине видны на шнурке следы крови. Диагност определил, что у Ногина легкая язва желудка, развитие которой можно было бы приостановить немедленным лечением. На следующий день Виктору Павловичу выкачивали желудочный сок при помощи резиновой трубки. Все эти исследования он выносил терпеливо и даже шутливо заметил, что, когда он целые сутки держал шнурок во рту, его речь лучше понимали сиделки».

Профессор рекомендовал ему немедленно лечь в больницу по приезде в Москву. Но об этом не пришлось и думать. Перед отбытием из Нью-Йорка громом сразило его известие о смерти Владимира Ильича Ленина. Ему выражали соболезнование по случаю кончины великого вождя новой России. Он принимал их, но в сердце была страшная рана. С этой раной и добирался он девять суток до Европы

на лайнере «Аквитания», да еще пять дней до Москвы, где уже стоял на Красной площади деревянный Мавзолей самого дорогого Человека.

«Известие о смерти Владимира Ильича пришло ко мне в Нью-Йорке на другой день. Перед этим я только что слышал, что ему лучше, — писал он с «Аквитании» 31 января 1924 года. — Мне все время вспоминаются разные встречи с ним. И многое хочется передумать, а кругом идет, вернее кипит, шаблонная жизнь. Смерть Владимира Ильича показала, что его имя известно каждому и в Америке и что он завоевал уважение даже самых враждебных ему слоев».

«Как дела в Москве? Как жить без Ленина?» — эти мысли не давали ему покоя, пока он пересекал океан, Францию, Германию и Польшу.

10 февраля он появился в своем кабинете на Варварке. В докладе о поездке в Америку он развернул чудесную картину — какой должна быть текстильная промышленность страны через десять лет. Он хотел строить образцовые фабрики по американскому типу и ликвидировать на старых фабриках российский универсализм, чтобы каждое предприятие давало больше дешевых по цене товаров неширокого ассортимента. Он ожидал летом приезда в Москву видных текстильных деятелей из Америки, чтобы завязать с ними более тесное сотрудничество.

И никто не мог думать, что ровно через сто дней бездыханное тело его будет лежать на постаменте в Колонном зале Дома союзов.

Надо было ложиться в больницу, но все не отпускали дела. Он не мог уйти, пока не закончен его доклад ревизионной комиссии ЦК тринадцатому партийному съезду. С Леонидом Борисовичем Красиным он хотел согласовать заказы синдиката через наркомат внешней торговли. И последний вечер, перед тем как лечь на операцию, он провел с Леонидом Борисовичем. «Выглядел Виктор Павлович в тот вечер, как, впрочем, почти всегда, прекрасно и только иногда во время разговора, видно, чувствовал боль. Проводил меня до порога своей квартиры, пожал

руку с обычной своей милой улыбкой», — вспоминал Красин.

В Солдатенковской больнице навестил его Феликс Эдмундович Дзержинский, только что назначенный председателем ВСНХ. Он был дорогим вестником жизни, он звал работать вместе, руководить растущей промышленностью страны. Они перебирали в памяти свои встречи, говорили о дорогом Ильиче. Но получилось так, что большевика Ногина провожал навсегда большевик Дзержинский, которому тоже пришлось прожить после этой встречи с другом в больнице всего лишь восемьсот стремительных дней.

18 мая 1924 года профессор Розанов сделал операцию. Она была не самая сложная. Но начался перитонит. И в пять часов пятнадцать минут 22 мая 1924 года, после мучительных страданий, при полном сознании Виктор Павлович скончался.

Такой неожиданной была смерть, что казалась она зловещей — на сорок седьмом году, в расцвете сил, словно от пули, упал большевик.

В день открытия XIII съезда партии вся страна узнала о смерти Виктора Павловича: «ЦК РКП (б) извещает, что в ночь на 22 мая, скончался один из старейших и заслуженнейших членов РКП, один из преданнейших и вернейших товарищей Виктор Павлович НОГИН».

Съезд открылся. На Красной площади у Мавзолея состоялся пионерский парад в связи с присвоением организации юных пионеров имени Владимира Ильича Ленина. А после парада — и дети в красных галстуках и делегаты съезда — пришли отдать последний долг товарищу и другу.

Пятьсот тысяч москвичей вышли на Красную площадь 25 мая, в день похорон Виктора Павловича. Товарищи сказали о нем дорогое, доброе слово и опустили в землю гроб у Кремлевской стены.

И Надежда Константиновна Крупская написала в некрологе, что о таких людях, как Виктор Павлович Ногин, «говорили не много, но подразумевалось

само собой, что они телом и душой преданы партии, составляют ее органическую, неотъемлемую часть, для нее живут, ею дышат, ко всякому вопросу относятся с величайшей добросовестностью, никогда не покривят душой и, не покладая рук, будут грести и грести, налегая грудью на весла, пока хватит сил. Ткань нашей партии соткана из такого добротного материала. Революция вплела в нее много ярких нитей, но основу ее составляли кадры именно этих старых, надежных товарищей...»

Можно сказать, что осталась безутешная вдова, осиротевшие дети, убитая горем мать, и поставить точку. Но это слишком тривиально и просто недостойно памяти прекрасного человека и неутомимого борца за наше счастье.

Внутренняя жизнь Виктора Павловича — действительно «сплошное действо в той социальной драме, которую представляет собой борьба рабочего класса», — так замечательно сказал Михаил Иванович Калинин.

Кому-то нужно было перечеркнуть и эту жизнь в те годы, когда сдавали в архив имена, без которых нет подлинной истории нашей партии.

Важно, чтобы имя Виктора Павловича Ногина осталось дорогим для нашего поколения строителей коммунизма и чтоб оно светило и сверкало в великом созвездии маршалов Ильича!

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В. П. НОГИНА

1878, 2 февраля — В Москве роднлся Внктор Павлович Ногин.

1892 — Ногин окончил четырехклассное училище в городе Калязние Тверской губерини.

1897 — Ногин начал принимать участие в революционном движении, работая красильщиком на фабрике Паля в Санкт-Петербурге.

1898 — Ногин вступил в Российскую социал-демократическую партию, примкнул к петербургской группе «Рабочее знамя», был арестован за организацию крупной забастовки за Невской заставой.

1898, 16 декабря — 1899, 14 декабря — Ногин отбывал заключение в С.-Петербургском доме предварительного заключения.

1899, 15 декабря — 1890, 25 августа — Ногин отбывал ссылку под гласным надзором полиции в городе Полтаве.

1900, 30 августа — 10 сентября — Ногин в Кенигсберге и Цюрихе после побега из ссылки.

1900, 15 сентября — 1901, 5 июля — Ногин жил в эмиграции в Лондоне, там 10 октября 1900 года получил первое письмо от В. И. Ленина.

1901, 7 июля — Ногин приехал к В. И. Ленину в Мюнхен и через девять дней направился в Россию в качестве агента «Искры».

1901, август — сентябрь — Ногин работал в Москве, встретился с Н. Э. Бауманом и И. В. Бабушкиным, выполняя поручения редакции «Искры».

1901, 2 сентября — 2 октября — Ногин создавал первый отдел «Искры» в Санкт-Петербурге.

1901, 3 октября — 1902, 29 августа — Ногин отбывал заключение в Трубецком бастионе Петропавловской крепости.

1902, 30 августа — 1903, 17 апреля — Ногин находился в ссылке в с. Назарово Ачинского уезда Енисейской губернии.

1903, 18 апреля — Ногин бежал из с. Назарово в Женеву к В. И. Ленину.

1903, 16 июня — 12 октября — Ногин работал в качестве агента организационного комитета по созыву II съезда РСДРП в городе Екатеринославе, затем около месяца — в Ростове-на-Дону и в Москве.

1903, 15 декабря — 1904, 8 марта — Ногин руководил Николаевским комитетом РСДРП.

1904, 9 марта — 1905, 25 июля — Ногин отбывал заключение в Николаевской и Ломжинской тюрьмах.

1905, 2 августа — Ногин прибыл в ссылку в с. Кузомень на Кольском полуострове, 9 августа бежал в Женеву к В. И. Ленину.

1905, 17 августа — 10 ноября — Ногин работал в женевской группе большевиков.

1905, 16 ноября — 1906, 12 февраля — Ногин работал в С.-Петербурге в качестве члена Петербургского комитета РСДРП, руководил его военной организацией и был членом Петербургского Совета рабочих депутатов (второго созыва).

1906, 15 февраля — 8 августа — Ногин был одним из руководителей Бакинского комитета РСДРП и принимал участие в организации летней забастовки нефтяников за восстановление «декабрьского договора» 1904 года.

1906, 12 августа — 1907, 20 апреля — Ногин работал в Москве: был членом МК, руководил партийной организацией в Рогожском районе, затем был избран председателем Московского Центрального бюро профсоюзов.

1907, 30 апреля — 19 мая — Ногин был делегатом от московской организации РСДРП на V Лондонском съезде, избран членом ЦК РСДРП.

1907, 25 мая — 1 октября — Ногин работал в качестве члена ЦК в Москве и в Петербурге.

1907, 1 октября — Ногин был арестован в Москве на конференции профсоюзов, просидел три месяца в заключении.

1908, 17 апреля — Ногин арестован в Москве на 1-м Всероссийском кооперативном съезде, после 4 месяцев заклю-

чения отправлен в ссылку в город Березов Тобольской губернии.

1908, 10 октября — 1909, 1 января — Ногин отбывал ссылку в городе Березове; *1 января 1909* — бежал.

1909, 14 февраля — Ногин арестован в Белоострове при выезде за границу, *23 июня* был доставлен снова в г. Березов, *27 июня* — бежал.

1909, июль — 1910, май — Ногин работал как член ЦК РСДРП; *в январе 1910 года* был на пленуме ЦК в Париже, где избран членом Русского бюро ЦК.

1910, 13 мая — Ногин арестован в Москве и после четырех месяцев заключения отправлен в ссылку в город Туринск Тобольской губернии. Прибыл туда *22 июля 1910*, бежал *27 июля*.

1910, 16 августа — 1911, 26 марта — Ногин в качестве руководителя Русского бюро ЦК жил и работал в Туле.

1911, 26 марта — 1914, 20 марта — Ногин после заключения в Тульской тюрьме отбывал ссылку в Верхоянске. Затем около трех месяцев жил в Якутске.

1914, июль — 1917, февраль — Ногин работал в Саратове и в Москве, занимаясь главным образом литературной деятельностью.

1917, 1 марта — Ногин избран товарищем председателя Московского Совета рабочих депутатов.

1917, 24—29 апреля — Ногин участвовал в VII Всероссийской (Апрельской) конференции РСДРП, избран членом ЦК партии.

1917, 3—24 июня — на I Всероссийском съезде Советов рабочих и солдатских депутатов избран членом президиума ЦИК.

1917, 26 июля — 3 августа — Ногин участвовал в работе VI съезда РСДРП(б), избран в члены ЦК партии.

1917, 19 сентября — Ногин избран первым большевистским председателем Моссовета.

1917, 24—25 октября — Ногин принимал участие в руководстве вооруженным восстанием в Петрограде, *26-го* — на II Всероссийском съезде Советов назначен наркомом торговли и промышленности в первом СНК.

1917, 26 октября — 2 ноября — Ногин в качестве члена Военно-революционного комитета был одним из руководителей восстания в Москве.

1917, 4 ноября — Ногин вышел из ЦК партии и из СНК.

1917, 17 ноября — Ногин назначен комиссаром труда Московской области.

1918, 3 апреля — Ногин назначен заместителем наркома труда РСФСР.

1918, 10 октября — Ногин назначен членом Президиума Высшего Совета Народного Хозяйства и председателем Главного правления текстильных предприятий.

1919, 7 января — Ногин избран председателем Всероссийского союза рабочей кооперации.

1920, 12 марта — 1 июля — Ногин был заместителем главы торговой правительственной делегации для переговоров с Англией и другими державами.

1921, 13 октября — Ногин был назначен членом Турккомиссии ВЦИК и председателем Главного хлопкового комитета.

1923, 8 февраля — Ногин избран председателем Всероссийского текстильного синдиката.

1923, 26 октября — 1924, 10 февраля — Поездка Ногина в США по делам текстильного синдиката.

1924, 18 мая — Ногину сделана операция в Солдатенковской больнице в Москве.

1924, 22 мая — Кончина В. П. Ногина.

КРАТКАЯ БИБЛИОГРАФИЯ

Ленин В. И., Сочинения, 4-е изд., тт. 16, 26, 28, 31, 34.

«Ленинский сборник» VIII.

«Вопросы истории КПСС», 1958, № 3.

Центральный партийный архив (ЦПА), фонд № 145, оп. 1 и 2.

Центральный государственный архив Октябрьской революции, фонды 102, ДО ДП, 1898—1911.

Ногин В. П. Фабрика Паля. СПБ, 1899.

Ногин В. П., На полюсе холода. М., 1922.

Ногин В. П., Хозяйственные органы и профессиональные союзы. М., 1921.

«Речи В. Ленина, В. Милютина и В. Ногина на 3-м съезде рабочей кооперации». М., 1919.

«Итоги Лондонского съезда», сборник. СПБ, 1907.

«Протоколы пятого съезда РСДРП». М., 1963.

«Протоколы шестого съезда РСДРП». М., 1958.

«Протоколы ЦК РСДРП». М., 1958.

«Большевики». Документы по истории большевизма с 1903 по 1916 год быв. Московск. охранного отделения. М., 1919.

«Октябрьское восстание в Москве», сборник. М., 1922.

«Двадцать пять лет Бакинской организации большевиков». Баку, 1924.

«Октябрь в Богородске», сборник. Ногинск, 1957.

«Текстильщики памяти В. П. Ногина». М., 1925.

«Старый большевик В. П. Ногин», сборник. М., 1925.

«Пролетарская революция», 1922, № 5; 1923, № 10(22); 1924, № 8—9(31—32); 1925, № 2.

Ильин-Женевский А., Как «Искра» завоевала Петербург. «Красный архив», 1925, № 4(15).

Захарова-Цедербаум К. И. и Цедербаум С. И., Из эпохи «Искры». М.—Л., 1926.

Радус-Зенькович В. А., Страницы героического прошлого. М., 1960.

Мотовилова С. Н., Минувшее. «Новый мир», 1963, № 12.